

Английский детектив

mystery

БАРБАРА ВАЙН

**СТО ШЕСТЬ
СТУПЕНЕК
В НИКУДА**

РОМАН, ЗАВОЕВАВШИЙ
ПРЕМИЮ ANGEL AWARD


ЭКСМО

Annotation

Еще подростком Элизабет оставила отчий дом и переселилась к своей дальней родственнице Козетте, богатой вдове, жившей неподалеку от ее дома. Козетта, обладая мягким и уживчивым характером, любила знакомиться с разными людьми и всегда хотела, чтобы все они жили в ее большой усадьбе Гарт-Мэнор, известной также как «Дом с лестницей». Так оно и было: друзья вдовы собирались вместе, приводили своих друзей, и в конце концов под кровом Козетты обосновалась пестрая и веселая компания. Но был среди них один человек, который пришел сюда не случайно. В глубине души он лелеял чудовищный замысел и использовал для его воплощения чудовищные средства. Прошло много лет, но Элизабет никак не может забыть ужаса тех дней. Нет, он не сгинул в прошлом — постепенно этот ужас перебрался в ее настоящее...

- [Барбара Вайн](#)

- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)

- [21](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)
 - [21](#)
 - [22](#)
 - [23](#)
 - [24](#)
 - [25](#)
 - [26](#)
 - [27](#)
 - [28](#)
 - [29](#)
 - [30](#)
 - [31](#)
 - [32](#)
 - [33](#)
 - [34](#)
 - [35](#)
 - [36](#)
 - [37](#)

- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)



Барбара Вайн

Сто шесть ступенек в никуда

Дэвиду

Таксист подумал, что я обиделась. Сунув пятифунтовую банкноту через окошко в стеклянной перегородке, я попросила его остановиться и высадить меня. Когда на светофоре зажегся зеленый, таксист свернул к тротуару и вызывающе сказал:

— Я имею право на собственное мнение.

Речь шла о принудительной стерилизации неполноценных — вопрос обсуждался в одной из газет, — и водитель всей душой поддерживал эту идею, защищал ее вдохновенно и яростно. Возможно, я бы действительно обиделась, именно я, если бы слушала, если бы уловила чуть больше, чем суть вопроса.

— Я вас даже не слышала, — ответила я и, сообразив, что лишь подлила масла в огонь, рискнув сказать правду, хотя понимала, что это не поможет. — Я увидела женщину, которую знала когда-то давно. На переходе. Мне нужно ее догнать. — Ступив на тротуар, я оглянулась: — Сдачи не надо.

— Какой сдачи? — спросил таксист, хотя чаевые ему остались, и не маленькие. Он был одним из тех, которые считают женщин безумными или убеждают себя, что женщины безумны, поскольку это единственный способ объяснить их непостижимое поведение, единственный способ защитить себя от угрозы. — Вы хотите, чтобы вас тоже увидели! — крикнул он, наверное — кто знает? — возвращаясь к первоначальной теме.

Таксист высадил меня на южной стороне Грин вовсе не из желания мне досадить. Но именно так я думала, когда стояла, пережидая поток транспорта, похожий одновременно на бурную реку и на дверь, хлопающую перед самым носом. Пока на светофоре горел зеленый, Белл ускользала от меня все дальше и дальше. Металлическая река, или хлопающая дверь, напоминала массовый исход, бегство с Вуд-лейн и Аксбридж-роуд, из Уэст-Энда по Холланд-парк-авеню и с Уэст-Кросс-роуд, и изумрудный сигнал светофора подгонял этот исход, ускоряя поток и усиливая его буйный рев. Машины заслоняли от меня Грин, по которой, наверное, шла Белл — интересно, в какую сторону?

Я увидела ее на переходе через лобовое стекло такси. Своей нисколько не изменившейся, скользящей походкой — спина прямая, голова высоко поднята, словно на ней балансирует амфора, — Белл шествовала на северо-восток, из Хаммерсмита. Я охнула — это точно — и, возможно, даже

вскрикнула, что водитель такси воспринял как несогласие с его словами. Она скрылась из виду в направлении Холланд-парк так быстро, что ее можно было принять за галлюцинацию. Но я знала, что Белл настоящая. Не сомневалась — хотя было странно обнаружить ее в таком непривычном месте, — что видела именно ее, почувствовала, что должна пойти за ней, несмотря на прошедшие годы, несмотря на весь ужас случившегося.

Необходимость ждать, когда очень спешишь, — одна из самых неприятных мелочей жизни. Но тогда это не казалось мне мелочью. Я переминалась с ноги на ногу, раскачивалась с пятки на носок, молилась, заклиная светофор переключиться. А потом снова увидела Белл. Сквозь движущиеся автобусы, почти сплошную красную стену, я снова увидела ее быстро удаляющуюся фигуру — она шла по газону, высокая и прямая, глядя прямо перед собой. Белл была вся в черном, в той бесформенной многослойной одежде, которую могут носить только очень высокие и худые; широкий кожаный пояс перехватывает хрупкую талию, словно чтобы не дать ей переломиться. Перемену во внешности Белл я заметила с первого взгляда. Волосы, которые всегда были у нее очень светлыми, изменили цвет. Теперь, когда нас разделяло широкое пространство травы и дорожек и фигура Белл становилась все меньше, ничего разглядеть я уже не могла, но вдруг с удивлением и даже каким-то страхом осознала, что волосы у нее седые.

Светофор переключился, и мы устремились через дорогу перед остановившимися, но едва сдерживающими нетерпение машинами. Или — в моем случае — побежали; я помчалась к Грин и через него вслед за Белл, которая уже исчезла из виду; разумеется, я знала, где она скрылась, — внизу, на станции метро. Купив в автомате билет за 50 пенсов, я ступила на движущийся вниз эскалатор и оказалась перед выбором, древним и вечным выбором между двумя дорогами — в данном случае на запад или на восток. Белл когда-то жила в Лондоне. До того как на годы исчезнуть из нашей жизни в чистилище, на ничейной земле, в убежище сильных и стойких, она жила в Лондоне и, несмотря на долгое пребывание там, хвастала, что заблудится к западу от Лэдброк-Гроув или к востоку от Олдгейт.^[1] «Сегодня она была именно к западу от Лэдброк-Гроув (для нее и всех нас просто Гроув), но недолго», — подумала я. Почему-то у меня не возникало сомнений, что Белл возвращается домой.

Я повернула на платформу восточного направления, к которой тут же подошел поезд, но перед тем, как сесть в вагон, снова увидела Белл. Она стояла далеко от меня, на другом краю платформы, и собиралась войти в отрывшиеся двери вагона; ее волосы были серыми, словно пепел.

Пепельно-серыми и уложенными так, как когда-то у Козетты, в точности повторяя ее прическу — свободно собранные на голове в форме деревенского каравая с узлом в центре, похожим на сдобную булочку, — в те дни, когда Козетта впервые появилась в «Доме с лестницей».

У меня возникло какое-то тревожное и неприятное чувство, и мне захотелось сесть, передохнуть и, возможно, сделать несколько глубоких вдохов. Но, разумеется, сесть я не осмелилась. Мне нужно было стоять рядом с дверью, чтобы увидеть Белл, когда она выйдет из поезда и пройдет мимо моего вагона к выходу. Или даже выскочить на платформу, если к выходу она пойдет в другую сторону и я ее не замечу. Я очень боялась упустить Белл, но все же попыталась проанализировать ситуацию, пока стояла у закрытых дверей вагона. Впервые за все время я задала себе вопрос: захочет ли Белл со мной разговаривать и что мы скажем друг другу, по крайней мере сначала? Я не могла представить, что Белл будет во всем обвинять меня, как, например, обвиняла Козетта. А может, она ждет от меня обвинений в *своей* адрес?

Именно об этом я размышляла, когда поезд остановился на Холланд-парк. Двери открылись, и я высунулась из вагона, глядя вдоль поезда, но Белл не появилась. Часы показывали почти половину восьмого, и хотя народу было еще много, основная толпа схлынула. В час пик у меня ничего бы не вышло, не стоило даже и пытаться. Следующей была станция Ноттинг-Хилл-Гейт, и я почти не сомневалась, что Белл там не выйдет, поскольку в былые времена этой станцией пользовались мы все, за исключением Козетты, которая всюду ездила на машине или такси. Белл, несмотря на свою любовь к некоторым уголкам западного Лондона, вряд ли окажется настолько равнодушной, чтобы, выйдя из тюрьмы, вернуться на эти улицы и на эту станцию метро.

Да, оно все-таки прозвучало, это слово, хотя только в моей голове. Я его произнесла. Не убежище, не чистилище, не ничейная земля, а тюрьма. Оно вызвало у меня слабость, почти дурноту. И за этой мыслью последовала следующая, почти такая же тревожная: я не ожидала, что Белл выйдет на свободу, думала, что осталось еще не меньше года, и не была готова к этому. И вообще, ждала ли я, что она когда-нибудь освободится? Как бы то ни было, на станции мне нужно выйти из поезда — на тот случай, если я ошиблась и Белл не живет здесь, а лишь приехала по делам и вынуждена пользоваться этой станцией. Я стояла на платформе и смотрела, не выйдет ли Белл, однако она не появилась.

Она вышла из вагона на станции Квинсвей. Я последовала за ней, теперь уже не сомневаясь, что догоню ее в толпе, которая будет ждать лифт.

Но кабина не смогла вместить такого количества пассажиров. Я видела, как Белл входит в лифт, видела благородную седую голову, возвышавшуюся над всеми, кроме еще двух, но сама была вынуждена ждать следующего. Но еще раньше, до того как закрылись двери первого лифта, Белл повернулась и посмотрела прямо на меня. Не знаю, видела она меня или нет, — это осталось загадкой, и я до сих пор сомневаюсь, хотя думаю, что не видела. Двери лифта закрылись, и кабина начала подниматься, унося Белл.

Когда я вышла на Бэйсуотер-роуд, солнце уже зашло; небо еще было бледно-розовым, но вереница облаков уже окрасилась в самые разные цвета: рыжий, малиновый и черный. Небо над городами, и особенно над Лондоном, гораздо красивее, чем в сельской местности; американцы, конечно, проголосуют за Нью-Йорк, и я охотно поставлю его на второе место. Т. Г. Хаксли^[2] любил смотреть на Оксфорд-стрит на закате солнца, наблюдая за апокалипсическими образами, и в тот вечер я тоже видела причудливые очертания над парком и Кенсингтон-Палас-Гарденз — громадное вздувшееся облако с пятнами оттенка охры и высохшей крови; ветер рвал его, образуя маленькие прозрачные озерца бледно-голубого цвета, снова закрывавшиеся под напором черных, как уголь, клубов. Но Белл я не видела — она исчезла.

Вернувшись к Квинсвей, я посмотрела вдоль Бэйсуотер-роуд, сначала в одну сторону, затем в другую. Далеко впереди шла — на запад — какая-то женщина в черном, и мне кажется, я уже тогда знала, что это не Белл, несмотря на тонкую талию и седые волосы. Я обманывала себя, потому что ничего другого мне не оставалось. Вернуться домой с пустыми руками и ожесточившимся сердцем? Рано или поздно придется, но не теперь. Однако когда женщина свернула с Бэйсуотер-роуд на Санкт-Питерсберг-плейс, ко мне вернулась уверенность, что это Белл, что это должна быть Белл — она просто не могла так быстро убежать и спрятаться, — и я с воодушевлением бросилась в погоню, по Санкт-Питерсберг-плейс, мимо синагоги и церкви Св. Матфея, по Москоу-роуд, через Пембридж-сквер и Пембридж-Виллас. Разумеется, теперь мы были ближе к Ноттинг-Хилл-Гейт, чем к Квинсвей, и я убеждала себя, что Белл сознательно не пользуется этой станцией метро и идет домой окружным путем, поскольку встречаться с воспоминаниями о прошлом ей так же тяжело, как и мне — а возможно, еще тяжелее.

Я потеряла ее где-то на этой стороне Портобелло-роуд. Я употребляю выражение «где-то на этой стороне», словно не знала этот район как свои пять пальцев, словно каждый его дюйм, каждый ярд не отпечатался в памяти, будоража чувства. Я потеряла женщину на Ледбери-роуд, а снова

обнаружила на углу Портобелло-роуд, где она встретила знакомую и остановилась поговорить. А потом я увидела, что это не Белл, хотя та часть меня, которая узнала бы ее с закрытыми глазами, давно все поняла. Женщина, за которой я шла, была старше Белл — той теперь должно исполниться сорок пять; разговаривала она с девушкой, маленькой коренастой блондинкой, чей звонкий смех эхом разносился по пустой, до уродливости вычурной улице. Я прошла мимо них и увидела, что небо уже не розовое, а серое и черное от тяжелых, клубящихся грозовых туч, а над Кенсал-Таун слышны раскаты грома.

Улицы были почти пустыми. Не то что двадцать лет назад, когда я сюда приехала, — в те времена вся молодежь Англии бурлила, и, как мне казалось, больше всего в Ноттинг-Хилле. Теперь здесь стояли машины — они словно проглатывают людей и перемещают с места на место в защитных капсулах. У каждого дома здесь был сад; в мае деревья зацветали, и район наполнялся смесью запахов машинного масла и боярышника, жимолости и выхлопных газов. В дни, когда тут жила Козетта, все было пропитано запахом французских сигарет, или, если уж на то пошло, любых старых сигарет, французских, английских и русских, даже «Пассинг Клаудс», а в кинотеатре «Электрик Синема» — еще и ароматом марихуаны. Я пошла пешком, но другой дорогой, южнее, вдоль Чепстоу Виллас, и теперь знала, куда иду, — глупо было бы делать вид, что я выбрала этот путь случайно или не знала, что там находится Аркэнджел-плейс.

Я шла, думая о Белл, гадая, найду ли там кого-то, кто приведет меня к ней, кто может знать. Я по-прежнему не сомневалась, что она возвращалась домой, и теперь, скорее всего, уже дома. Именно мое лицо, увиденное из лифта на Квинсвей, заставило ее поторопиться и, возможно, спрятаться. Чтобы ускользнуть от меня, достаточно было войти в отель «Кобург» или даже на станцию метро Бэйсуотер, всего в нескольких ярдах дальше по улице. Разумеется, Белл живет не в Ноттинг-Хилле, а где-то в Бэйсуотере. Там я должна найти кого-то, кто мне расскажет. Но получается, она не хотела встречаться со мной?.. По возможности я никуда не ходила пешком, но теперь сначала шла, затем бежала, преследуя сначала настоящую, а потом мнимую Белл, и у меня заболели ноги.

Ощущение, наверное, неизбежное, однако в моем случае это могла быть не просто усталость, а первый звоночек. Меня захлестнул очередной приступ паники. Я еще не достигла возраста, после которого можно чувствовать себя в безопасности, не перешагнула границу. Но, боже, как же мне все это надоело; после стольких лет бесконечных повторений это

вызывает тоску и ужас — если, конечно, возможно испытывать два этих чувства одновременно. Я ничего никому не рассказывала, только Белл и Козетте. Естественно, Козетта уже все знала. Но помнит ли Белл? Интересно, что она подумала, увидев меня на станции метро: еще рано, или мне повезло и опасность миновала?

Как обычно, я стала убеждать себя, что ноги болят из-за нетренированных мышц (подбородок обычно дрожит от усталости, а стакан падает в результате простой небрежности), и подумала, что сделала глупость, выйдя из дома в туфлях на высоких каблуках, да еще остроносых, сдавливающих пальцы. Это не помогло — ничего не помогает, пока не пройдет боль, тик или слабость. Я решила, что поймаю первое же такси, которое вынырнет из этих узких, зеленых переулков, дугообразных улиц или террас — район Уэст-Элевен представляет собой густую паутину из проулков, тупиков, пустырей и цветущих дворишков, переплетение радующей глаз зелени и серой тоски.

Такси не было, но я все равно обманывала себя, когда говорила, что остановлю его, если оно появится. Я дошла до узкой дороги, ведущей сначала к проулку, а затем к Аркэнджел-плейс, — такой дороги, несмотря на нависающие над ней ветви деревьев и густые живые изгороди, не увидишь в сельской местности. Она была вымощена плиткой, отполированной подошвами городских туфель, в живой изгороди попадалась бирючина, а среди деревьев — катальпа. Дорога пахла городом, от нее веяло какой-то заброшенностью, а под ногами была не земля, а пыль. На углу по-прежнему стоит церковь Св. Архангела Михаила, построенная в викторианском византийском стиле, несколько не изменившаяся, не закрытая и не огороженная, избежавшая осквернения и не превращенная в многоквартирный дом — с широко распахнутыми дверьми, сквозь которые виден алтарь и архангел с распростертыми крыльями.

Я остановилась на углу и нагнулась, чтобы помассировать икроножные мышцы, затем подняла голову, выпрямилась и посмотрела вдоль узкой и довольно короткой улицы. Отсюда казалось, что «Дом с лестницей» тоже несколько не изменился. Но уже наступили сумерки, долгие летние лондонские сумерки, мрачные и холодные, и они могли скрыть перемены. Медленно и размеренно, словно на прогулке, я перешла на противоположную сторону. Когда тут жила Козетта, то летними вечерами люди обычно сидели на ступеньках, а в жаркую погоду принимали солнечные ванны на плоских крышах крылечек. Но теперь Аркэнджел-плейс превратилось в престижное место, и я подозреваю, что за разнообразными фасадами — голландский стиль, викторианское барокко,

неоготика, палладианский стиль Бэйсуотера — скрываются ряды аккуратных квартир, получивших название «роскошных переделок», с коврами покрытиями, подвесными потолками и двойным остеклением. Вскоре я поняла, что дом номер пятнадцать относится именно к этому типу, поскольку на том месте, где у Козетты была завитушка из кованого железа со шнурком колокольчика, теперь блестел ряд кнопок домофона с карточками над каждой.

Почему мне в голову пришла нелепая идея, что на одной из карточек может быть фамилия Белл? В любом случае именно это предположение заставило меня перейти на другую сторону улицы и посмотреть. «Дом с лестницей» превратился в шесть квартир, которые занимали все здание, от подвала до чердака; там были жильцы с греческими и арабскими фамилиями, француз — судя по имени — и индеец, женщина, с немецко-еврейскими корнями или просто американка, но не Белл. Разумеется, не Белл. Цвет дома тоже изменился. Вблизи я поняла, что при свете дня новый оттенок будет совсем не таким, каким казался с перекрестка, не темно-желтым, как при свете фонаря. Когда дом купила Козетта, он был светло-зеленым, будто капустные листья, но каменная кладка сохранила естественный кремовый цвет — впрочем, как и теперь. Окна — пять рядов выше уровня земли и один ниже — вы собственными глазами можете увидеть в «Камнях Венеции» Раскина, на иллюстрации с изображением каменной арки Бролетто в Комо. Я не знаю, то ли архитектор лично приезжал туда, чтобы посмотреть на эти окна, то ли просто скопировал их с рисунка Раскина, но скопированы они очень точно — каждое состоит из трех арок с напоминающим выбленочный узел сплетением в центре и двумя двойными колоннами, которые увенчаны коринфскими капителями. Чтобы получить полное представление, лучше взглянуть на рисунок.

В окнах горел свет, и не все занавески были задернуты. Я вернулась на противоположную сторону улицы и остановилась под одним из платанов. Перпетуа говорила, что именно пух от их бледных вянущих цветов вызывает у нее сенную лихорадку. Новые владельцы или строители поменяли входную дверь, которая в те времена, когда тут жила Козетта, тоже была сделана во вкусе Раскина, с остrokонечной аркой и деревянной резьбой в виде кукурузы и дубовых листьев, окруженных лентами. Новая выглядела какой-то неогеогианской уродиной, а в закругленную верхушку архитрава вставили рубиновое стекло. Сад — то есть палисадник, поскольку сад позади дома не виден с того места, где стояла я, — не тронули.

Это был очень маленький участок зелени между тротуаром и глубокой

выемкой перед окном цокольного этажа. Оба сада, перед домом и позади него, отличало одно обстоятельство — это были серые сады, с серыми цветами и листьями. В них росли цинерария и синеголовник, «кроличьи уши», шерстистая лаванда и карликовая серебристая лаванда, лихнис корончатый с похожими на фетр листьями, испанские артишоки, изящная артемизия, белокудренник и крестовник. Абсолютный профан в ботанике, я знала названия всех растений в саду Козетты. Мне о них рассказал садовник Джимми, радовавшийся хотя бы одному небезразличному человеку, и эти названия накрепко засели у меня в памяти. Интересно, неужели Джимми по-прежнему сюда приходит? Он говорил, что шерстистая лаванда — очень нежное растение, и без его ухода она погибнет. Мне показалось, растения прекрасно себя чувствуют, а если взять бледно-серые ирисы, то они цвели вовсю — их похожие на бумагу лепестки блестели в зеленоватом свете фонаря.

Не имея возможности увидеть сад позади дома, понимая, что не вынесу этого, я была уверена, что там все изменилось. Тот, к кому дом перешел после Козетты, когда я от него отказалась, должен был *знать* — ему, наверное, осторожно намекнули, и он решил принять факты и примириться с ними. Но затем неизбежно должно было возникнуть желание изменить сад, все переделать, возможно, посадить аккуратно стриженные прямоугольные кусты, остроконечные хвойные деревья, яркие цветы. И тогда в саду не осталось бы места для призраков, которые, как говорят, рождаются из энергии, оставшейся в том месте, где произошло какое-то ужасное событие.

Я пыталась увидеть что-нибудь между домами, заставить свой взгляд проникнуть сквозь кирпичную стену и высокую живую изгородь, черную, почти сплошную массу вечнозеленой листвы. Но если эвкалипт все еще там, его тонкие ветки с изящными, заостренными серыми листьями должны были подниматься выше падуба и лавра, потому что, как однажды сказал мне Джимми, эвкалипты вырастают очень быстро. Если дерево сохранилось, теперь оно почти достигло того высокого окна. Но его там нет, это невозможно, и, прежде чем отвести взгляд, я представила, как дерево рубят и оно падает, представила сильный лекарственный запах, который должен был исходить от его умирающих листьев и распиленного ствола.

На фасаде «Дома с лестницей» есть только два балкона, на тех этажах, где находилась гостиная и хозяйская спальня — копии балконов на доме Ланира, расширяющиеся книзу, похожие на корзины. Этот ученик Раскина не чурался смешения стилей.

Пока я стояла внизу, открылась центральная дверь на этаже, где раньше была гостиная, и на балкон вышел мужчина, чтобы внести в комнату растение в горшке. Он смотрел не на меня, а на растение и, возвращаясь, отодвинул штору, позволив мне бросить взгляд на освещенную желтым светом комнату — в основном на крошечный блестящий канделябр и темно-красную стену не более чем в десяти футах от окна, увешанную зеркалами и картинами в белых рамах. Я задохнулась, словно от удара в солнечное сплетение. Конечно, я понимала, что гостиную должны были разделить перегородкой, просто обязаны — она имела в глубину тридцать футов, и теперь в ней располагалась целая квартира. Штора вернулась на место, снова закрыв окно.

Внезапно в моем мозгу всплыла яркая картина, память о возвращении после долгой разлуки — вероятно, поездки в Торнхем, когда, преодолев первый лестничный пролет, я открыла дверь в гостиную и увидела сидящую за столом Козетту; ее голова тут же повернулась ко мне, лучезарная улыбка преобразила задумчивое лицо, и она встала, протягивая руки, чтобы принять меня в неизменно радушные объятия.

— Хорошо отдохнула, дорогая? Ты не представляешь, как мы по тебе скучали.

Из груды вещей, которыми завален стол, извлекается подарок в честь возвращения, тщательно и с любовью выбранный, какая-нибудь подушечка для булавок в форме клубники или каменные шарики. Подарки Козетта всегда заворачивала в красивую, как ткани Уильяма Морриса,^[3] бумагу, завязывала шелковой ленточкой, а от соприкосновения с ее кожей и платьем на них оставался аромат духов...

Я стояла, крепко зажмурившись. Это произошло само собой, когда владелец квартиры на втором этаже случайно показал мне кусочек своей гостиной, и я представила Козетту там, где теперь была красная стена. Открыв глаза, я последний раз бросила взгляд на изменившийся, перестроенный, испорченный дом и отвернулась. Уже стемнело, и я пошла к Пембридж-Виллас, по какой-то непонятной причине запрещая себе оглядываться; из переулка вынырнуло такси, и я села в него. Откинулась на скользкую обивку сиденья и вдруг почувствовала себя уставшей и измученной. Может показаться, что я совсем забыла о Белл, однако воспоминания о Козетте и прочие чувства, которые вызвал у меня «Дом с лестницей», лишь временно вытеснили ее из моих мыслей. О чем я действительно забыла, так это о боли в ногах — и боль прошла, на неделю или две давая мне передышку от ужаса и тоски.

Теперь я думала о Белл уже в другом, более спокойном расположении

духа. Возможно, это и к лучшему, что я ее упустила и мы не встретились. Я опять задала себе вопрос: видела ли она меня поверх людских голов в лифте? — и опять не пришла к какому-то определенному выводу. Убегала ли она от меня, или, не подозревая о моем присутствии, вышла из метро и пошла напрямиком в один из магазинов на Квинсвей? Вполне возможно, и мне не давала покоя мысль, что Белл, выйдя из магазина, могла идти за мной, не зная, кто я такая. Или ей было все равно? Такой вариант тоже нельзя исключить.

Вполне возможно, Белл не хотела знать никого из прошлой жизни, собиралась начать все заново с новыми друзьями и новыми интересами, и доказательством тому мог служить факт (я считала это наиболее вероятным), что она обосновалась в Бэйсуотере или Паддингтоне, районах Лондона, в которых, как мне казалось, она никогда не жила.

В любом случае все это не имело никакого отношения к моей решимости найти Белл. Я выясню, где и как она живет, как себя теперь называет, и посмотрю на нее — даже если этим придется и ограничиться. Сердце у меня замирало, когда я думала о годах, которые Белл провела в тюрьме, — как мне казалось, потерянном времени и растроченной впустую молодости. А потом — точно так же, как я вспоминала Козетту за письменным столом в гостиной, всегда заваленном книгами и цветами, листами бумаги и принадлежностями для шитья, с телефоном, очками и бокалами, фотографиями, открытками и письмами в конвертах, — перед моим внутренним взором появилась Белл, почти такая, как при нашей первой встрече, когда она вошла в холл Торнхема и сообщила, что ее муж застрелился.

2

Я *узнала* в четырнадцать. Все правильно, мне следовало *знать*, но, наверное, все же не стоило так торопиться. Что такого могло произойти, подожди они еще четыре года? За это время я вряд ли вышла бы замуж или родила ребенка.

Именно так я говорила Белл, рассказывая эту историю. Больше никто не *знает*, ни Эльза не *знает*, ни даже мой бывший муж Робин. Я призналась во всем Белл в один из темных зимних дней в «Доме с лестницей»; мы сидели не наверху, в комнате с длинным окном, а на ступеньках, с бокалом вина в руке.

Нельзя сказать, что болезнь моей матери уже проявилась. Родители даже не были уверены, больна ли она — по крайней мере физически. Психические изменения — именно так описывают ее состояние книги — могли иметь множество причин и ни одной конкретной. Как бы то ни было, отец с матерью решили, что я должна *узнать* именно в четырнадцать, и мне сказали, хотя и не в день рождения, как случается с героями и героинями романов, которых по достижении определенного возраста посвящают в семейные ритуалы и тайны, а два месяца спустя, в один из дождливых дней. Наверное, родители понимали, что это напугает меня и сделает несчастной. Но знали ли они, каким это станет шоком? Неужели не осознавали, что я буду чувствовать себя такой же отделенной от остального человечества, словно на спине у меня горб, или я должна вырасти до семи футов ростом?

Я поняла тогда, почему была единственным ребенком, но не могла понять, почему вообще появилась на свет. Какое-то время я упрекала отца и мать за то, что они меня родили, за безответственность — ведь они все *знали*. И довольно долго отказывалась признавать их родителями, не желала иметь с ними ничего общего. Быстрое развитие болезни матери ничего не изменило. Самые безжалостные люди на свете — это подростки. Я отвернулась от родителей и от их тайны: от ее дефектных генов, от его внимательных глаз и тревожного ожидания симптомов, — и обратилась к тому, кто был добр и не заставлял меня страдать. Я обратилась к Козетте.

Разумеется, я знала Козетту всю свою жизнь. Она была замужем за двоюродным братом матери Дугласом Кингсли, и поскольку семья наша была невелика — что естественно, — те немногие, кто обосновался в Лондоне, тянулись друг к другу. Кроме того, они жили недалеко от нас,

вернее, достаточно близко, если вы любите долгие пешие прогулки, как я в те далекие дни. Их дом находился на Веллграт-авеню в Хэмпстеде, почти в Голдерс-Грин, и окнами выходил на пруды и Уилдвуд-роуд. Особняк тридцатых годов в тюдоровском стиле, слишком большой для двух человек, был построен так, чтобы напоминать бревенчатый деревенский дом. Когда Дугласу говорили, что Гарт-Мэнор велик для двух человек, он, нисколько не обижаясь, отвечал: «Размер дома человека не зависит от размера его семьи. Это вопрос статуса и положения в обществе. Дом отражает его достижения».

Дуглас добился успеха в жизни. Он был богатым человеком. Каждое утро его везли в Сити в зеленом «Роллс-Ройсе», который присоединялся к веренице машин — даже в те годы, пятидесятые и шестидесятые, — гроыхавших по Росслин-Хилл. Он сидел сзади, просматривая извлеченные из портфеля бумаги, внимательно изучая их сквозь толстые линзы очков в темной массивной оправе, а разбираться с дорожным движением было предоставлено водителю. У Дугласа были стального цвета волосы и щеки, а оттенок его костюмов всегда гармонировал с цветом волос и щек, хотя иногда на ткани присутствовала тонкая темно-красная или темно-зеленая вертикальная полоска. Они с Козеттой вели жизнь типичных представителей верхушки среднего класса, но в то же время были искренними и открытыми. Когда я повзрослела и стала наблюдательнее, то часто думала, что в ранней молодости Дуглас как будто составил длинный список — или даже толстый фолиант — манер и занятий, приличествующих представителю верхушки среднего класса, и в качестве жизненного ориентира выбирал из них самые солидные, самые популярные, те, которые с наибольшей вероятностью вызовут одобрительную реакцию или похвалу общества.

Все это нашло отражение в журналах на кофейном столике Козетты («Татлер», «Леди», «Кантри Лайф»), в их еде — я в жизни не встречала людей, которые употребляли столько копченой семги, в одежде из «Берберри», «Акваскьютум» и «Скотч хаус», в его «Роллс-Ройсе» и ее «Вольво», в отдыхе на Антибах и в Люцерне, а позднее, в начале шестидесятых, — и в Вест-Индии. Но в четырнадцать лет я, разумеется, так не думала, хотя и не могла не видеть их богатства. Если подобные мысли и приходили мне в голову, я все равно считала такой образ жизни выбором их обоих, с готовностью и радостью присоединяясь к нему. И только гораздо позже начала понимать, что это выбор Дугласа, а не Козетты.

Мои визиты начались в летние каникулы, когда родители рассказали

мне о моей наследственности. Козетта пригласила меня, когда в очередной раз пришла к нам в гости. Я была еще ребенком, однако она разговаривала со мной как с равной — она со всеми так себя держала, улыбаясь своей мягкой, несколько рассеянной улыбкой.

— Приходи к нам на следующей неделе, дорогая, и посоветуй, что мне делать с садом.

— Ничего не понимаю в садоводстве, — ответила я, Наверное, угрюмо, поскольку в те дни у меня всегда было мрачное настроение.

— Лилии взошли, но чувствуют себя не очень хорошо, и это непозволительно, потому что у них такие красивые имена. «Мерцающий день», «Золотая заря» и «Драгоценное страдание». В каталоге говорится, что они «хорошо приживаются на любой почве, переносят повышенную влажность и засуху, будут расти на ярком солнце и в тени...», но приходится признать, что это не так.

Я просто смотрела на нее, со скукой, не отвечая. Мне Козетта всегда нравилась, поскольку всегда обращала на меня внимание, не сюсюкала, не приставала с расспросами, но в тот день я ненавидела весь мир. Этот мир терзал меня уже четырнадцать лет, а я до сих пор ничего не знала и теперь пылала жаждой мщения.

— Нам ничего не нужно будет делать, — сказала Козетта, очевидно полагая, что безделье должно выглядеть заманчиво. — Я имею в виду, нам не придется выкапывать и сажать растения, пачкать руки. Просто будем сидеть, что-нибудь пить и строить планы.

Родители сообщили ей, что обо всем мне рассказали, и Козетта была со мной ласкова. Позже она искала моего общества ради меня самой, и доброта тут была ни при чем. Но в тот день она видела во мне просто юную родственницу, на которую взвалили непосильный груз, и помочь которой могла только она. В этом вся Козетта. Она радушно встретила меня в Гарт-Мэнор, и в тот первый раз мы сидели на свежем воздухе на садовой мебели, которую я ни у кого больше не видела, на изящных, обтянутых английским ситцем диванчиках под балдахинами и в плетеных креслах с высокими спинками, которые Козетта называла «павлинами».

— Потому что они должны напоминать Павлиний трон,^[4] только без драгоценных камней и всего прочего. Я хотела завести пару павлинов, чтобы они тут гуляли, — только представь себе эти великолепные хвосты у самцов! Но Дугласу эта идея не понравилась.

— Почему? — спросила я, уже осуждая его и становясь на ее сторону, уже считая его властным и даже деспотичным мужем.

— Они кричат. Я этого не знала — в противном случае у меня и мысли бы не возникло. Павлины всегда кричат на рассвете, так что по ним можно сверять часы.

В саду был стол из белого ротанга со стеклянной столешницей, прикрытый от солнца большим белым зонтом. Перпетуа принесла нам клубнику в шоколадной глазури и лимонад, приготовленный из настоящих лимонов и разлитый в стаканы, которые каким-то волшебным образом были покрыты настоящим инеем. Козетта курила сигареты в длинном черепаховом мундштуке. Она сказала, что ей очень нравится мое имя. Будь у нее дочь, она назвала бы ее точно так же. Именно Козетта рассказала мне, почему имя Элизабет по-прежнему популярно в Англии. Потом — хотя, конечно, не в тот раз — я часто думала, сколько усилий она прилагала, собирая эти и многое другие сведения просто ради того, чтобы порадовать меня, побороть мое смущение.

— Потому что, дорогая, если его мысленно повторить несколько раз, оно начинает звучать очень странно, правда? Как имена из Ветхого Завета, вроде Мехитабель, Хевциба или Суламифь, и любое из них могло бы стать таким же модным, как Элизабет, если бы им называли королеву. Имя Элизабет сделалось популярным из-за Елизаветы I, а ее называли в честь прабабки, Элизабет Вудвил, на которой женился Эдуард IV — так-то вот! А раньше оно было таким же редким, как и остальные.

— Наверно, имя Козетта тоже очень редкое, — сказала я.

— Оно означает «малышка». Так меня называла мать, и прозвище прилипло. К сожалению, я уже не малышка. Открою тебе секрет: мое настоящее имя Кора — правда ужасно? Ты должна мне пообещать, что никому не скажешь. Когда я выходила замуж, пришлось произнести его при всех, но с тех пор — ни разу.

Я удивлялась, почему Дуглас не подарил ей обручальное кольцо из чего-то более ценного, чем серебро, и не знала, что оно сделано из платины, которая только вошла в моду, когда Козетта выходила замуж. В серовой оправе крупные бриллианты смотрелись мрачновато. Тогда Козетта не пользовалась косметикой, только лаком для ногтей; в тот раз он был светло-красным, как куст лилий в ее саду. Взмах указующей руки был грациозен, и его почему-то хотелось назвать лебединым, хотя это, конечно, абсурд. Лебеди не могут указывать. Но мы восхищаемся их медленными и плавными движениями, изящными позами — именно такой была Козетта.

Клумба, на которую она указывала, имела форму полумесяца, и растущие на ней лилии, красные, желтые и снежно-белые с кофейными крапинками, казались мне какими-то необыкновенными. Их посадил и за

ними ухаживал садовник. Возможно, Козетта и руководила всеми работами в саду и в доме, но я ни разу не видела, как она сама что-то делает по хозяйству. И никто, даже мой отец, который был довольно желчным, не называл ее ленивой, хотя каким еще словом можно назвать ее безмятежное, непринужденное безделье? Козетта обладала невероятной способностью абсолютно ничего не делать, хотя могла превосходно шить, умела рисовать карандашом и красками, но предпочитала часами просто сидеть, без книги, иглы или карандаша в руке, с ласковым, безмятежным и расслабленным лицом. В то время — ей было больше лет, чем мне теперь, наверное, за сорок — печаль, о которой я уже говорила, еще не проступила на ее лице. Симона де Бовуар^[5] в своих мемуарах жалуется, что с возрастом кожа обвисает, от чего лицо кажется грустным. Именно ослабление лицевых мышц впоследствии придало лицу Козетты почти трагическое выражение, пропадавшее только при улыбке.

В то время Козетта казалась мне старой, причем до такой степени, как будто принадлежала к другому виду существ. Иногда я с горечью думала, что не могу представить себя в таком возрасте — вероятно, этого и не случится. Тогда Козетта была крупной, белокурой женщиной, довольно полной, даже толстой, хотя в те времена она нисколько не волновалась по поводу своего веса. Взгляд ее светлых серо-голубых глаз казался неуверенным, задумчивым и, возможно, даже робким. Застенчивость в Козетте сочеталась с благородной уверенностью в себе.

— Значит, ты думаешь, дорогая, что мой гемерокаллис превосходно себя чувствует? — Названия растений давались ей без труда. Возможно, она никогда в жизни их не сажала, не выпалывала угрожавшие им сорняки, но прекрасно знала, как называется каждый цветок. Мое молчание ее не обескуражило. — Полагаю, я была слишком нетерпеливой, ожидая чего-то сверхъестественного, хотя бедняжки росли тут всего шесть месяцев.

Даже я, такая юная и такая несчастная, не смогла сдержать улыбки, когда Козетта назвала себя нетерпеливой. Главной ее чертой была безмятежность. Из-за этого почти восточного спокойствия в ее присутствии у меня — и всех остальных — неизбежно возникало чувство, как будто ты освобождаешься от забот, погружаясь в сладкую, созерцательную истому. Как это ни странно, одновременно вспоминалось противоположное качество, неутомная резвость, которая отличает многих женщин из поколения моей матери и которая заставляла людей моего возраста нервничать и испытывать неловкость. Козетта всегда была на месте — неизменно доброжелательная, заинтересованная, готовая ради тебя отложить все дела.

Вскоре я стала приходить к ней не меньше трех раз в неделю, потом оставалась на ночь. Я училась в школе в районе Хэмпстед Гарден, и мне было легко объяснить, что всю неделю удобнее жить у Козетты, а не возвращаться каждый раз домой в Криклвуд. По крайней мере, именно так я все объясняла, хотя для любого, кто имел представление о расстоянии между улицами Генриетты Барнетт и Криклвуд-лейн, это звучало нелепо. Только существование и частое присутствие Дугласа удерживали меня от попытки поселиться в Гарт-Мэнор. Наверное, у каждого найдется знакомая пара супругов, в которой один очень близок вам по духу, а другой неприятен. Для меня ежевечернее возвращение Дугласа домой, о котором возвещал шелест шин «Роллс-Ройса» по гравийной дорожке, разрушало атмосферу близости между мной и его женой. Он был таким мужественным, таким старым, типичным биржевым маклером, и большую часть того, что он говорил, я не понимала, хотя Дуглас, казалось, и не ждал понимания, а просто требовал серьезности и тишины. А по выходным он почти все время был дома.

В присутствии мужа Козетта нисколько не менялась. Оставалась все тем же милым, улыбчивым, хотя и экспансивным созданием, женщиной с даром слушать собеседника. Рассказы мужа о сделках и переговорах она выслушивала с тем же неизменным вниманием, что и мои откровения, сны, мечты, разочарования и обиды. Козетта действительно слушала. Мысленно не отгораживалась от вас, продолжая думать о чем-то своем. Я восхищалась ее комментариями на загадочные обличительные речи Дугласа, с подозрением и непониманием смотрела, как она встает с кресла, чтобы по-лебединому плавно пересечь комнату и погладить своей пухлой белой рукой щеку мужа. В ответ Дуглас всегда поворачивал голову и целовал ее ладонь. Меня это жутко смущало. Теперь я понимаю, что не хотела, чтобы у Козетты была личная, отдельная от меня жизнь, напрямую не связанная со стараниями сделать легче и счастливее мою.

Она не упоминала о страхе и тоске, ждала, когда я скажу о них сама. В разговоре Козетта редко поднимала какие-то новые темы или проявляла любопытство. Я заговорила об этом — с явной горячностью — после того, как ее соседка, Дон Касл, теплым октябрьским днем сидя с нами в саду, заявила, что лилии давно умерли и засохли, а мы с Козеттой восхищаемся поздними георгинами. Дон Касл всегда говорила о своих детях и о том, сколько беспокойства они доставляют: младшего только что исключили из школы, а старший провалил экзамен. Закончила она, как всегда, банальностью:

— Тем не менее не представляю, что бы я без них делала.

Мне и в голову не приходило, что эта часто повторяемая фраза может так задеть Козетту. Я считала эти слова просто глупостью и довольно грубо сказала:

— Почему это, если они вас так достают?

Дон Касл казалась шокированной, и вполне возможно, так оно и было.

— Когда у тебя будет ребенок, ты изменишь свое мнение.

— У меня никогда не будет детей. Никогда.

Выпавив это, я почувствовала на себе взгляд Козетты.

— Мне хочется отшлепать девушек, которые так говорят, — с нервным смешком сказала миссис Касл и ушла домой, поскольку принадлежала к той породе людей, которые чувствуют себя непринужденно только во время пустой болтовни и сразу пугаются всего, что они называют «неприятным».

— Ты была агрессивна, — сказала Козетта.

— Это жестоко, — возразила я. — Нужно сначала думать, а потом говорить. Если она не знает обо мне, то о тебе точно должна — Дуглас двоюродный брат моей матери.

— Насколько я могу судить, никто не помнит о родственных связях других людей.

— Козетта, — сказала я. — Козетта, почему у вас нет детей? Разве ты не хочешь иметь ребенка?

У нее была привычка улыбаться в ответ на вопрос, на который она не собиралась отвечать словами. Загадочная улыбка медленно распространялась по ее лицу, неопределенная и мягкая, но каким-то образом пресекавшая дальнейшие вопросы. В те времена я почему-то вбила себе в голову, что Дуглас женился на Козетте, не рассказав о своей наследственности. Понимаете, моя убежденность была абсолютно необоснованной — я прочла это, или мне так только казалось, в ее печальных глазах, в некой отстраненности. Так ведут себя все подростки — плетут немислимую паутину из небылиц вокруг жизни своих старших друзей. Я убедила себя, что Дуглас обманул Козетту, лишил ее детей, а когда пути назад уже не было, попытался компенсировать это богатством и роскошью. Той зимой они поехали в Тринидад, а я вернулась домой, где обнаружила, что наблюдаю за матерью почти с медицинской скрупулезностью. Однажды она уронила бокал для вина, и я вскрикнула. Отец подошел и ударил меня по щеке.

Пощечина была слабой, и больно не было, но я восприняла это как насилие.

— Не смей больше так делать, — сказал отец.

— И ты тоже.

— Ты должна научиться себя контролировать. Мне пришлось. В нашем положении это необходимо.

— В нашем положении? Как это — в нашем? Ты в одном положении, а я в другом. И, в отличие от тебя, я имею право кричать.

Тяжелое испытание для пятнадцатилетнего подростка.

Весной я вернулась к Козетте в Гарт-Мэнор, откуда могла ходить в школу через поле к западу от Луга^[6] и где у меня была собственная спальня с видом на лес в Норт-Энд и такой роскошью, как телевизор, одеяло с электроподогревом и телефон на прикроватной тумбочке. В свою защиту я могу сказать, что привлекало меня совсем другое. Почему юные девушки именно в этом возрасте так любят общество взрослых женщин? Хотелось бы думать, что с моей стороны это не было чистым нарциссизмом, поскольку Козетта, тридцатью годами старше меня, не могла считаться мне соперницей, или моя красота еще больше выигрывала в сравнении с ее стареющими лицом и телом. Хотя я действительно считала Козетту стареющей, даже старой, уже безнадежной с точки зрения женственности и сексуальности. Дело в том, что Козетта стала для меня второй матерью — я выбрала ее сама, мне ее не навязывали. Она всегда выслушивала меня, и у нее всегда находилось для меня время, она была щедра на похвалу, которую я считала и продолжаю считать искренней.

В те времена Козетта, похоже, не возражала, что ее принимают за мою мать. Это пришло позже, на Аркэнджел-плейс, и хотя она не высказывала этого вслух, но в ее глазах и горьких складках в уголках губ мелькали боль и обида от часто звучавшего предположения, что я (или Белл, или Бригитта, или Фей) ее дочь. Но миссис Кингсли, член «Союза горожанок», ассоциации жителей района Велгат, член совета попечителей школы, участник программы «Обед на колесах»^[7] и социальный работник на добровольных началах, не обращала внимания на подобные мелочи. Иногда, в субботу или воскресенье, мы вместе ходили за покупками в «Симпсонз» или «Суон энд Эдгар», которые тогда были самыми большими магазинами между Пиккадили и Риджент-стрит, и продавцы принимали меня за ее дочь. То же самое происходило в ресторанах, куда мы заходили на чашечку кофе, которая Козетте требовалась каждые полчаса.

— Это пойдет вашей дочери, — говорила продавщица в Берлингтонском пассаже, и на лице Козетты появлялось почти благоговейное выражение радости и удовольствия.

— Да, Элизабет, это тебе прекрасно подойдет. Может, примеришь? — И нередко прибавляла: — Давай купим. — Это означало, что она купит

вещь для меня.

Похоже, она не стремилась выглядеть моложе своих лет. Но что я понимала тогда, в пятнадцатилетнем возрасте? Козетта одевалась в костюмы, сшитые у портного — неслыханное дело в наши дни — и уже тогда старомодные. Это были деловые костюмы с широкими плечами и юбками с бантовыми складками, из тканей, очень похожих на ткани костюмов Дугласа, — одежда, меньше всего подходящая женщинам с такой фигурой, как у Козетты. Ей следовало носить свободные платья, плащи и накидки. Позже, разумеется, она так и поступала, хотя не всегда удачно. Во время походов по магазинам Козетта покупала себе белье, неудобные пояса для чулок и ночные рубашки из блестящего шелка пастельных тонов, грубые ботинки на шнурках с двухдюймовыми каблуками, блузки с большими бантами, которые выглядывали между лацканов ее шерстяных пиджаков.

Повзрослев, я — которая никогда не оценивала Козетту, а просто любила, не задавая вопросов, — стала критически относиться к ее внешности. Но не произносила этого вслух — по крайней мере в разговоре с ней. Хотя, боюсь, иногда я не могла удержаться от замечаний подругам, и мы хихикали по углам. Козетта относилась к людям, над которыми другие смеются втайне, за их спиной. Как это, должно быть, жестоко, как мучительно! Мне неприятно вспоминать об этом. Но я пытаюсь рассказать всю правду, а правда заключается в том, что когда я приводила домой подругу (видите, тогда я считала Гарт-Мэнор «домом»), то при появлении Козетты — скорее всего, раскрасневшейся и шумно дышащей, часто неопрятной, с «вороньим гнездом» седеющих золотистых волос на голове, из которого в беспорядке торчали пряди и выпадали булавки, с подолом шелковой блузки, выбившимся из-за пояса сшитой на заказ юбки, слишком тесной для выпирающего живота, — мы переглядывались и хихикали, выражая свое презрение.

Довольно часто, особенно когда Дуглас уезжал по делам, Козетта приглашала нас с подругой на ужин в Хэмпстед. Но сначала в ее огромной и роскошной спальне (белая кровать на четырех столбиках, с балдахином из органзы, шторы с фестонами и мягкое сиденье у окна, туалетный столик с оборкой из органзы же и тройным зеркалом) устраивалась процедура «чистки перышек», и мы под восхищенными взглядами Козетты примеряли платья, которые она больше не носила, меховые накидки, боа, шарфы, а также пояса, искусственные цветы и драгоценности. Я тщательно следила за тем, чтобы ничего не хвалить, поскольку на собственном опыте знала, что за этим последует. Но подруга, по неведению или под действием

сильных чувств, восклицала:

— Ой, как мне нравится! Правда, красиво? Мне идет?

— Это твое, — отвечала Козетта.

Именно среди этих сокровищ я впервые увидела гелиотроп. Это был перстень — темно-зеленый камень с вкраплениями красной яшмы утопал в переплетении золотых нитей. Перстень для сильной руки с длинными пальцами, сказала Козетта; и действительно, когда она его надела, на ее женственной руке с блестящими красными ногтями он выглядел нелепо.

— Кольцо принадлежало матери Дугласа, — сказала Козетта. Я знала, что случилось с матерью Дугласа, знала причину ее преждевременной смерти, но промолчала. Только улыбнулась натянутой улыбкой, застывшей у меня на губах. — Она родилась в марте, — продолжала Козетта, — а гелиотроп считается камнем тех, у кого день рождения в этом месяце.

— А я думала, что гелиотроп — это цветок, — сказала моя подруга.

— Гелиотропом называют все, что поворачивается к солнцу, — с улыбкой объяснила Козетта.

Возможно, я не была столь же добра к ней, как она ко мне, но я любила ее, всегда любила. Годам к двадцати подростковая жестокость прошла, и я со стыдом вспоминала свой смех и свое презрение — точно так же я мучилась, что не проявляла сочувствия к матери. Облегчение приносил лишь тот факт, что Козетта не *знала*. Она ничего не требовала от тех, кого любила, только возможность доверять им. А может, это совсем не пустяк. Не знаю, не могу сказать. Она хотела лишь быть уверена, что может отдать всю себя, разум и душу, человеку, которого любит, не опасаясь предательства. Много лет спустя, когда, уже учась в колледже, я смотрела постановку «Трагедии девушки», меня особенно поразили две строчки, напомнившие мне о Козетте: «Всего больней нам ранят сердце те, кого мы любим и кому мы верим».^[8]

Дугласу она могла доверять. Несмотря на сомнения, посещавшие меня в юные годы, он никогда ее не обманывал. Дуглас любил и оберегал ее, а взамен Козетта должна была лишь принять образ жизни, который ему нравился: приглашение на ужин соседей, визиты на ужин к соседям, собрания ассоциации жителей района Велграт в ее столовой, Перпетуа для уборки и Мэгги на кухне, пропальывающий лилии Джимми, вид на Норт-энд в одном направлении и на поле за Лугом в другом, неиссякающие деньги и бесконечный покой, Дон Касл с ее бесконечными банальностями, приемный ребенок и шесть спален. Нет, разумеется, всему на свете приходит конец. Козетта очень любила историю, вероятно, об умирающем Будде, и я часто слышала, как она рассказывала своим тихим,

неторопливым голосом:

— Ученики пришли к нему и сказали: «Учитель, мы не перенесем потери. Как мы будем жить, когда ты нас покинешь? Оставь нам хотя бы слово утешения, которое поможет перенести твой уход». И Будда ответил: «Все меняется».

Я обычно улыбалась, потому что жизнь Козетты оставалась неизменной. По крайней мере, так мне казалось все те годы, когда я почти все время жила с ней и Дугласом; ее жизнь состояла из неизменного круга необременительных, приятных занятий, кульминацией которых был отдых в условно экзотических местах, доставка от портнихи нового платья для ужина в какой-нибудь «ливрейной компании»,^[9] или, как я эгоистично льстила себе, мои удовлетворительные результаты экзаменов за среднюю школу. Все меняется, но в жизни некоторых людей ждать изменений приходится долго.

В одно осеннее утро, когда поток транспорта в Хэмпстеде был особенно плотным и «Роллс-Ройс» стоял в пробке за станцией метро Белсайз-парк, Дуглас поднял голову от документа, который он читал по дороге на работу, откинулся на сиденье и умер.

Шофер ничего не заметил. У Дугласа не было привычки разговаривать с ним, если не случалось ничего необычного, а пробка на дороге не относилась к этой категории. Шофер слышал вздох на заднем сиденье, потом звук, похожий на покашливания, — именно по нему потом определили время смерти. Приехав в Сити, на Ломбард-стрит, шофер обошел вокруг машины, открыл дверцу и увидел, что Дуглас сидит, запрокинув голову, и как будто спит. Дотронувшись до Дугласа, он почувствовал, что кожа на лице неестественно холодная.

Дугласу было пятьдесят три, и значит, он перешагнул тот рубеж, когда могла проявиться дурная наследственность. Его смерть не имела никакого отношения к генетическому заболеванию — быстрая и милосердная, не похожая на долгую, изматывающую пытку, которая ждала мою мать. Закупорка сосудов остановила его сердце. Врач сказал Козетте, что все произошло мгновенно и Дуглас не успел ничего понять.

Они стояли под дождем — Козетта и ее братья с женами, вереница скорбящих под черными зонтиками. Естественно, братьев и сестер у Дугласа не было, и мы пожали руки шуринам и свояченицам, поцеловали Козетту в щеку. Я видела, как ведут себя остальные, и последовала их примеру. Здесь, в крематории Голдерс-Грин, я была с отцом, потому что к тому времени мать перестала ходить на похороны — а если точнее, вообще куда-либо ходить. Мне показали огромное количество родственников Козетты, но из родных Дугласа, кроме меня, присутствовала только наша кузина Лили, незамужняя государственная служащая, которая в пятидесятилетнем возрасте была так счастлива, что проклятье семьи ее, похоже, не коснулось, и даже в такой обстановке едва сдерживала бьющую через край радость. Она подошла к моему отцу и сжала его локоть:

— Скажи, как там бедняжка Розмари?

Еще никто не спрашивал у отца о здоровье его умирающей жены таким жизнерадостным тоном. Меня Лили рассматривала с нескрываемым любопытством, поскольку прекрасно знала, что при здоровых родителях заболеть невозможно, и если тот из родителей, кто является носителем дефектного гена, доживает до пятидесяти, значит, ребенок тоже будет здоров.

Перпетуа, которая пришла вместе с взрослым сыном, рассказала мне — когда я приходила навестить Козетту, — что, узнав о смерти Дугласа, Козетта закричала и заплакала, принялась истерично всхлипывать и угрожала убить себя. Когда я увидела ее, она плакала. Мне уже исполнилось двадцать, и я больше не жила в Гарт-Мэнор, потому что поступила в колледж. Если вы учитесь в университете в Риджентс-Парк, то вряд ли будете жить в Голдерс-Грин без крайней необходимости. Узнав о смерти Дугласа, я поспешила к Козетте, хотя, приехав к ней, не знала, как успокоить эту женщину, которая ничего не говорила, а все время плакала. Я выросла в семье, где умение скрывать свои чувства превратилось почти в фетиш, и поэтому не умела их выразить, даже когда очень хотела. Подруга, которой я завидовала — та самая, что так удачно восхитилась драгоценностями Козетты, девушка по имени Эльза, хотя все мы называли ее Львицей, — рассказывала мне, что в детстве все время наблюдала, как родители ссорились и кричали друг на друга, забыв обо всем и отбросив условности. По крайней мере, они не скрывали своих чувств, и Эльза

считала, что именно поэтому она научилась проявлять свои.

Я растерянно смотрела на слезы, которые текли по щекам Козетты, и не знала, что сказать. Неделю спустя ее лицо по-прежнему было красным, глаза опухшими. Козетта стояла под зонтиком, который держал ее старший брат, рядом с венками и крестами из мокрых цветов; она все время плакала, пока не вошла в часовню крематория, и внезапно умолкла лишь в тот момент, когда гроб с телом Дугласа исчез, проглоченный пламенем. Она была во всем черном. Костюм на ней был не из той серии вечных, сшитых на заказ, а остался от послевоенной эпохи «нового облика», когда родилась я, и состоял из длинной, расширенной книзу юбки, которую, как я подозревала, Козетта могла натянуть на себя только с расстегнутой молнией, и жакета с баской. Думаю, она купила этот костюм на похороны матери, которая умерла примерно в то же время. Я чувствовала запах нафталиновых шариков. Козетте — богатой женщине, унаследовавшей от Дугласа около миллиона, что в 1967 году было огромной суммой, — и в голову не пришло купить новый костюм на похороны собственного мужа. Она не любила черный цвет, как потом объяснила мне Перпетуа, и отказалась тратить деньги на то, что больше никогда не наденет.

Впервые Козетта меня удивила. Но это был лишь предвестник многочисленных сюрпризов.

Все гадали, что она теперь будет делать. С тех пор я не раз убеждалась, что родственники и соседи всегда готовы помочь советом женщине, оказавшейся в таком положении, но сами никогда не станут делать того, что предлагают другим. Все их предложения, похоже, сводились к тому, чтобы оградить вдову от неприятностей.

Невозможно представить себе человека, менее склонного попадать в неприятности, чем Козетта. Ей было сорок девять, но выглядела она старше: серо-стального цвета волосы, исхудавшее и осунувшееся лицо и довольно пухлое тело, потому что она принадлежала к тому типу женщин, которые получают удовольствие от еды. Была Пасха, и я решила переночевать у нее. Приехав в Гарт-Мэнор, я приготовилась к роли внимательного слушателя, такого же внимательного, как сама Козетта. Пусть рассказывает о Дугласе и о своей жизни с ним — интуиция нашептывала мне, что Козетта захочет выговориться, и это станет для нее своего рода катарсисом. Интуиция меня подвела — задумчивая и рассеянная, отламывая кусочки шоколада и автоматически отправляя их в рот, Козетта слабым голосом спросила, как мои дела и какие у меня планы.

— Этот вопрос я собиралась задать тебе, — сказала я.

Козетта ответила загадочной улыбкой и слегка покачала головой. Словно хотела сказать: какие у меня могут быть дела? В ее взгляде и мягкой настойчивости — Козетта хотела слушать меня, а не наоборот — я уловила отрицание будущего, такое же явное, как и в ее фразе, что жизнь закончилась и осталось лишь медленное сползание в старость, а затем смерть. Похоже, это настроение поддерживалось визитерами, которые шли непрерывным потоком, — родственниками и друзьями, главными советчиками вдов с их легкомысленными рекомендациями переехать «в тихое местечко у моря», в деревенский домик или «уютную квартирку» в пригороде.

— Не слишком большую, — говорила Дон Касл. — Что-нибудь компактное для тебя одной. Чтобы уборка не слишком утомляла.

Как раз в это время Перпетуа пылесосила коридор, и я подумала, что либо Дон глуха, либо относится к той категории людей (что вероятнее), которые не думают, когда говорят. Брат Козетты Леонард предложил переехать поближе к ним с женой. Он жил в Севенуоксе. Маленький домик или бунгало в окрестностях Севенуокса, лучше бунгало, сказала его жена, потому что с возрастом Козетте не захочется подниматься по лестнице. Или просто не сможет, мрачно намекала эта женщина, наблюдая, как Козетта берет очередной бисквит. Второй брат жил в одном из громадных, похожих на барак многоквартирных домов в Сент-Джон-Вуд, в просторной квартире с четырьмя спальнями, которую он всегда называл апартаментами.

— Только что на рынке появилось предложение квартиры в Родерик-Кортс, маленькой и компактной, с одной спальней, — сообщил он и с нажимом прибавил: — Квартира на первом этаже, так что тебе не придется пользоваться лифтом. — Словно Козетта скоро станет совсем немощной и не сможет сделать один шаг по коридору, чтобы нажать кнопку.

Выслушав брата, Козетта сказала, что подумает. Я ни разу не слышала, чтобы она протестовала, когда с ней обращались так, словно старческое слабоумие уже не за горами. Конечно, в те времена — даже двадцать лет назад — женщины выглядели старше, чем теперь. Средний возраст начинался с сорока, тогда как в наши дни граница сдвинулась к пятидесяти. Вероятно, на эти перемены как-то повлияло женское движение, преуменьшив роль физической красоты. В наши дни красота уже не ассоциируется исключительно с расцветом юности, не считается главным элементом привлекательности, а сама привлекательность не определяет смысл существования женщины. Козетте никогда не приходилось зарабатывать себе на пропитание, она даже не занималась домашним

хозяйством, и ее жизнь была похожа на жизнь наложницы — двадцать восемь лет она утешала и поддерживала Дугласа, который был волен любить ее или бросить, ждала возвращения мужа домой, выслушивала его. Они были бы шокированы, эти визитеры с их советами, осмелся кто-либо высказать эту мысль вслух, но втайне все прекрасно понимали. Со смертью Дугласа Козетта становилась ненужной — точно так же, как становится ненужной наложница в гареме после смерти хозяина.

Козетта ничего не обещала, не отвергала ничьих предложений, но в ней жило какое-то особое упрямство. Она отказывалась изучать разрешения на осмотр жилья, звонить агентам, смотреть дома, причем решительный отказ зачастую выражался улыбкой и легким покачиванием головы. Я не припомню, когда она говорила меньше, а слушала больше, чем в те дни. Мне казалось, что она онемела от горя, но позже я поняла, что Козетта молчала от избытка мыслей и планов. Ей предстояло многое обдумать — и вовсе не годы, прожитые с Дугласом. Она размышляла, как осуществить то, чего так страстно желала.

Мужчины наносят визиты вдовам в надежде оказаться в их постели. Вдовы не против, вдовы благодарны. Мужчины, которые двадцать лет женаты на лучшей подруге вдовы и, по всей видимости, относятся к категории верных мужей, которые до сих пор даже не называли вдову по имени, вдруг начинают застенчиво улыбаться и приставать к ней на кухне, когда она кладет пакетики с чаем в заварочный чайник. По крайней мере, мне так говорили.

Если подобное и происходило с Козеттой, то не при мне. Возможно, мужчин отпугивало мое присутствие. В любом случае единственными претендентами могли быть Роджер, муж Дон Касл, и президент ассоциации жителей района Велгат. У меня есть фотография Козетты, сделанная тем летом и похожая на снимки в женских журналах, которые присылают читательницы, прося совета, как улучшить свою внешность. На противоположной странице помещается другой снимок — после депиляции, посещения парикмахера и визажиста, а возможно, и пластического хирурга. Такая фотография Козетты у меня тоже есть.

На первой она сидит под навесом из ткани в цветочек, откинувшись во вращающемся кресле, и выглядит какой-то неряшливой: лицо расплывшееся, волосы висят спутанными космами, губная помада, вероятно, наносилась в темной комнате без зеркала, а солнцезащитные очки висят на шее на какой-то резинке. Платье у нее похоже на хлопковую палатку. По крайней мере, Козетта отказалась от сшитых на заказ

костюмов, возможно, просто не могла в них влезть; это было единственное изменение в ее внешности и образе жизни. Она по-прежнему заседала в своем попечительском совете, посещала собрания ассоциации, приглашала соседей на ужин и сама ходила к ним в гости, хотя они вели себя так, словно своим приглашением делали ей огромное одолжение. Но никто, как она позже призналась мне, не осмелился предложить ей неженатого мужчину. Козетте было уже пятьдесят, исполнилось в августе, а мы тогда жили в эпоху культа юности.

Мысль о том, что у Козетты есть друг или любовник, выглядела абсурдной. Для этого нужно быть молодым. Красота не обязательна, но требовалась хотя бы некоторая привлекательность, очарование, молодость и стройность. Мне и в голову не приходило, что подобными мыслями я оскорбляю Козетту; на самом деле они у меня бы и не появились, и я бы продолжала считать, что соблазнение мужчины так же далеко от ее желаний, как усыновление ребенка или выход на работу, если бы Дон Касл не сказала мне: «Единственный выход для бедной Козетты — снова выйти замуж».

Я была шокирована, словно викторианская барышня:

— Но Дуглас умер всего полгода назад.

— О, моя дорогая, всем известно, что, если люди желают вступить в брак, они делают это в течение двух лет.

— Козетта не захочет еще раз выходить замуж.

— Тебе так кажется, но ты еще молода. Прожив в браке столько лет, она, конечно, хочет снова стать замужней женщиной.

Этот разговор я вспомнила через год или чуть меньше, когда Козетта вдруг разоткровенничалась со мной:

— Все говорят, что мужчины распутники. А я бы хотела стать распутницей. Знаешь, чего мне хочется, Элизабет? Чтобы мне снова стало тридцать, и я бы уводила чужих мужей. — Она рассмеялась тихим, безнадежным и горьким смехом.

Однако в ее пятидесятый день рождения — тихо отпразднованный в ресторане, куда она пригласила моего отца, меня и своего брата Оливера с женой Аделью, — на это не было и намека. Брат из Севенуокса уехал в отпуск. В такси, на котором мы вдвоем возвращались в Норт-Энд, она плакала, вспоминая о Дугласе, и я обняла ее, думая о словах Дон, о нелепости ее предположения.

В моем доме в Хаммерсмите, на Макдуф-стрит, есть вещи, подаренные Козеттой. Вероятно, ее подарков у меня больше, чем вещей, полученных из

какого-то одного источника, и явно больше, чем подарков любого другого человека. Долгое время они напоминали мне о ней, вызывая такую острую боль, что я убрала их, как мне казалось, навсегда. Однако — по выражению той же Козетты — все меняется, и я вновь достала их и расставила по всему дому, в гостиной, в спальне и в кабинете. У меня маленький домик среднего викторианского периода, расположенный на террасе. Рядом сад, и я рада, что он очень мал, просто огороженный стенами квадрат, как и у всех домов на моей улице, и на соседней тоже — если смотреть на них из кабины вертолета, то они будут выглядеть как коробка из-под консервов, из которой бакалейщик вынул все банки. Из-за стен приходят два кота и там же, за стенами, исчезают, никогда не выходя на улицу, где им угрожает Большая западная железная дорога. Они даже не знают о ее существовании и не представляют, что кошки могут там гулять.

Три подаренных Козеттой каменных шарика, из хризолита, агата и аметиста, лежат рядышком в круглой стеклянной вазе на подоконнике в гостиной. Однажды я решила собирать каменные шарики, но моя коллекция ограничилась этими тремя. На книжной полке стоит фарфоровая андерсоновская Русалочка производства Копенгагенской королевской фарфоровой мануфактуры, копия той, что установлена в Копенгагене, — это подарок Козетты к моему двадцатипятилетию. Статуэтка относится к категории разочарований, то есть чего-то гораздо более скромного и невзрачного, чем мы ожидаем.

— Как Мона Лиза, — сказал Мервин, а Гэри прибавил: — Или Палата общин, такая маленькая зеленая комната.

— Ниагарский водопад, — предложила я. — Особенно теперь, когда его могут перекрыть.

— Центральный уголовный суд, — сказал Маркус.

Мы все посмотрели на него.

— Олд-Бейли, как вы его называете, — пояснил он. — Внутри. Маленький и совсем не впечатляет. Ожидаешь чего-то более величественного.

Разве не странно, что мы обменивались этими легкомысленными, довольно остроумными замечаниями, не подозревая, что они могут оказаться пророческими, не зная, какую длинную тень они способны отбрасывать?

— Когда это ты был в Олд-Бейли, Марк? — спросила Козетта; вид у нее был такой озабоченный, что все рассмеялись. За исключением Белл. Думаю, к тому времени Белл уже перестала смеяться. Марк сказал, что его приводил туда приятель, криминальный репортер. Слушалось дело об

убийстве — мужчина убил свою подругу.

— Я полагал, что суд повергнет меня в благоговейный трепет, — продолжал Марк. — И, в общем-то, не был разочарован. Все время думал о людях, которых там судили, и о том, что такая обстановка скорее успокаивала их, чем пугала.

— И это хорошо?

Белл пристально смотрела на него.

— Конечно, хорошо, — ответил он. — Вне всякого сомнения.

В моем кабинете стоит агатовый стакан для ручек и карандашей, выдолбленный кусок красновато-фиолетового камня с коричневыми и зелеными прожилками, который Козетта привезла из поездки в Шотландию, а в нем среди множества ручек торчит необычный нож для бумаги; полоски на его рукоятке того же цвета, но по-другому расположены — Козетта клялась, что он вырезан из корня вереска. А может, из пучка спрессованных веток или окаменевшего корня вереска — что-то вроде этого. В той же комнате лежит зажигалка с сине-белой подставкой из веджвудского фарфора, которую мне отдала Козетта, потому что я увидела зажигалку и имела неосторожность похвалить ее. Старинный, благородный ответ: «Она твоя», — щедрое гостеприимство главы клана или восточного эмира. В углу стола расположилась старая механическая пишущая машинка, на которой я печатала свою первую книгу, еще на Аркэнджел-плейс. Эта машинка, «Ремингтон», принадлежала Дугласу. Когда я заявила, что хочу написать книгу, Козетта освободила для меня комнату. Ничего мне заранее не говоря, вместе с Перпетуа приготовила комнату и просто привела меня туда, гордо продемонстрировав письменный стол, который она купила на Портобелло-роуд,^[10] вращающийся стул, диван, «чтобы отдыхать между главами», а на столе стопку бумаги, агатовый стакан с отточенными карандашами, шариковыми ручками и ножом для бумаги из верескового корня, а также пишущую машинку Дугласа.

Я ей больше не пользуюсь. Теперь у меня электрическая, которую я еще не успела сменить на компьютер. Машинка Дугласа ждет своего часа, когда у меня закончатся кассеты для электрической, когда она сломается или когда отключат свет, что случается довольно редко — в отличие от тех времен, когда я жила на Аркэнджел-плейс. На книжных полках этого дома хранится много книг, которые дала мне Козетта. Весь цикл «В поисках утраченного времени»,^[11] двенадцать томов «Танца под музыку времени»,^[12] полное собрание романов Ивлина Во. Собрание сочинений Генри Джеймса с романом «Крылья голубки» выглядело абсолютно новым, без

каких-либо пометок, оставленных временем, pressure или болью. Да и откуда им взяться? Ведь совсем не эти томики в синем кожаном переплете с золотыми буквами брала в руки Белл, разглядывала, лениво перелистывала страницы и спрашивала, о чем они, — Белл, которая никогда не читала ничего сложнее «Ивнинг ньюс»^[13] или гороскопа от гадалки.

А вот полное собрание сочинений Киплинга, издательство «Макмиллан», красный кожаный переплет с золотым тиснением. Козетта была равнодушна к сериям и циклам! Они давали ей возможность тратить больше денег, больше отдавать, засыпать подарками. Словарь цитат, словарь по психологии, словарь новогреческого языка, который Козетта подарила мне к Рождеству, не найдя словаря древнегреческого. Я помню, что рассердилась — вместо благодарности или хотя бы смирения.

— Но я же тебя предупреждала. Повторяла несколько раз. Говорила не покупать новогреческий. Что я буду делать со словарем современного греческого языка?

И бедная Козетта смущенно ответила:

— Я достану то, что ты хочешь, уже заказала. Мне обещали привезти на следующей неделе. Тогда у тебя будет два словаря. Разве плохо иметь целых два греческих словаря?

Я стою в своей комнате, смотрю на словари, собрания сочинений и циклы романов. Смотрю на свои картины, акварели из старого дома, которые отдал мне отец, когда переехал, на плакат Фульвио Ройтера^[14] «Венецианский карнавал», репродукцию Мондриана и репродукцию Клее — и на то место, куда я пыталась повесить Бронзино,^[15] но не смогла. Не смогла выдержать его вида. Пишущая машинка Дугласа запыхалась, и ее надо бы накрыть, но у нее нет чехла, который пропал много лет назад, вероятно, еще в то время, когда Козетта жила в Гарт-Мэнор — какое претенциозное, глупое название; если что и относится к категории разочарований вещей, так это он! — или потерялся при переезде. На письменном столе — не том, который Козетта купила на Портобелло-роуд, а другом — лежит лондонский телефонный справочник и список иногородних номеров, которые я выписала сегодня утром из других справочников, когда ходила в публичную библиотеку. Лондонский справочник старый, но Козетты Кингсли в нем нет. Не знаю, зачем я ищу ее имя — наверное, в надежде на невероятное, — но ищу.

Телефон семьи Касл я нашла — по старому адресу на Белград-авеню. Наверное, звонить им все равно бесполезно — они не *знают*. Но я могу спросить у них номер Дианы, узнать, где она теперь, не вышла ли замуж.

Если честно, то мне не хочется разговаривать с ними, не хочется отбиваться от их невинных вопросов. Номер Фей записан на листе бумаги, и номер Айвора Ситуэлла тоже. Фей живет в Честере, Айвор — в Фроуме, насколько я поняла, в какой-то сельскохозяйственной коммуне, где они выращивают экологически чистые овощи. Номер танцоров мне найти не удалось, как и номера Льяноса или Рида. В телефонном справочнике был всего лишь один Адмет, с инициалами М.У., но это, наверное, Уолтер, и он, наверное, переехал из Фулема в Чолмли-Крисцент в Хайгейте. Но почему кто-то из них должен знать, где Белл, до которой никому из них нет дела и которую они могут ненавидеть?

На листе бумаги также присутствует телефонный номер Эльзы, Львицы — не потому, что она живет не в Лондоне, а потому, что ее нет в справочнике, и у меня в записной книжке много лет хранятся ее тайные, тщательно охраняемые номера. Последний выписан на лист, поскольку мне показалось удобнее собрать все номера вместе. Я не видела ее и не разговаривала с ней довольно давно, месяц или два, но это не первый случай, когда мы месяцами не видимся и не звоним друг другу, и поэтому я знаю, что, если позвоню, все будет в порядке и мне не придется выслушивать упрёки и обвинения. Львица вышла замуж, развелась, потом снова вышла замуж и теперь живет в собственной квартире на Мейда-Вейл. [16] Я набрала ее номер, но никто не ответил.

Ее кузены, Эсмонд и Фелисити, с которыми мы обе общались, живут в районе, не охваченном телефонным справочником Лондона. Вернее, жили — и, вероятно, до сих пор живут. Мне трудно представить, что кто-то способен добровольно уехать из того дома. Разумеется, люди переезжают и не по своей воле, например, по необходимости, как Уолтер Адмет, потому что не могут себе позволить такое жилье, или по причинам, связанным со здоровьем, когда становится тяжело преодолевать лестницы между этажами, ступеньки на крыльце, длинные коридоры и тяжелые двери. Я бы знала об этом. Обязательно. Потом я вспомнила, что в Лондоне у кузенов имелось временное пристанище — студия в Челси, которой они почти не пользовались и адреса которой я не знаю и никогда не знала, но в данном случае это не имеет значения, поскольку у них такая необычная фамилия, такая редкая, что в телефонной книге любого уголка мира абонент по фамилии Тиннесе будет либо одним из них, либо родственником. Ее так трудно правильно произнести, подчеркивая двойное «н» в середине слова, как это делали Эсмонд и Фелисити. Как правило, все называли их «Тинес».

Я нашла в телефонном справочнике номер квартиры в Челси, позвонила, и — о, чудо из чудес! — на том конце сняли трубку. Нет,

никакое это не чудо, потому что другого я и не ждала. Их детям, должно быть, уже исполнилось двадцать, и они вступили в тот возраст, когда молодые люди очень хотят жить в Лондоне отдельно от родителей — в хостелах или крошечных меблированных комнатах. Возможно, я не испытываю особой радости при мысли, что дети, которым было три и шесть, когда я приехала в Торнхем-Холл вместе с Эльзой, теперь выросли, так что продавцы и официанты будут принимать их за моих детей, как когда-то меня принимали за дочь Козетты.

На мой звонок ответила девушка — Миранда. Интересно, читает ли она своим детям Беатрис Поттер,^[17] как я читала ей эти сказки, когда ей самой было шесть. Разумеется, мы не упоминаем о чтении Беатрис Поттер в спальне, окна которой смотрели на сад коттеджа, где жила Белл. Миранда их забыла, и я тоже, за исключением того, что я читала сказки, и однажды во время чтения «Усамого дядюшки Самюэля» увидела, как Белл выходит в сад и развешивает на веревке истрепанное, серое белье.

Она — девушка по имени Миранда Тиннессе — говорит мне, что ее родители по-прежнему живут в Торнхем-Холле, и сообщает их номер телефона, который я не нашла бы в справочнике для восточных пригородов Лондона и западного Эссекса (или как там он называется), поскольку его недавно сменили из-за какого-то хулигана, который звонил и говорил Фелисити гадости. Откуда ей знать — поскольку она сомневается, что когда-либо слышала имя Элизабет Ветч, — может, я и есть тот самый телефонный хулиган.

Я не могу заставить себя произнести имя Белл. Пока девушка рассказывает о родителях и о брате, который только что сдал экзамены на степень бакалавра в Кембридже, я убеждаю себя, что она сама никогда не слышала, а ее родители давно забыли о Белл. Потом Миранда спрашивает, что мне нужно от родителей? Просто поболтать? Или это имеет отношение к той женщине, которая кого-то убила, — как там ее звали? Кажется, Кристина?

— Кристабель Сэнджер, — говорю я, и мой голос звучит обычно, вполне нормально, словно я произношу другое имя или это вообще не имя. Потом повторяю, отчетливо слыша свои слова: — Кристабель Сэнджер, — и прибавляю: — Но мы называли ее Белл, все называли ее Белл.

— Вы хотите поговорить с моей мамой о ней?

Мой голос звучит спокойно и почти безразлично, по крайней мере, мне так кажется.

— Я хочу спросить вашу мать, не знает ли она адреса Белл.

— Ну, я могу только сказать, что она звонила матери. Белл недавно

вышла из тюрьмы — думаю, из открытой тюрьмы — и позвонила нам домой. Не знаю зачем. Это было несколько недель назад. Мама расскажет вам больше, позвоните ей — вы же теперь знаете номер.

Я говорю, что непременно позвоню, благодарю и прощаюсь. Подтверждение, что Белл снова среди нас, что я видела именно ее, действует на меня как-то странно. Меня немного подташнивает, и я уже не могу думать о еде, хотя собиралась на ужин. Несколько недель назад Белл звонила Фелисити Тиннессе и «многим другим», но не позвонила мне. От меня она бежала по улицам Ноттинг-Хилла, пряталась, чтобы случайно не встретиться, и смотрела без улыбки, якобы не узнавая. Или не видела, просто не видела, а не избегала, просто зашла в магазин рядом со станцией метро Квинсвей, чтобы купить газету, пачку сигарет или цветы. Возможно, она пыталась позвонить мне, много раз набирала номер в мое отсутствие. Потому что я действительно отсутствовала: сначала была в Италии, а потом неделю провела с отцом, который теперь живет в Уэртинге, в бунгало — в таком, которое предлагали купить Козетте, когда она первый раз овдовела.

Я пошла наверх в спальню, чтобы переодеться, по дороге убеждая себя, что у меня теперь нет времени разговаривать с Фелисити, и что когда я позвоню ей, она захочет узнать многое такое, о чем у меня нет желания рассказывать. Например, может спросить о Маркусе и даже о том, что происходило в доме на Аркэнджел-плейс перед тем, как Белл сделала то, что сделала. Фелисити может пригласить меня в Торнхем-Холл, а я не уверена, хочу ли принять это предложение. Пожалуй, нет. Или предложит встретиться, когда они с Эсмондом в следующий раз приедут в Лондон. Я мечусь по спальне, открываю дверцы шкафа, выдвигаю ящики комода, смотрю на список телефонов и решаю отложить этот звонок до завтрашнего утра. Теперь у меня в руке подушечка для булавок, подаренная Козеттой. Она имеет форму клубники и сделана из алого шелка, а зернышки на гладкой поверхности ягоды вышиты светло-желтой ниткой. Туго набитая подушечка, по форме напоминающая сердечко, никогда не использовалась по назначению, потому что я боялась испортить шелк.

Брошка с камеей в шкатулке для драгоценностей — подарок от Козетты на день рождения. Вырезанный из сливочно-розового, сливочно-клубничного коралла профиль похож на профиль Белл — классический, с высоким лбом, прямым носом, короткой верхней губой, идеальным подбородком и волосами, колечки и пряди которых образуют легкомысленную прическу периода Регентства,^[18] беспорядочную и слегка растрепанную, в завитках и локонах, совсем как у Белл. Я сама выбирала эту камеею по просьбе Козетты и выбрала брошь именно из-за

поразительного сходства с Белл. Я думала, что все это увидят и будут говорить: «Девушка на твоей брошке очень похожа на Белл», — но заметила и сказала только Козетта.

Я надена камею сегодня вечером, на свидание с мужчиной, с которым знакома не очень давно, но который мне очень нравится. Он ведет меня в «Лейтс» — я со страхом думаю об этом уже несколько дней. Ведь мне придется ехать в Ноттинг-Хилл, и такси, наверное, будет пересекать Аркэнджел-плейс. Смогу ли я — не одна, а с кем-то — снова посетить эти улицы, бывшие когда-то моим миром, где, как мне казалось, произошло все самое главное в моей жизни? Все изменилось, и теперь я так не думаю. Преследуя Белл, я уже побывала там, возвращалась туда. Я даже немного взволнована. И точно знаю, что волнение вызвано не перспективой поездки в такси рядом с Тимоти или ужина с ним, а тем, что там, на пересечении Кенсингтон-парк-роуд и Кенсингтон-парк-гарденз или Лэдброк-сквер я могу снова увидеть Белл.

Возможно, сегодня я ее найду.

После смерти матери я вернулась домой, к отцу. Мне это очень не нравилось, и ему тоже, но, полагаю, мы оба считали, что обязаны держаться вместе, — я должна была приехать, а он меня принять. Дома я пробыла с конца июня по конец сентября, все летние каникулы. Отец вышел на работу задолго до сентября, еще в июле, и я коротала дни с Эльзой и в Гарт-Мэнор с Козеттой. Ближе к концу каникул отец предложил мне отдохнуть за границей, наверное, не подумав, что за такой короткий срок я не найду подходящего места, поездку в которое он в состоянии оплатить. Большинство моих знакомых уже забронировали места в минивэны и автобусы «Бедфорд», направляющиеся в Турцию и Индию. Немыслимое предложение, чтобы мы с ним провели неделю в Колвин-Бей, [19] отец произнес дрогнувшим голосом. Я согласилась на компромисс и вместе с Эльзой провела неделю у ее родственников в Эссексе.

Она часто рассказывала мне о них: тете, двоюродном брате, его жене и двух детях, и у меня почему-то сложилось впечатление, что они живут на севере Эссекса, в долине реки Стаур, любимой местности Констебла, [20] или на болотах, где обитали герои «Больших надежд». [21] По крайней мере, я так думала и, как выяснилось, была недалеко от истины. Эссекс — большое графство. Когда мы направились к Центральной линии метро, я подумала, что это лишь первый этап нашего путешествия, и потом придется пересаживаться на другую ветку, но Эльза купила себе и мне билеты до Дебдена, конечной станции. Сразу за выходом из метро начинался микрорайон, застроенный муниципальными домами, и я испытала горькое разочарование.

— Погоди немного, сказал терновник, — со смехом ответила Эльза. Она часто употребляла это не совсем понятное выражение, имевшее какое-то отношение к Африке и образу львицы, который она в то время культивировала.

Эсмонд Тиннесе приехал нас встречать на автомобиле «Моррис Майнор». Он оказался старше, чем я ожидала. Светловолосый, в очках и — с таким-то именем — очень худой. Фелисити тоже оказалась худой, как и мать Эсмонда, или тетя Лоис, как называла ее Эльза, и я стала сомневаться, жил ли когда-нибудь на свете хоть один толстый Тиннесе, а если жил, то он, несомненно, был унижен и несчастен. Или семейство Тиннесе поддерживает худобу с помощью строгой диеты, физических упражнений и

умерщвления плоти? Пока мы с Эльзой у них гостили, никаких признаков этого не обнаружилось — в долгих роскошных трапезах с удовольствием принимали участие все без исключения. И никого не заставляли выходить на полезные для здоровья прогулки по сельской местности.

Местность была самой глухой, какую только можно найти за Челмсфордом. «Моррис Майнор» отъехал две мили от района Дебден, и террасы с маленькими домиками из красного кирпича исчезли, шоссе с двусторонним движением закончилось, сверкающая светло-зеленая крыша фабрики, где печатают банкноты банка Англии, скрылась за деревьями, улицы стали узкими и извилистыми, живые изгороди высокими, и показалась река Родинг, петлявшая между ивами и ольхой. Торнхем-Холл ни в коем случае не относился к категории разочарований. Это было настоящее поместье с пятнадцатью спальнями, библиотекой и маленькой столовой при кухне. Я иногда представляла себе такие дома, в которые помещает своих героев Джейн Остин и описывает как «недавно построенные, современные». Именно таким был Торнхем, которому исполнилось 170 лет, когда я впервые туда попала — строгий, элегантный, квадратный, с балюстрадой вокруг плоской крыши, широкими нишами по обе стороны плоской, лишенной крыльца парадной двери, он стоит на пригорке, с которого открывается великолепный вид на извилистый Родинг, на город Эппинг и окрестные деревни; кто-то, обладавший удивительным даром предвидения, посадил лесополосу из шести рядов сосен и гигантских секвой, скрывавшую дома разросшегося лондонского Ист-Энда, строительство которых человек с менее богатым воображением не мог бы даже представить. Думаю, теперь из Торнхема видна автострада М25, белая лента которой разрезает луга.

Дом окружало само поместье, сохранившее отпечаток феодализма: конюшни, один или два коттеджа, ферма с амбарами у подножия холма. Тут росли громадные деревья, каштаны и липы, а также вязы с кроной в форме веера, которых теперь, наверное, уже нет — они стали жертвой болезни, изменившей облик сельской местности. Ни до, ни после этой поездки я не жила в таком большом и роскошном доме. В подобные дома обычно водят организованные экскурсии. Отец Эсмонда, владелец коммерческого банка, купил его перед Второй мировой войной, так что дом никак нельзя было назвать семейным гнездом, и в нем жило лишь первое поколение семьи Тиннесе.

Наверно, сегодня в сходных обстоятельствах мы, девочки, называли бы мать Эсмонда по имени, но в те времена для Эльзы она была тетей Лоис, а для меня — леди Тиннесе. Ее мужа, сэра Эсмонда, за два года до смерти

удостоили рыцарского звания — за какие-то достижения в области банковского дела. Мне леди Тиннесе казалась очень старой, хотя ей, наверное, еще не исполнилось семидесяти. Довольно строгая, хотя и доброжелательная женщина, она жаловалась на происходившие вокруг изменения и особенно на строительство района Дебден. Эти стенания были главной темой в ее разговорах и, как правило, сопровождались сожалениями, что сэра Эсмонд после их свадьбы не купил дом еще дальше от города. Она спрашивала меня или любого другого, кто оказывался поблизости, почему ее муж не смог предвидеть, что Совет Лондонского графства, как его тогда называли, отдаст самые красивые луга «ближних графств» под так называемую «расчистку трущоб»? Я не привыкла к таким реакционным речам, а заявления старой дамы меня просто шокировали. Создавалось впечатление, что брак леди Эсмонд, по крайней мере, с 50-х годов постоянно отравлялся разочарованием от отсутствия у сэра Эсмонда дара предвидения.

В доме жила также подруга леди Тиннесе, пожилая женщина по имени миссис Данн, которая приехала из другой, более обустроенной части Эссекса и переживала из-за предложения расширить аэропорт Станстед. Леди Тиннесе проявляла консерватизм только в тех вопросах, которые затрагивали лично ее, и со скучающим равнодушием относилась к тревогам бедной миссис Данн, заканчивая любой разговор о Станстеде советом подруге сменить место жительства.

— У тебя же нет такого большого дома, Джулия. Ты не заперта в нем, как я.

Фелисити Тиннесе, которая была язвительной особой и любила в компании повторять глупости и нелепости, произнесенные свекровью и ее гостями, получала удовольствие от того, что она называла «вздернуть старуху» в нашем присутствии. Мне кажется, миссис Данн это нравилось; она воспринимала слова Фелисити всерьез и даже была благодарна вниманию «молодого поколения». Джулия Данн когда-то была «хозяйном гончих»,^[22] а ее жизнь и круг общения не давали оснований даже подозревать о существовании людей — по крайней мере англичан, принадлежащих к среднему классу, — которые считали охоту жестоким или неприличным занятием. В то же время она любила животных. Насколько я могу судить, некоторые лошади играли в ее жизни более важную роль, чем муж. Однажды у нее в доме жила ручная лиса, которую она вырастила, когда мать лисенка растерзали собаки.

— Вам не кажется, что это немного странно? — невинно спросила Фелисити, изображая заинтересованность. — Я имею в виду, охотиться на

лис и одновременно держать лису в качестве домашнего любимца.

— О, нет, милая. Я всегда тщательно за этим следила. Запирала ее в конюшне, когда к нам приближалась охота, — ответила миссис Данн.

Фелисити с серьезным выражением лица сказала, что не может понять возмущения по поводу содержания кур в инкубаторах, когда совершенно очевидно, что птицы там в полной безопасности и лисам до них никак не добраться. Джулия Данн была восхищена подобной защитой птицефабрик. И явно старалась запомнить этот аргумент, чтобы использовать его в дальнейшем. Впоследствии Фелисити рассказывала мне, что, вернувшись домой, на север Эссекса, миссис Данн часто пряталась за живой изгородью с увесистой палкой в руке, готовая дать отпор каждому кролику, который покусится на цветы на ее клумбах.

Присутствие свекрови в качестве постоянного обитателя дома и подруг свекрови в качестве гостей Фелисити воспринимала как выпавший на ее долю крест. Жизнь для нее была поводом для смеха, иногда для мрачной шутки, и она требовала развлечений и веселья, которые стали для нее такой же насущной потребностью, как еда. Ее муж был тихим, вялым, довольно умным человеком, к тому же глубоко религиозным, что довольно часто встречается среди прихожан англиканской церкви. В доме постоянно жили гости не только леди Тиннесе, но и Фелисити, однако последняя предъявляла к гостям повышенные требования. Она ждала остроумия, занимательных рассказов и даже участия в забавах, которыми развлекались юные леди в Викторианскую эпоху, — гости должны были играть на музыкальных инструментах, петь или декламировать. Она хотела, чтобы по вечерам мы участвовали в викторинах и дебатах, которые могли затягиваться до глубокой ночи. Эльза рассказала мне, что в ее предыдущий визит, незадолго до того, как парламентский закон легализовал гомосексуальные отношения между взрослыми людьми, Фелисити организовала обсуждение по поводу того, что «парламент отменит возмутительный закон, который позволяет вмешиваться в частную сексуальную жизнь взрослых людей». У леди Тиннесе гостила какая-то старушка, которая тут же заявила, что подобные вещи «выше ее понимания», и удалилась в свою комнату. Вскоре ее примеру последовала леди Тиннесе. Споры продолжались до трех утра и прекратились лишь после того, как со второго этажа послышался плач кого-то из детей.

В тот раз, сказала Эльза, в гости пришли жильцы коттеджа и тоже приняли участие в дебатах. Это были друзья Фелисити. На самом деле Сайлас Сэнджер когда-то был ее возлюбленным; они расстались без взаимных претензий, а затем за Фелисити стал ухаживать Эсмонд

Тиннессе, и дело окончилось помолвкой и свадьбой, а Сайлас Сэнджер стал жить с Кристабель и впоследствии женился на ней (или не женился, как, похоже, думала леди Тиннессе). Он был художником, но не из тех, которые зарабатывают много денег — или вообще зарабатывают — своим ремеслом, и не из тех «художников», которых леди Тиннессе знала и к которым благоволила в молодости. Жить Сайласу было негде, он переживал творческий кризис, и Фелисити убедила Эсмонда позволить ему вместе с женой — или не женой — поселиться рядом с большим домом в одном из коттеджей, в том, который требовал меньшего ремонта.

Сайлас продолжал рисовать, иногда вдохновенно, иногда уныло и урывками, а временами бездельничал, весь день валяясь в кровати и переживая то, что Фелисити довольно туманно называла «темной ночью души». Он очень много пил, причем самые невероятные жидкости. Чем занималась Кристабель, никто не знал, по крайней мере не говорил, и для всех нас она оставалась загадкой. Эти люди были приглашены на ужин — еду готовила женщина, приезжавшая из Эбриджа на велосипеде, — и остались для участия в дискуссии на тему: «Парламент отменит существующий закон о разводах и сделает развод возможным по взаимному согласию после двух лет отдельного проживания». Такой закон собирались принять в 1973 году. Не могу представить, чтобы кто-то выступил против, разве что леди Тиннессе и Джулия Данн согласились бы принять участие в обсуждении, однако они с содроганием заявили, что об этом не может быть и речи, и я очень удивилась, когда Саймон в своей мягкой манере заметил, что, как прихожанин англиканской церкви, он не одобряет разводы ни при каких обстоятельствах. Вспоминала ли Фелисити это спокойное, но твердое заявление, когда сбежала к Козетте?

Жену художника я уже видела. Я читала Миранде, и мы обе устроились на сиденье у окна в ее спальне, откуда был виден сад вокруг дома: похожие на веера кроны вязов, в которых щебетали дрозды, маленький луг с двумя пасущимися лошадьми, большой луг, где уже собрали урожай ячменя, и гигантские хвойные деревья, заслонявшие город и в любое время дня казавшиеся черными силуэтами. Я могла видеть эту картину, не поднимая головы; пейзаж мог стать превосходной иллюстрацией к книге «Усатый дядюшка Самюэль», которую я читала Миранде, — та же сонная, неподвижная пастораль, те же птицы, устраивающиеся на ночь, то же высокое небо с многочисленными крохотными облачками. Справа, на склоне холма, стоял коттедж Сайласа Сэнджера, окруженный садом — участком нестриженной травы за забором, где не было ничего, кроме двух столбов, между которыми была натянута

провисшая серая веревка. Коттедж и сад производили впечатление запущенности. Если бы Беатрис Поттер нарисовала его, не приукрашивая, то могла бы использовать картинку как иллюстрацию дома какого-нибудь отрицательного персонажа из сочиненного ей мира животных, возможно, лисы или проказницы мышки. На окнах висели занавески, но рваные или обвисшие, а в окне первого этажа они, вероятно, не раздвигались, потому что с обеих сторон были подвязаны чем-то похожим — по крайней мере, с моего наблюдательного пункта — на шнурок.

Из этой лачуги на заросший травой двор, освещенный заходящим солнцем, лучи которого окрасили облака в розовый цвет, вышла высокая девушка, слишком худая и слишком эффектная для крестьянки Милле,^[23] скорее напоминавшая женщин с полотен Фрагонара.^[24] Сходство проявлялось в том, как она держала изящную головку с шапкой мягких, белокурых, небрежно заколотых волос, в изгибе длинной, тонкой шеи, в многослойности одежды — длинная и пышная нижняя юбка и верхняя юбка, стянутая на талии несколькими оборотами шарфа, блузка с глубоким вырезом и жакет из тонкой, льнущей к телу ткани — в закатанных рукавах, в одной или двух лентах, в самой разнообразии коричневых, розовых, серых и бежевых оттенков. Такому персонажу не место на страницах книг Беатрис Поттер. В руках у девушки был поднос, а не корзина, обычный чайный поднос с грудой мокрого белья, которое она развешивала на веревке.

Я прервала чтение и спросила у Миранды:

— Кто это?

Девочка вскарабкалась на меня, помогая себе руками и ногами:

— Белл.

— Она живет с художником? — Я почти бессознательно впитала точку зрения леди Тиннесе.

— Сайлас — мистер Сэнджер, а Белл — миссис Сэнджер. Ее белье выглядит так, будто его не стирали, правда?

Белье было одинакового серого цвета, а в какой-то вещи, напоминавшей наволочку, виднелись большие дыры. Я сказала, что оно выглядит не очень чистым, за что получила выговор от Миранды:

— Мне нельзя так говорить, а тебе тем более, потому что ты взрослая. Мама сказала, что неприлично называть чужое белье грязным. Читай дальше, пожалуйста.

Девушка в саду — девушка по имени Белл — развешивала белье с каким-то усталым безразличием. Было видно, что мысли ее далеко. Поза,

движения, то, как она держалась, — все говорило о чем-то большем, чем усталость, о подступающем отчаянии. У меня создалось впечатление, что эти мокрые вещи пролежали весь день, пока Белл в конце концов — в самое не подходящее для сушки белья время, на закате солнца — не заставила себя вынести грудку мокрых вещей на улицу и избавиться от них, бросив на милость ночных туманов. Когда поднос опустел, девушка замерла, выпрямившись во весь рост; взгляд ее был устремлен на долину, одна рука поднята к глазам, заслоняя их от красного заходящего солнца, точь-в-точь как на картине Фрагонара, словно девушка видела ее репродукцию в журнале и теперь копировала. Впрочем, как мне показалось, она не подозревала, что за ней наблюдают. Миранда снова напомнила о недочитанной книге, и я с неохотой оторвала взгляд от девушки.

Вечеринка с дискуссией должна была состояться через два дня после этого случая, однако никто из Сэнджеров не пришел. В их коттедже имелся телефон, но либо они сами его отключили, либо это сделала телефонная компания из-за неоплаченных счетов. После обеда в почтовый ящик дома опустили записку, явно уже после прибытия кухарки из Эбриджа. Фелисити прочла ее нам вслух, с нескрываемым раздражением. Нет, она не сердилась, просто была удивлена — разочарована, но в то же время удивлена тем, как Белл это сформулировала.

— «Прости, Фелисити, но мы не придем. Я не справлюсь. Твоя Белл». Она гордится тем, что всегда говорит то, что думает, и не прибегает ко лжи во спасение — вообще не лжет.

Фелисити улыбнулась нам и развернула руку — другую, без записки — ладонью вверх. Она действительно верила, что Белл никогда не лжет, что та всегда говорит правду из принципа, независимо от того, какую цену за это приходится платить и сколько для этого требуется морального мужества. Фелисити верила, и мы, слыша ее тон и видя ее лицо, верили тоже. Так распространяются ложные представления о силе характера и честности людей.

— Она скорее смертельно обидит человека, чем солжет ему, — говорила Фелисити. — Навлечет на себя кучу неприятностей. В каком-то смысле это достойно восхищения, и вы должны восхищаться.

Да, мы должны были восхищаться, и я восхищалась. Хотя не уверена, что леди Тиннесе и миссис Данн разделяли мои чувства. Они посмотрели на маленький, рваный и грязный клочок бумаги с карандашной надписью, переглянулись, и леди Тиннесе сказала:

— Что она имеет в виду, когда пишет, что не справится? Хочет сказать,

что не готова? Твои дискуссии, Фелисити, бывают довольно жаркими.

— Жизнь с Сайласом не сахар, — ответила Фелисити.

Я была разочарована. Мне очень хотелось встретиться с женщиной с картины Фрагонара, которая носила белье на подносе и развешивала его на закате солнца.

— Погоди немного, сказал терновник, — успокоила меня Эльза.

— Все это прекрасно, — возразила я, — но до отъезда у нас осталось всего два дня. А мы не можем зайти к ней в гости?

— Пожалуй, не стоит. Нет, не стоит. Он довольно странный, этот Сайлас Сэнджер. Понимаешь, грубый и очень часто пьяный. Даже не пригласит в дом, если он в дурном настроении, что бывает почти всегда. Я имею в виду, дурное настроение. Сайлас никого не любит, кроме Фелисити, — ее он буквально обожает.

— А разве он не любит свою Белл?

— Я видела их вместе всего один раз, — сказала Эльза, — и Сайлас не обращал на нее внимания — совсем. Не обмолвился с ней ни словом.

— Они женаты? — В 1968 году это было гораздо важнее, чем теперь.

— Честно говоря, я так не думаю.

Дискуссию отложили, и мы уехали домой, так и не увидевшись с Белл или Сайласом Сэнджером; Эльза пообещала пригласить меня к тетке еще раз, но я не восприняла ее слова всерьез, понимая, что рождественские праздники должна провести с отцом. Или каким-то образом уговорить его приехать на Рождество к Козетте. Дело в том, что Козетта по-прежнему жила в Гарт-Мэнор, одинокая, притихшая, по всей видимости, скорбящая, охваченная сомнениями по поводу переезда. Затем она объявила, что намерена поехать на Барбадос, куда они с Дугласом собирались вдвоем. Путешествие планировалось на Рождество и Новый год, и Козетта отменила заказ, твердо решив поехать. Это заявление, само по себе странное, оказалось прелюдией к другому, еще более важному, которое Козетта сделала вскоре после возвращения и которое повергло всех нас в шок. Тем временем я делилась своими мыслями с Эльзой и Дианой, дочерью Дон Касл, рассуждая, что не понимаю, зачем Козетта возвращается в отель на Барбадосе, где она дважды была с Дугласом и где ее непременно будут ждать воспоминания, способные разбередить душевную рану.

Я уже думала, что обречена провести Рождество с отцом, но потом он с напускным безразличием объявил, что приглашен к двоюродной сестре моей матери, той самой кузине Лили, которая была такой радостной на похоронах Дугласа. Отец хотел пойти, с нетерпением ждал праздников.

Меня не пригласили, однако он спросил, можно ли взять меня с собой. Это было произнесено таким мрачным тоном и с такой явной неохотой и неудовольствием, что я едва не рассмеялась. Пожалуйста, не надо, сказала я, не беспокойся; ты прекрасно проведешь время без меня, и я тебе там совсем не нужна. Отец покосился на меня и спросил, как я к этому отношусь. Потом я поняла: он думает, что совершает отважный поступок, который, наверное, станет источником слухов; отец принадлежал к тому поколению — по всей видимости, последнему, — которое убеждено, что есть нечто неприличное и даже скандальное в том, что он собирается ночевать — один — под одной крышей с представительницей противоположного пола. Времена изменились, ответила я, и всем все равно. Похоже, он был разочарован.

Таким образом, я оказалась свободной и могла поехать с Львицей в Торнхем-Холл.

То Рождество запомнилось двумя событиями. Первым стала устроенная Фелисити викторина.

Викторины Фелисити славилась не меньше, чем дискуссии. Она составляла их сама при помощи энциклопедии «Британника», толкового словаря «Бруэр», словаря британской истории Стейнберга и Оксфордского словаря цитат. Вопросы викторины Фелисити отпечатала собственноручно, сделав столько копий, сколько позволяла пишущая машинка — фотокопирование еще не получило такого распространения. Нас обязали принять участие в викторине через день после Рождества, 27 декабря.

Дом Тиннесе был полон гостей. Кроме миссис Данн, леди Тиннесе пригласила престарелого бригадира с женой. Это звание ему присвоили во время Первой, а не Второй мировой войны, что помогло мне понять, насколько он стар. Фелисити позвала сестру с мужем и детьми, очаровательными близнецами, а также подругу по имени Паула, с которой они учились в колледже и которая приехала с дочерью; пришли также знакомые из Чигвелла, Эрбриджа и Эппинга. В тот день в викторине участвовали человек пятнадцать, не считая детей. Имена Сэнджерсов, Сайласа и Белл, не упоминались, и я сделала вывод, что их не пригласили. Выводы мои этим не ограничивались — я решила, что отношения между семьями Тиннесе и Сэнджерс охладились, что подтвердил трехлетний Джереми Тиннесе:

— Мой папа хочет, чтобы мистер Сэнджерс уехал и жил в другом доме.

— Правда? — удивилась Львица. — Почему же?

— Мама говорит, — высокомерно заявила Миранда, — что неприлично выуживать информацию у детей, которые слишком малы и невинны, чтобы понимать, что к чему.

Непонятно, что она имела в виду: поведение Эльзы или Сайласа Сэнджера, — но ее слова возымели действие. Разговор прекратился, и вопросов мы больше не задавали. Я поймала себя на том, что часто смотрю в сторону коттеджа. Бельевая веревка исчезла, и дом с двумя столбами во дворе выглядел нежилым. Я не знала — и по сей день не знаю, — отмечали ли Сайлас и Белл Рождество; их жизнь внутри коттеджа была загадкой, занятия тайными и, вне всякого сомнения, в высшей степени необычными. Иногда из трубы коттеджа поднимался дым, нервировавший леди Тиннессе, которая, наверное, думала, что в доме пожар.

27 декабря после ленча мы собрались в зале, чтобы участвовать в викторине, которую подготовила Фелисити; двадцать вопросов были отпечатаны на двух больших листах бумаги. Эту комнату выбрали потому, что огромную гостиную трудно отапливать, а погода стояла очень холодная. Зала в Торнхеме тоже очень большая, с двумя лестничными маршами, образующими галерею в дальнем конце, но та часть комнаты отделялась двойными дверьми, и в результате получалось уютное помещение с камином. В камине развели жаркий огонь, а вокруг расставили стулья и два дивана.

В Торнхем-Холле не было ни крыльца, ни фойе или вестибюля, и поэтому сквозняки проникали в дом прямо через входную дверь. Широкие окна по обе стороны от двери дребезжали от ветра, но вокруг камина было достаточно тепло. Леди Тиннессе надела тонкое шелковое платье и, похоже, считала оскорбительным для своего дома, что миссис Данн накинула на плечи шаль, а одна из сестер Фелисити обулась в ботинки на меху. Я точно помню, какое место занимала в круге гостей: справа от камина, лицом к входной двери. По одну сторону от меня сидел зять Фелисити, а по другую университетская подруга. Всех рассадили так, чтобы пожилые люди оказались ближе к огню, и между университетской подругой и камином располагались престарелый бригадир, жена престарелого бригадира и миссис Данн, а леди Тиннессе и пожилые супруги из Эрбриджа сидели напротив них. Дети не спали — в другой половине залы, обогреваемой электрическим радиатором, они играли со своими рождественскими подарками.

Фелисити раздала листы, на которых сверху были надписаны наши имена. Кажется, именно в этот момент я начала задавать себе вопросы: что мы тут делаем, зачем подвергаем себя экзамену, участвовать в котором не

обязаны, почему жертвуем своим свободным временем ради теста на общую эрудицию, соревнуясь друг с другом в бессмысленном состязании? Зачем? Ради чего? Первым призом была маленькая бутылка виски, вторым — коробка шоколада. Наша покорность объяснялась силой характера всего лишь одной женщины. Никому и в голову не пришло отказаться, хотя старые дамы явно боялись провала и унижения, то есть что они, как странно выразилась Белл, не «справятся».

Фелисити заняла стул в самой дальней от камина точке круга, лицом к огню, и несколько секунд сидела между мужем и Львицей Эльзой. Потом встала и уже не вернулась на место; она внимательно наблюдала, как мы опустили взгляды к листам с вопросами. Высокая, крепко сбитая, но в то же время стройная, темноволосая женщина. Царственное лицо, густые черные волосы, едва заметный черный пушок над верхней губой, мини-юбка, вошедшая тогда в моду, но не очень подходящая таким высоким и крепким женщинам. У вас тридцать минут, сказала она, ровно полчаса, а максимальное число баллов — пятьдесят. Потом Фелисити пошла к детям, по дороге включив свет.

Часы показывали половину четвертого, но уже начало темнеть. Красный свет от камина был слишком слаб. Некоторые из участников состязания уже что-то писали, но я поступила так, как меня учили, — сначала прочла все вопросы. Все их я не помню, только первый и пятый. Первый звучал так: что такое жерминаль, брюмер и фруктидор и что у них общего? Думаю, второй вопрос имел отношение к архитектуре, третий — к сражениям Второй мировой войны, а четвертый — к Шекспиру. В пятом от участников требовалось объяснить, что такое болезнь Потта, синдром Клайнфелтера и хорей Хантингтона.

Я испытала шок; кровь бросилась мне в лицо, и это, наверное, не укрылось от остальных. Естественно, меня посетила параноидальная мысль, что все подстроено специально и надо мной хотят посмеяться. В ту же секунду — или в следующую — я поняла, что этого, конечно, не может быть, что Фелисити вовсе не жестокая и злобная женщина, и более того, она не *знает*, не может *знать* — никто не знает, кроме моего отца, его кузины Лили, врача моей матери и Козетты. Львица Эльза тоже не знает. Никаких внешних признаков — ни в моем лице, ни в глазах, ни в движениях. Мне даже говорили (в том числе зеркало), что я миловидна и, более того, красива. Если меня ждет судьба матери, ее бабушки, ее отца, то болезнь притаилась в моей центральной нервной системе, молчаливая, неподвижная, спящая, ждущая своего часа.

Я подняла взгляд, ожидая, что все смотрят на меня, но они уткнулись в

свои листы, и на их лицах отражались самые разнообразные чувства: понимание и недоумение, удовлетворение, растерянность. Почти все писали. Я снова посмотрела на вопросы. Хорея Хантингтона. Эти слова били мне в глаза, словно были напечатаны жирным шрифтом. Руки у меня тряслись: и та, в которой был зажат карандаш, и та, что пыталась удерживать листы с вопросами, отказывались повиноваться и дрожали, как будто болезнь Хантингтона уже нанесла свой первый удар, посылая сигналы нервам.

В те времена, заметив дрожание рук, нарушение координации или обычную неловкость, я не боялась, что это приступ болезни Хантингтона, понимая, что просто нервничаю. Но убеждала себя, что должна взять себя в руки, сделать вид, словно ничего не случилось. И ведь действительно ничего не произошло, после того, как я прочла вопросы, все осталось таким же, ничего не изменилось. Слова «хорея Хантингтона» я произносила почти каждый день — если не каждый. Но несмотря на все уговоры, несмотря на попытки унять дрожь в руке, я обнаружила, что не в состоянии отвечать на вопросы, написать хотя бы слово. Так, например, мне было известно, что жерминаль, брюмер и фруктидор — месяцы французского республиканского календаря, и я даже знала (недавно прочла об этом, совершенно случайно), что их названия придумал Жильбер Ромм, но когда поднесла карандаш к бумаге, то почувствовала, что моя рука словно парализована. Я попыталась прочесть другие вопросы, но буквы прыгали у меня перед глазами, а когда я заставляла себя сфокусировать взгляд, мозг отказывался понимать смысл слов.

Это было почти смешно. Конечно, тогда я так не думала — только гораздо позже. Мне казалось жестокой иронией, что я, которую Фелисити причисляла к фаворитам — вместе с Эльзой, Паулой и зятем Рупертом, — сдала чистые листы, а жена бригадира, признававшаяся в невежестве, правильно ответила на три или четыре вопроса. Причиной моего провала стало не экзаменационное волнение и не чрезмерное количество вина, выпитого за ленчем, а исключительно эмоциональное, почти мистическое воздействие вопроса Фелисити, предназначенного для того, чтобы продемонстрировать интеллектуальное превосходство ее друзей над приятелями свекрови.

Я подняла голову и встретила взглядом с Эльзой, которая мне подмигнула. Она усердно писала, и стало ясно, что у нее хорошие шансы выиграть бренди. Я размышляла, как лучше поступить: признать внезапное затмение ума или прибегнуть к хитрости, сказавшись больной и удалившись в свою спальню. Одновременно мой взгляд скользил по

комнате, от Фелисити, которая опустилась на колени и помогала племянникам строить на ковре крепость из пластмассовых кубиков, к высокой, перегруженной украшениями и свечами елке в углу залы наискосок от камина, к двум широким окнам и унылым, влажным сумеркам снаружи, а потом снова к усердно строчащей Эльзе, к ее склоненной голове и прикушенной верхней губе. В комнате было тихо, если не считать потрескивания огня в камине и покашливания простуженной сестры Фелисити. Даже дети, увлеченные новыми игрушками, не издавали ни звука.

Я решилась. Останусь тут — и будь что будет. Какая разница? Люди радуются неудачам других. Я перевернула листы, чтобы черные буквы знакомого названия больше не тревожили меня, и протянула руку, собираясь положить карандаш в коробку на низком столике, куда торжествующая Эльза, закончив отвечать на вопросы, уже вернула свой, и в эту секунду входная дверь распахнулась, впустив в дом порыв ветра и Белл Сэнджер.

Парадная дверь в Торнхеме запиралась только на ночь. Думаю, сейчас там все изменилось. Тогда дверь почти всегда была не заперта, и все об этом знали, однако внезапное появление Белл все равно вызвало переполох в зале. Ветер выхватил листы с вопросами у участников викторины — буквально вырвал детище Фелисити из ее рук — и бросил в огонь. Она вздрогнула и негромко вскрикнула. Белл стояла на коврик — на самом деле это была шкура какого-то зверя — прямо у порога, взволнованная женщина с горящими глазами, с растрепанными ветром волосами и одеждой. Фелисити встала с колен и раздраженно сказала:

— Ради всего святого, закрой дверь.

Белл подчинилась. Завела руку за спину и толкнула дверь, которая с грохотом захлопнулась. Казалось, вздрогнул весь дом.

— Пойдемте кто-нибудь со мной, пожалуйста. Сайлас застрелился.

— О, боже, — послышался чей-то голос. Я так и не поняла, кто это сказал — кажется, один из мужчин. Эсмонд встал, отодвинул стул, чтобы выбраться из круга, и шагнул к Белл. Она не стала ждать его вопросов:

— Сайлас был пьян. Играл в одну из своих игр. И выстрелил в себя. Думаю, он мертв. — Белл умолкла в нерешительности и обвела нас взглядом, в котором проступила растерянность, словно начала понимать, кто мы такие и что мы самая неподходящая компания, чтобы сообщать ужасную новость или делиться своими чувствами. Но что она могла сделать? Разве у нее оставался выбор? Мы все сидели тут, единственные люди в округе, и деться ей было некуда. — Сайлас играл, — сказала Белл,

адресуя свои слова Фелисити. — Ты знаешь, о чем я.

Невероятно, но, похоже, Фелисити знала. Она кивнула и прижала ладонь ко рту.

— Фелисити, ты не позвонишь доктору Томпсону? — сказал Эсмонд. — И, наверное, в полицию. Да, мы должны позвонить в полицию.

— Боже, ну и дела! Ну и дела! — воскликнула Фелисити. Потом вспомнила, что ее окружают дети с широко раскрытыми от удивления глазами. — Пойдемте со мной, все. — Она собрала детей вокруг себя, обхватив каждой рукой двоих или троих.

Наши с Белл взгляды встретились. Мне показалось, что она смотрит на меня так, словно я тут единственная, кто может ей понравиться, у кого может быть с ней что-то общее. Именно так я истолковала долгий, пристальный, наполненный ужасом взгляд ее серых глаз. Эсмонд открыл входную дверь и придержал, пропуская Белл вперед, в темноту. Я встала и пошла за ними.

Stiletto fatalis^[25] — это вовсе не оружие, а латинское название *flaw worm*, сельскохозяйственного вредителя. Энтомолог, придумавший такое имя, явно обладал чувством юмора. В деревенском магазине Торнхема висели плакаты, предупреждавшие фермеров об опасности, и Фелисити, ухватившись за это название, придумала замечательную шутку. В то Рождество — по крайней мере до смерти Сайласа Сэнджера — она постоянно упоминала о *stiletto fatalis*. Включи она вопрос в свою викторину, абсолютно все ответили бы на него правильно. Той зимой в моду вошли каблуки «стилет», и на всех вечеринках, особенно в домах с паркетными полами, вам выдавали пластмассовые колпачки для обуви, чтобы острые каблуки не протыкали пол. Все полы в Торнхем-Холле были деревянными, а сверху лежали ковры, большие и маленькие. Фелисити обязательно обследовала туфли прибывающих гостей и выносила вердикт, относятся ли они к категории *stiletto fatalis*.

Эту особенность характера Фелисити, о которой я совсем забыла и не вспоминала лет пятнадцать или шестнадцать, с тех пор, как мы виделись в последний раз, всплывает в памяти утром, когда я собираюсь ей позвонить. Я вспоминаю о *stiletto fatalis* и о том, что когда Фелисити нашла убежище у Козетты, в ее разговорах и их, и пришедшие им на смену увлечения уже сменила навязчивая тема селевинии.^[26] Похоже, с тех пор в жизни Фелисити ничего важного не произошло: она по-прежнему замужем за Эсмондом и по-прежнему хозяйка Торнхема, хотя, наверное, уже не похожа на ту экспансивную молодую женщину в мини-юбке, которая вечер за вечером изливала душу Козетте. Я внимательно разглядываю лист бумаги, на котором записала телефон, продиктованный дочерью Фелисити. Потом набираю номер. Вчера вечером я не видела Белл — разумеется, не видела, хотя поехала в «Лейтс», вышла из такси на углу Пембридж-роуд, а остаток пути преодолела пешком.

Фелисити сама снимает трубку и как только понимает, кто это, произносит свое обычное приветствие, несколько не изменившееся за прошедшие годы.

— Эй, привет!

Однажды я слышала, как Эсмонд представлялся одному из гостей как «Эй», утверждая, что жена дала ему новое имя. Фелисити ведет себя так, словно мы разговаривали две недели назад. Ни удивления — что я не

звонила раньше, что звоню теперь, что я еще жива, — ни упреков. Она даже не говорит, что это стало для нее сюрпризом. Я не помню, чтобы Фелисити была так поглощена своими детьми двадцать лет назад или когда на девять месяцев бросила их на попечение отца и бабушки. Но теперь она говорит только о детях. Начинает сразу после вежливого вопроса, как мои дела, и воспринимает мое: «А у вас?» — буквально, рассказывая мне о потрясающей работе Миранды в телекомпании Би-би-си и о том, что Джереми успешно сдал экзамен по истории. За этим следует самое распространенное клише из всех, что можно услышать от любящей матери:

— Знаешь, мы уже отчаялись. Он палец о палец не ударил.

Я слушаю еще немного, потом сообщаю, что говорила с Мирандой.

— О, тебе удалось ее поймать? Какое облегчение! Прямо гора с плеч. Я с ней уже несколько дней не разговаривала — ты же знаешь, какие они неуловимые и, разумеется, абсолютно безразличные к чужим страхам, даже обоснованным. Какое облегчение знать, что она тут, с ней все в порядке, она отвечает на звонки, и так далее. Расскажи лучше о себе.

От этого вопроса легко уклониться:

— Миранда сказала, что ты разговаривала с Белл Сэнджер. Я подумала, что у тебя может быть ее адрес.

Молчание. Потом голос Фелисити меняется, становится театральным:

— О, моя дорогая, я не знаю. У меня есть номер телефона. Ты помнишь те чудесные названия лондонских АТС, «Амбассадор», «Примроуз», «Флаксмен»? Так легко запомнить. А теперь шесть-два-четыре и так далее. Что, черт возьми, должно означать это «шесть два-четыре»?

— Мейда. Мейда-Вейл и Килбурн. — Вот, значит, где живет Белл. У меня немного закружилась голова; я затаила дыхание, боясь, что нас прервут, и я никогда не узнаю остальные четыре цифры. — Шесть-два-четыре, а дальше?

Боялась я не напрасно, и мои опасения оправдались — Фелисити где-то записала номер, но не может вспомнить, где именно.

— Ты же знаешь размеры этого дома, Элизабет!

— Как она? — спрашиваю я, уже не в силах сдержаться, остановить себя. — Как Белл? Она казалась — нет, не счастливой — смирившейся?

Но Фелисити не собирается отвечать на этот вопрос — возможно, просто не знает, как. Хотя она всегда была эгоцентричной женщиной, которую интересовало не мнение других людей, а собственное мнение о них.

— Жаль, что мы не встретились и все не обсудили — говорит она. —

Естественно, после суда. Я могла бы тебе много рассказать, всякие подробности. То есть я хорошо знала Сайласа, вплоть до личных, интимных вещей, но Белл всегда оставалась для меня загадкой. Но ты исчезла, и все посчитали, что ты не хочешь нас видеть. Никто тебя не искал. О, дорогая! Помнишь ту ужасную старуху, которая так волновалась из-за охоты на лис? Моя свекровь еще жива, можешь себе представить? Восемьдесят шесть, в полном здравии... О, боже, тебе же нужен номер Белл Сэнджер, да? Послушай, я его разыщу и потом тебе перезвоню.

— Буду ждать, Фелисити.

— Обязательно. Я хочу у тебя кое-что спросить, но если ты считаешь, что это неприлично с моей стороны, можешь не отвечать. Не бросай трубку, а просто не отвечай — ты не обязана. Так вот. Тебе не приходило в голову, что Белл могла сама застрелить Сайласа?

Я отвечаю, но мне самой ответ кажется глупым, уклончивым и фальшивым:

— Тогда не приходило.

— Тогда — конечно. А во время суда? Я имею в виду, когда стали известны подробности ее прошлого? А мне, должна признаться, приходило. Я знала об играх Сайласа. Прекрасно понимала, на что он способен, знала о его пьянстве, но все равно думала, что его застрелила Белл. О, Элизабет, давай как-нибудь встретимся и все это обсудим. Было бы здорово, тебе не кажется? Ты бываешь в наших краях? — Слава богу, она продолжает, не дожидаясь ответа. — Нет, думаю, не бываешь. Нам нужно встретиться в Лондоне. Мы сохранили ту квартиру — ну, конечно, ты знаешь, если разговаривала с Мирандой. Послушай, я обязательно тебе перезвоню, дам телефон Белл, и мы обо всем договоримся. Точно сказать не могу, но это будет сегодня, можешь не сомневаться. Пока. Потом поговорим.

Фелисити всегда отличалась способностью изматывать людей, которые находились рядом или с которыми она просто разговаривала по телефону. Общение может быть приятным, но с ней оно напоминало изнурительное сражение. Другие, как, например, Козетта, умели подбодрить собеседника, поддержать его, создать ощущение комфорта и удовлетворенности одним лишь умением внимательно слушать и в нужный момент задавать наводящие вопросы. Вернувшись домой из Торнхема после смерти Сайласа Сэнджера — на следующий день леди Тиннесе бесцеремонно выставила нас с Эльзой, — я рассказала о происшествии Козетте. Она внимательно слушала, и ее интерес выглядел искренним. К тому времени Фелисити уже посвятила Эльзу, меня, Паулу и свою сестру в подробности игр Сайласа.

У него было оружие: дробовик двенадцатого калибра и револьвер

«кольт», купленный, как утверждал Сайлас, у владельца палатки, который торговал серебром на рынке Портобелло-роуд. У Сайласа была страсть к огнестрельному оружию, удовлетворить которую в этой стране не так-то просто; коллекционировать оружие, получить соответствующую лицензию и так далее мог только благонадежный гражданин без криминального прошлого, готовый к неожиданным визитам полиции. У Сайласа, естественно, лицензии не было. Фелисити рассказала нам, что он часто играл с «кольтом» в «русскую рулетку», причем из всех его игр эта была самой невинной.

— Такие, как Сайлас, не кончают жизнь самоубийством, но в отличие от остальных они ни в грош не ставят свою жизнь. Совершают всякие безрассудства, искушают судьбу. — Мне показалось, что Фелисити произнесла эти слова задумчивым тоном, словно была не прочь, чтобы ее тоже причисляли к этой категории. — Знаете, вроде того, как Кармен ходит в самые опасные места, охотится за самыми опасными мужчинами. — Мы не знали. По крайней мере, я тогда еще не слышала «Кармен», даже в записи. — А в конце ей не обязательно умирать, она без труда может избежать смерти, но слишком горда, чтобы бежать от судьбы — да и что ей остается?

Может, Фелисити намекала, что Сайлас точно такой же? Или имела в виду совсем другое — если довести аналогию с «Кармен» до конца, до самого последнего акта?

Она сказала, что Сайлас любил инсценировать расстрел. Я так и не поняла, участвовала ли Фелисити в подобных играх или только слышала о них. Если участвовала, то я могу понять ее желание, чтобы Эсмонд Тиннессе, пуританин и приверженец англиканской церкви, ничего об этом не знал; возможно, именно поэтому она решила не рисковать и ничего нам не говорила. Как бы то ни было, Фелисити рассказала, что Сайлас, зарядив дробовик или «кольт», заставлял свою женщину, предположительно Белл, связывать его и затыкать рот кляпом. Женщина не знала, какое оружие заряжено. Она должна была выбрать револьвер или дробовик и выстрелить в Сайласа, будто солдат из расстрельной команды. Разумеется, и Белл, и ее предшественницы плохо стреляли; Сайлас обучил их основам обращения с оружием, не более того. Фелисити сказала, что после расставания с Сайласом она однажды видела его с рукой на перевязи, и он сказал, что это огнестрельное ранение. Фелисити пришла к выводу, что женщина угадала (или не угадала) оружие, но немного промахнулась.

Сайлас никогда не стрелял в птиц или животных — его это не интересовало; кроме того, он был вегетарианцем. Еще одна его игра

заклучалась в том, чтобы заставляя свою девушку стрелять по мишени якобы для тренировки, и как только она — я не сомневаюсь, что один раз это точно была сама Фелисити, — прицеливалась и спускала курок, Сайлас бросался между стрелком и мишенью. Ему нравился неприкрытый ужас, потеря самообладания, крики.

— А в последний раз он тоже устроил нечто подобное? — спросила Козетта.

— Не знаю. Наверное, никто не знает.

— Та девушка по имени Белл должна знать.

— Даже если и так, она все равно не скажет.

Мы — Эсмонд, Белл и я — пошли к коттеджу сквозь ветер и тьму. Неужели в декабре месяце в четыре часа дня бывает так темно? Я помню тьму и шок, который испытала, когда увидела проступивший из мглы коттедж и поняла, что Белл не оставила включенным свет. По крайней мере, она не заперла входную дверь, а лишь закрыла на щеколду, как было принято поступать с парадной дверью в Торнхем-Холле. Мы вошли, включили свет и увидели на полу мертвого Сайласа Сэнджера.

Думаю, именно в этот момент Эсмонд заметил меня. Понимаете, после того, как мы покинули Торнхем-Холл, никто не произнес ни слова. Эсмонд заметил меня, повернулся и сказал нечто вроде того, что мне здесь не место и я не должна такое видеть. Но было уже поздно. Я увидела, и Эсмонд тоже, и лицо у него побледнело.

Могло быть и хуже. Помню, такая мысль мелькнула у меня в голове. Лицо Сайласа осталось целым. Он выстрелил себе в шею, раздробив, как потом выяснилось, позвоночник. Сайлас лежал в луже крови, а его лицо напомнило мне картины — имя им легион — с изображением Иоанна Крестителя, вернее, головы Иоанна Крестителя на окровавленном блюде, которое держит Саломея. Его лицо было прозрачным, зеленовато-белым, с бледными губами, темно-рыжими курчавыми волосами и бородой и выглядело спокойным и каким-то молодым. Я думала, что смогу смотреть на этого мертвого мужчину отстраненно, просто с любопытством, не испытывая тошноты или физического отвращения. Какое-то время я держалась, но потом почувствовала жуткую слабость, колени у меня подогнулись; я села и стала глубоко дышать, закрыв глаза. Послышался голос Эсмонда:

— Что тут произошло?

— Он играл со своим «кольцом». Сказал, что хочет выстрелить на улицу, из окна. Посмотреть, что будет. Думаю, хотел проверить, выйдете вы или нет. — Рассказывая нам впоследствии о забавах Сайласа, Фелисити

упомянула, что беспорядочная стрельба из «кольта» и дробовика стала причиной ссоры между ним и семьей Тиннесе. Эсмонд, не имевший понятия о склонностях Сайласа, пришел в ужас. Сказал, что Сайлас должен немедленно убираться. Трудность заключалась в том, что им с Белл некуда было идти. А теперь ей некуда было идти.

— Потом я пошла наверх, — сказала Белл. — Этот придурок не стал стрелять в окно. Решил сыграть в «русскую рулетку».

Она выглядела очень спокойной. Наверное, это было отчаяние. Белл села на другой стул, всего в комнате их было два, посмотрела на меня и подняла глаза к небу — кажется, так называется этот неуместный в той ситуации жест. Выражал он не столько шок или горе, сколько раздражение. В тот день на Белл была какая-то многослойная одежда коричневых и серых тонов — она всегда наряжалась не так, как другие, хотя несколькими годами позже этот стиль сделался чрезвычайно популярным у приверженцев альтернативной моды: перехваченная на тонкой, похожей на стебелек, талии чем-то вроде багажного ремня. Левый рукав был испачкан в крови.

— Прикройте его, — попросила она.

Эсмонд оглянулся, ища что-нибудь подходящее. Это было скудно обставленное помещение, грязная маленькая комната с линолеумом на полу и маленькими ковриками, нарезанными из одного большого ковра, двумя стульями с высокими спинками, диваном с набивкой из конского волоса, раскладывающимся столом с одной сломанной ногой, подпертой цветочным горшком, и книжными полками из гладко оструганных досок, установленных на кирпичках. Спинка дивана была накрыта вязаной шалью ручной работы цвета грязи и гранита, вероятно, принадлежавшей Белл, и именно этой шалью Эсмонд прикрыл тело, за что впоследствии получил выговор от полиции. Стало лучше; нельзя сказать, что атмосфера разрядилась, но мы почувствовали некоторое облегчение. Теперь, когда это лицо и эта ужасная шея были закрыты, появилась возможность открыть глаза, свободно дышать.

— Вам лучше вернуться в дом, — сказал Эсмонд Белл. — И возьмите с собой Элизабет. Я побуду здесь.

— Нет, я остаюсь, — ответила она.

Я пошла назад одна, а через несколько минут приехала полиция. Выслушав мой рассказ, Козетта спросила, как выглядела Белл и сколько ей лет. Я заметила, что она всегда интересовалась возрастом других женщин.

— Как актриса в фильмах Бергмана.

Козетта неверно поняла мои слова, обнаружив, что все еще живет

событиями своей юности:

— Ах, да. «Интермеццо». «Касабланка». ^[27]

— Ингмара, — уточнила я. Наступила эра режиссеров, и уже никто не знал имен кинозвезд. — Похожа на шведскую актрису, высокую и худую, с длинной шеей, но очень мягкими чертами лица, маленьким прямым носом, полными губами, большими глазами. Копна светлых, каких-то льняных волос. Наверное, ей лет двадцать пять.

— Такая молодая? — удивилась Козетта.

Я подумала, она имеет в виду, что Белл так молода, а уже столько пережила, — возможно, так и было. Но мне кажется, именно после этого разговора пристальное внимание Козетты к возрасту стало усиливаться. Как будто она всю жизнь проспала, а проснувшись, в панике обнаружила, что года ушли, и уже ничего не вернешь. Ее лицо приняло печальное, задумчивое выражение, не имевшее никакого отношения к скорби по Дугласу, а также даже к дряблости лицевых мышц, которая появилась позже. Причиной этого стало внезапное пробуждение. Наверное, Козетта представила Белл и подумала, что возможность быть двадцатипятилетней, высокой и красивой стоит любых страданий, трагедии, бедности и лишений. Конечно, я не знаю, что она думала, могу только догадываться и высказывать предположения в свете того, что случилось потом.

— И на следующий день они отправили вас домой?

— Ну, это можно понять. Мы, наверное, мешали. Тиннесе отправили всех по домам, взяли к себе Белл и, думаю, были чрезвычайно милы с ней.

— Но должно было проводиться следствие, так ведь?

— Не знаю. Наверное. Да, конечно, должно. Белл рассказала нам, что случилось потом. Она не осталась вместе с ним в комнате, когда он начал забавляться с пистолетом. Пошла наверх и сидела в комнате, где хранились все его картины. Вероятно, в коттедже было очень холодно, почти как в леднике, потому что обогревался он только мазутными печками. Сайлас пил то же, что и всегда, — дешевое вино с примесью денатурата. Белл рассказывала обстоятельно и спокойно. И самое главное, ее, похоже, нисколько не волновало, что все мы — я имею в виду Эльзу, Паулу, сестру и зятя Фелисити — совершенно чужие люди. Она сидела наверху и смотрела на его картины. Возможно, думала, как их продать; я имею в виду, против его желания. Рассчитывала, что некоторые пейзажи можно отнести в местный паб и попросить повесить в баре, в надежде, что кто-то из посетителей захочет купить какую-нибудь картину. Похоже, Белл с Сайласом были отчаянно бедны — до такой степени, что иногда им было нечего есть, хотя вино у него никогда не переводилось. Как бы то ни было,

она сидела наверху, размышляя об этом, и услышала выстрел из «кольта». В самом звуке не было ничего необычного, рассказывала Белл, в отличие от того, что произошло потом. Послышалось какое-то хрипение, ужасный звук, нечто среднее между стоном и бульканьем. Поэтому Белл спустилась, но Сайлас к тому времени был уже мертв.

Не очень правдоподобная история, да? Но тогда я в нее поверила, и Козетта тоже. В отличие от Эльзы, которая несколько месяцев спустя задала мне такой вопрос: если они были так бедны, почему Белл не могла устроиться на работу? В те времена, в отличие от сегодняшних, работать считалось обязательным. Но я не слышала, чтобы Белл работала — ни тогда, ни потом, ни вообще когда-нибудь. От необходимости работать ее избавило странное стечение обстоятельств: за несколько часов до смерти Сайласа от сердечного приступа умер его отец. Он не был богат, но владел домом, в котором жил; завещания после него не осталось, однако он уже давно овдовел, а Сайлас был его единственным ребенком. Дом автоматически перешел к Белл, потому что они с Сайласом состояли в браке — она была такой же замужней женщиной, как Фелисити. Белл продала дом за 10 000 фунтов, и эта сумма, вложенная в акции, давала достаточный доход, чтобы, не работая, едва-едва сводить концы с концами.

Но все это в будущем. Ничего этого я не знала, когда рассказывала свою историю Козетте. Я ждала от нее вердикта, резюме. Собиралась выслушать, обсудить выводы, а затем, если буду в настроении, рассказать (предполагая, что это облегчит мне душу) о пятом вопросе викторины Фелисити, о внезапном страхе и дрожи в руках. Понимаете, я так привыкла видеть в Козетте только слушателя. Когда Козетта говорила о себе, это воспринималось почти как вызов. Но теперь, вместо обсуждения возможной судьбы Белл или странных процессов в мозгу человека, который играл в расстрельную команду со своей женой, она сказала:

— Я купила дом.

Ничего удивительного тут не было — все ждали, что рано или поздно это случится. Я вопросительно посмотрела на Козетту.

Иногда на ее лице появлялось какое-то детское выражение, словно у ребенка, который ждет нагоняя. Я спросила, где находится дом.

— В Лондоне. — Она и так жила в Лондоне. Я молча ждала. — В Ноттинг-Хилле. Тебе понравится. Большой, высокий дом с лестницей из 106 ступенек. Я сосчитала. Я назвала его «Дом с лестницей».

Должно быть, на моем лице отразилась растерянность. Все это было так странно, так не похоже на Козетту. За две недели она несколько не похудела, хотя солнце поджарило ее кожу. Она была одета в один из своих

хлопковых балахонов. Волосы, сколотые на затылке, как у Белл, казались просто растрепанными, не вызывая ассоциаций с картинами Фрагонара. Очки в прозрачной оправе телесного цвета отремонтированы с помощью кусочка пластыря. Я подумала лишь об одном: как она будет карабкаться по этим ступеням?

— Тебе уже не придется так далеко ездить, чтобы со мной увидеться, — сказала она.

— Ноттинг-Хилл? — переспросила я.

В любом случае это северо-западная часть Лондона, жалкий, запущенный, грязный и опасный район. Ежегодный уличный карнавал, который начали проводить несколько лет назад, стал источником еще больших неприятностей, напоминавших жестокие бунты пятидесятых годов. Я спросила, почему Козетта хочет жить именно там.

— Это лучшая часть города, — наивно ответила она. — Богемная.

— А зачем такой большой дом?

— Думаю, я не буду там одна — по крайней мере долго. Ко мне приедут люди. — Козетта с тревогой и волнением смотрела на меня, ожидая поддержки. — Ведь они приедут, правда?

Какие люди? Дон Касл с мужем? Престарелый Морис Бейли, президент ассоциации жителей района Велграт? Ее братья?

— Да, наверное. Если их пригласить. Все думают, что вы будете жить в квартире или бунгало.

— В той части Лондона много молодежи, — сказала Козетта.

Мне казалось, что это не имеет значения.

— Но что ты будешь там делать?

— Жить, — с улыбкой ответила Козетта, а затем, вероятно, решив, что это звучит напыщенно, прибавила: — То есть я просто буду там жить и... и смотреть.

Глупо так волноваться. Я жду звонка Фелисити, затаив дыхание, словно весточки от ветреного любовника. Что будет, если Фелисити позвонит в мое отсутствие? Станет ли она перезванивать? Я не осмеливаюсь рисковать и не выхожу из дома. Это хорошая возможность заняться книгой, которую я теперь пишу, — можно будет не кривя душой сказать, что я просидела за пишущей машинкой весь день или, по крайней мере, подходила к ней в течение всего дня. Причем заправленный в машинку лист не остался пустым. Хотя написанное, вне всякого сомнения, пойдет в корзину, и все придется переделывать. Книга — тема, сюжет и персонажи — не могла отвлечь мои мысли от Белл. Закончив работать, я

сидела за столом, переводя взгляд с агатового стакана Козетты и необычного ножа для бумаги из верескового корня на старый «Ремингтон» Дугласа, на котором была напечатана моя первая книга — с таким вдохновением и волнением, — и пыталась восстановить в памяти свой первый визит на Аркэнджел-плейс, когда в один из холодных февральских дней Козетта взяла меня с собой, но никак не могла сосредоточиться. Воспоминания о «Доме с лестницей», каким он был в тот день, не шли дальше пустых выстуженных комнат, словно прикрепленных к стержню винтовой лестницы, как листья к изогнутой ветке, не будили воспоминаний о каких-то событиях, о последующих переменах, о людях, которые там появились, о «салоне» Козетты. Мои мысли были заняты одной Белл. Я вспоминала ее в те дни — вернее, то, что слышала о ней, что рассказывали Эльза и Фелисити, поскольку сама Белл исчезла из моей жизни больше чем на год.

Тогда, после того как Сайласа накрыли той шалью (потом Белл спокойно продолжала ее носить), я вернулась в дом, оставив их вдвоем, Белл и Эсмонда Тиннесе. Потом, через несколько часов после приезда полиции, врача и всяких других служб, Эсмонд привел Белл в гостиную, где мы собрались. Неловкость, которую ощущали все — кроме меня, Эльзы и Фелисити, не знавшей, что это такое, — казалась осязаемой. Я понимала: теперь, когда к нам присоединилась Белл, никто не знает, о чем говорить и как провести остаток вечера. Но замешательство было недолгим. Белл встала и голосом, исполненным холодного презрения, произнесла:

— Прошу прощения, что причинила столько беспокойства.

Странные слова, правда? Разве причиной беспокойства был не мертвый Сайлас и его поступок? После этой фразы Белл повернулась и ушла наверх. Фелисити потом пришлось подняться к ней и спросить, не нужно ли ей чего-нибудь — например, выпить или поужинать холодными остатками с рождественского стола, которые подали нам внизу. Белл от всего отказалась. На следующий день вернулась полиция, желавшая побеседовать с ней; проведя довольно много времени с одним из полицейских в кабинете Эсмонда, Белл спустилась к нам. Вся в черном.

Со временем я узнала, что она часто одевалась в черное, и это не имело отношения к трауру по Сайласу. Мне еще не приходилось сталкиваться с подобными людьми, с их безразличной уверенностью в себе и трагическим самообладанием. Я никогда не чувствовала к ней жалости, хотя, наверное, должна была. В конце концов, она же вдова, лишь вчера потерявшая мужа при ужасных обстоятельствах, в атмосфере насилия и страха. В моих чувствах к ней преобладало восхищение, нечто вроде

преклонения перед героем — в последний раз я испытывала подобное семь лет назад в отношении учительницы музыки. Мне хотелось уединиться с Белл, поговорить. Хотелось быть рядом, одной, разговаривать, узнать о ней и рассказать о себе.

Разумеется, это было невозможно. Мы с Эльзой возвращались в Лондон — через полчаса Эсмонд собирался отвезти нас на станцию метро Дебден. Сестра Фелисити с мужем и детьми уже уехали на машине, захватив с собой Паулу с дочерью. Белл подошла к креслу, в котором сидела Фелисити с маленьким Джереми на коленях. Потом уперлась ладонями в спинку и вскинула голову с копной растрепанных светлых волос цвета потемневшей латуни, заплетенных в косу и уложенных на макушке с помощью ленты. Не глядя на Фелисити — взгляд Белл скользил по фигурной штукатурке на потолке, по карнизу, оконным аркам с искусным ламбрекеном, — она спросила, можно ли ей еще немного пожить в Торнхеме.

— Нет, не в доме. В коттедже. Пока я не найду что-нибудь другое.

— Конечно, моя дорогая, у меня и в мыслях не было... — начала Фелисити, но Белл перебила ее:

— Я знаю, что Эсмонд меня не любит. Вы все меня не любите. — Наверное, я ждала, что ее скользкий взгляд на мгновение задержится на мне, а выражение лица чуть-чуть изменится, смягчится, словно она считает меня исключением. — Но мне, — продолжила Белл, — больше некуда идти.

У нее была репутация честного человека. По дороге к станции метро Эсмонд сказал нам:

— Совершенно верно, я ее не люблю. Откровенно говоря, Сайлас мне тоже не нравился. Но исключительная честность Белл известна всем. Она не способна на обман.

Любопытно проследить, откуда берутся подобные репутации. Они являются результатом того, что люди путают два вида правды: в изложении собственного мнения и принципов и в изложении событий. Белл никогда не скрывала своих чувств, всегда говорила то, что думает. Например, она не могла из вежливости или ради того, чтобы доставить удовольствие собеседнику, сказать, что ей приятно, если ей было неприятно, что ей нравится человек или вещь, если они ей не нравились, или что она не возражает, если на самом деле возражала. Именно из-за этого, из-за ее всем известной искренности, предполагалось — нет, считалось само собой разумеющимся, — что Белл также рассказывает абсолютную правду о своих поступках, своем прошлом и о том, что случилось в коттедже. Но

мне пришлось убедиться — получив жестокий урок, — что на самом деле Белл была одним из величайших лжецов в мире, причем она лгала намеренно и, думаю, исключительно ради удовольствия.

В тот раз она сказала Фелисити, что ей некуда идти, и Фелисити, поначалу решительно отвергавшая чистую правду, заключающуюся в том, что никто в Торнхеме не любил Белл, предложила ей бесплатно жить в коттедже столько, сколько потребуется. Белл кивнула и поблагодарила в своей лаконичной манере — она умела представить дело так, словно благодарить особенно не за что.

— А что мне делать с кровью? — спросила она.

Фелисити едва не вскрикнула и прижала ладонь к губам. Джереми смотрел на Белл широко раскрытыми глазами, приоткрыв рот.

— Полиция обо всем позаботится, — сказал Эсмонд. — Оставьте это им.

Я уже говорила, что в следующий раз увидела Белл через два года. Эльза рассказывала, что у Белл не осталось родственников, которые могли бы ее приютить. Родители умерли. Профессии у нее не было, и она ничего не умела делать; с девятнадцати лет она делила с Сайласом его бедность и жилье, которое ему удавалось снять, — коттедж, а скорее, лачугу в поместье на Шотландском нагорье, комнату на юге Лондона, чердак каретного сарая в Лейтонстоуне и, наконец, коттедж, принадлежавший семье Тиннесе. Унаследовав дом отца Сайласа, Белл уехала из Торнхема и сначала поселилась в этом доме, а потом продала его и стала жить на скудный доход от вырученной суммы. Ее орбита больше не пересекалась с орбитами Эсмонда и Фелисити, а также их спутников, Эльзы и Паулы, и она надолго затерялась среди галактик, образованных молодежью Лондона в конце 1960-х.

Пока я жду телефонного звонка, мне начинает казаться, что позвонить может сама Белл. Вот раздастся звонок, я услышу в трубке голос, но не Фелисити, который с нетерпением жду, а Белл, что станет гораздо более ценным подарком. В минуты нервного напряжения я всегда разговариваю сама с собой — естественно, если рядом никого нет. Интересно, все люди так делают? Вы тоже?

— Ты с ума сошла? — громко говорю я. — Это безумие — так волноваться и так ждать. Чего ты хочешь, что тебе нужно после стольких лет, когда ты уже все пережила и все знаешь? С ума сошла?

На этом все дело и заканчивается. Безумие — не тот предмет, о котором в нашей семье можно рассуждать легко и беззаботно: помимо всего прочего, мы наследуем и безумие, шизоидные галлюцинации,

связанные с нашей болезнью. Я больше не развиваю эту мысль, а когда раздается звонок — поздно вечером, слишком поздно для телефонных звонков, слишком поздно для Фелисити, — неожиданно чувствую облегчение.

Приверженцы теории Юнга считают, что из всех персонажей, которые являются нам во сне, безошибочно идентифицировать можно только одного — самого себя. Когда я впервые прочла об этом, моей первой реакцией стало яростное отрицание — разве я не видела во сне Белл? И Козетту, и даже — один или два раза — Марка? Но потом поняла, что на самом деле это не они, а отдельные фрагменты, отобразившие определенные стороны личности этих людей, зачастую искаженные, превратившиеся в неизвестных персонажей, полузабытых друзей или даже животных. Удивляться не стоит, особенно если учесть, как мало мы знаем о наших близких, однако воспринимать все это желательно как предупреждение: не следует торопиться с предположениями относительно характера других людей или хвастаться знанием человеческой души.

Так что прошлой ночью мне снилась не Фелисити, а кто-то другой, выглядевший и разговаривавший, как Фелисити, причем снилась не очень долго; она привела меня в серый сад на Аркэнджел-плейс, повернула ко мне изменившееся лицо, принадлежавшее человеку, имени которого я не могла назвать, но который имел какое-то отношение к тем временам, причем мне было трудно понять, кому принадлежало это лицо, мужчине или женщине. Прежде чем спуститься в сад, мы вместе были в «Доме с лестницей», и Фелисити взяла со стола Козетты листы с отпечатанными вопросами викторины, одни нетронутые, другие наполовину заполненные. Фелисити произнесла фразу, которая никогда не звучала наяву — иначе я бы ее запомнила: «Та женщина полная дура. Она сказала, что хорей Хантингтона — географическое название. Наверное, думает, что островки Лангерганса^[28] находятся поблизости от ее берегов».

Теория снов Фрейда стала предметом насмешек. Однако никто не оспаривает разумности предложения, что при попытке понять сны необходимо записывать их сразу же, как проснешься, и держать для этой цели карандаш и бумагу у изголовья кровати. Во сне замечание Фелисити не причинило мне такой боли, как если бы это случилось наяву, а сама Фелисити была из плоти и крови. Там, во сне, я просто удивилась и, проснувшись, поспешила все записать. Потом вспомнила остальные события сна. Мы с Фелисити вышли из дома в серый сад с более высокими и пышными, чем я помню, растениями и цветами, которые тоже были не желтыми или белыми, а серебристо-серыми. Мы смотрели на тыльную

сторону дома, высокого пятиэтажного дома с цокольным этажом, превратившегося во сне в настоящую башню, остроконечная вершина которой терялась в темном лондонском небе.

Но окна остались теми же. Широкие проемы, по одному на каждый из четырех средних этажей, пары остекленных дверей, выходящих на узкие балконы с низкими оштукатуренными ограждениями. На цокольном и верхнем этажах просто узкие длинные окна. Из комнаты, которая была когда-то моей, на балкон четвертого этажа вышел человек, но не Марк, не Белл и не Козетта. Там, опасно перегнувшись через ограждение, застыла детская фигурка; этого ребенка я видела впервые — в отличие от Фелисити или обладательницы повернутого ко мне изменившегося лица. Она узнала своего ребенка и стала кричать, предупреждая об опасности, умоляя вернуться в дом:

— Вернись, вернись, ты упадешь!

Теперь я читаю свой рассказ о сне и замечание Фелисити, которое уже не кажется мне таким блестящим и остроумным. На листе бумаги также записан телефонный номер, который она мне продиктовала, позвонив утром и бодро поздоровавшись своим обычным: «Эй, привет!»

Я спросила ее о том, о чем не решалась спросить вчера. (Сколько радостей лишает нас трусость!) Зачем ей звонила Белл?

— О, Элизабет, мне казалось, ты знаешь. Разве я не говорила? Она хотела узнать твой телефон.

Действительно, радость. Я тут же выругала себя за нахлынувшее ощущение счастья. Пора бы поумнеть, кое-чему научиться за все эти годы, после множества друзей, замужества и прочих привязанностей.

— Разве ты не дала ей мой номер? — Не успев произнести эти слова, я поняла, что Фелисити просто не могла его знать. Мы очень давно не общались, хотя, к чести Фелисити, следует признать, что этого совсем не чувствуется, что она — женщина, способная свести с ума, — всегда рада возродить старую дружбу, словно и не было многолетнего перерыва. — Нет, конечно, у тебя его нет. В телефонном справочнике я под фамилией мужа. А издатели никому не сообщают мой телефон.

— Я их и не спрашивала. Честно говоря, подумала, что меньше всего тебе хотелось бы общаться именно с Белл. После всего, что случилось.

Теперь, когда прошло несколько часов, я понимаю: она думает, что я была влюблена в Марка. Наверное, остальные считали точно так же. То есть думали, что моя печаль и необщительность вызваны именно этим. Я задумчиво смотрю на телефонный номер, который начинается с цифр «шесть-два-четыре», номер из Мейда, но ничего не предпринимаю, только

смотрю. Странно, но в данный момент мне совсем не хочется его набирать, не хочется говорить с Белл. Я так рада узнать, что ей нужен мой номер и это единственная цель ее звонка Фелисити, что не чувствую желания делать следующий шаг — пока. Сидя здесь, в своем кабинете, перед пишущей машинкой, я испытываю те же ощущения, в которые изредка окуналась в «Доме с лестницей», когда курила сигареты, которые Белл передавала мне, двигая по подоконнику: умиротворение, покой и уверенность, что завтра не наступит никогда, а если и наступит, то это не важно, а важно лишь вечное, приятное, безмятежное сегодня.

Козетта не собиралась одна жить в «Доме с лестницей». Она хотела пригласить к себе Тетушку и дочь Дон Касл Диану.

Я еще не упоминала Тетушку, но не потому, что она играла незначительную роль в жизни Козетты, а потому, что о ней трудно сказать что-либо определенное. Она была никем — маленькая старушка, у которой, казалось, нет ни характера, ни собственного мнения, почти нет вкусов и которая ни к чему не испытывает неприязни, но и ни от чего не получает удовольствия. Ее имени я до сих пор не знаю. Козетта всегда называла ее Тетушкой, хотя, как мне кажется, старушка приходилась ей не родной, а двоюродной теткой. Мы — я имею в виду толпу молодежи — должны были называть ее миссис Миллер, но никто этого не делал, и для нас она тоже стала Тетушкой. Для нее мы все были «дорогушами», поскольку имена не держались у нее в памяти, даже имя Козетты.

За два или три года до этого Тетушка жила в убогой комнатухе на окраине Лондона. Если не ошибаюсь, где-то в Кенсал-Райз. Ее донимал хозяин, который хотел освободить дом, чтобы его можно было продать, и лишал покоя джаз-оркестр из четырех человек, занимавший верхний этаж. Козетта всегда присматривала за ней, выплачивала нечто вроде пособия, покупала для нее продукты, водила на прогулки. Вместе с Дугласом они спасли Тетушку, купив ей крошечную однокомнатную квартиру неподалеку от них, в Голдерс-Грин. Из этой квартиры Козетта перевезла старушку в Ноттинг-Хилл.

Причину она не объяснила. Казалось, Тетушка и так ни на что не жаловалась, хотя судить об ее чувствах всегда было затруднительно, и если Козетта ездила из Голдерс-Грин в Кенсал-Райз, чтобы присматривать за ней, то она сама ничуть не реже проделывала этот путь в противоположном направлении. Возможно, Козетта просто сделала доброе дело. Доброте Козетты удивляться не стоило — она проявлялась так часто, что ее уже не замечали, — однако я пришла к выводу, что в данном случае мотив был

другим. Очевидно, роль, предназначавшаяся Тетушке в «Доме с лестницей», была очень важна для Козетты, пытавшейся вернуть юность.

Присутствие Тетушки никак не влияло на мою жизнь. Другое дело — Диана Касл. Боюсь, тот факт, что ее пригласили жить в доме, выделив собственную спальню, вызвал у меня лишь ревность и негодование. Вы должны понять, что к тому времени я, сама того не сознавая, заменила мать Козеттой — причем не после смерти матери, а задолго до этого. Разумеется, я понимала, что присутствие Дианы не исключает моего присутствия: мне всегда рады, для меня всегда найдется место, и Козетта считает само собой разумеющимся — и я тоже должна так считать, — что ее дом станет моим домом, как только я пожелаю.

Я немного обиделась. Окончив университет, путешествовала по Европе, встречаясь с такими же кочевниками и размышляя о книгах, которые собиралась написать. Первая из них появилась в доме Козетты, но не тогда, а гораздо позже. Вернувшись, я поступила в одногодичную педагогическую аспирантуру, чем впоследствии была очень довольна, хотя сделала это из-за обиды, которую, по моему мнению, мне нанесла Козетта.

«Дом с лестницей» я видела один или два раза и относилась к нему так, как мог бы относиться, скажем, мой отец или миссис Морис Бейли. Большой, старый, грязный и холодный дом с неудобным расположением комнат — кухня на цокольном этаже, все лучшие спальни и гостиные на самом верху — словно специально спроектированный для создания максимального неудобства, с крутой лестницей и опасными окнами. Второй раз я приезжала туда после переезда Козетты, недели через три, но мебель еще стояла там, где ее бросили грузчики; ящики с книгами, фарфором и стеклом оставались не распакованными, на окнах не было занавесок, телефон не работал.

Но когда я попала туда в третий раз, все уже изменилось. Я уезжала, а Козетта была занята, хотя это не очень подходящее слово для такого мягкого, пассивного и праздного человека. За нее все делали другие: Перпетуа, которая по-прежнему приходила к ней, ежедневно совершая путешествие на 28-м автобусе, садовник и мастер на все руки Джимми, бригада рабочих, укладывавших ковры и вешавших занавески. Комнаты не перекрашивали — от этого Козетта отказалась, — но немного выцветшие и обшарпанные стены оказались как нельзя кстати, не позволяя дому выглядеть так, будто он сошел с обложки журнала «Хоумс энд гарденс», хотя жилищу Козетты эта опасность в любом случае не грозила. Как бы то ни было, на окнах висели занавеси из плотного шелка и бархата, римские шторы, австрийские шторы, а также китайские занавеси из бус, с

пасторальными сценами, которые при движении сверкали всеми цветами радуги, а в неподвижном состоянии выглядели по-восточному невозмутимыми. Думаю, Козетта сознательно отказалась от таких тонов, как бежевый, желтовато-коричневый и серый. Дом сверкал яркими красками: синим, алым и пурпурным, а также изумрудно-зеленым и ослепительно-белым. Из гардероба самой Козетты исчезли сшитые на заказ костюмы и хлопковые балахоны, расцветкой напоминавшие скатерть. В тот день, когда я пришла, открыв дверь ключом, который она мне прислала, поднялась по лестнице, теперь устланной кроваво-красной дорожкой, и увидела ее сидящей за письменным столом, на ней было платье из желтого шелка, с ярким узором из белых маргариток, алых роз и зеленых листьев папоротника. И эта перемена оказалась не единственной.

Козетта протянула руки; я, ни слова не говоря, подошла к ней, и мы обнялись. Присланный по почте ключ тронул меня почти до слез — он символизировал доверие. Обняв Козетту, впитывая ее тепло, ее запах, я почувствовала под скользким шелком необычную стройность ее тела.

— Я сидела на диете.

— Вижу, — сказала я.

— Врач рекомендовал сбросить вес из-за повышенного кровяного давления.

Она застенчиво покосилась на меня, стараясь не смотреть в глаза. У меня возникло странное ощущение, что это, конечно, правда, но не вся. Истинная причина стройности крылась в другом.

— Ты что-то сделала с волосами.

Козетта поднесла руку к темно-рыжим локонам.

— Первым делом их красят в естественный цвет, а потом при каждой стрижке, — доверительно сообщила она, — делают чуть-чуть светлее, и в конечном итоге ты превращаешься почти в блондинку. Все седые волосы теряются на общем фоне и становятся не видны.

— Ага, понятно, — сказала я.

Неужели это ее естественный цвет? И вообще, разве у волос бывает такой цвет?

— Парикмахер говорит, что с такой прической я помолодела на десять лет.

Я не собиралась спорить, хотя сама этого не заметила. От неестественного медного оттенка лицо Козетты выглядело усталым, каким никогда не было в обрамлении седых волос, а сама прическа — что хуже всего — больше напоминала парик. Я благородно заявила, что она прекрасно выглядит, и так ей очень идет, чем, похоже, обрадовала ее.

Козетта предложила подняться наверх, посмотреть «мою» комнату, и мне даже показалось, что она с вновь обретенной легкостью вскочит со стула. Но движения Козетты были такими же медленными, словно ей никогда никуда не нужно спешить.

Мы поднялись по лестнице, по пути заглядывая в другие комнаты. Тетушка была в саду, сидела в шезлонге и, вероятно, спала, и мы зашли в ее спальню этажом выше — большое помещение, заполненное обычными для старой дамы вещами: радиоприемник сороковых годов в полированном деревянном корпусе, рисунки на папиросной бумаге и коллаж из почтовых открыток в технике сепии, салфетки на спинках двух кресел. С люстры свисала липкая бумага от мух. Я выглянула в окно, которое хоть и выходило во двор, но представляло собой одну из стеклянных дверей, ведущих на некое подобие балкона. Голова Тетушки среди серой листвы напоминала белую хризантему. Старушка сидела, сложив руки на груди, подняв и вытянув ноги. Наверное, я бы очень удивилась, будь она чем-то занята — например, шитьем. Но Тетушка ничего не делала, просто существовала, нежась в ласковых лучах осеннего солнца, окруженная со всех сторон серыми листьями. Позже я узнала, что дерево дымчатого цвета, отбрасывающее пятнистую тень, называется эвкалиптом, но тогда я этого не знала — как и названий других растений в этом бледном, призрачном саду.

Козетта выделила мне комнату на следующем этаже, только окнами на улицу. Мне достался один из венецианских пролетов. Я все время говорю об окнах, как будто обращала на них больше внимания, чем на форму и размеры комнат. Разумеется, нет. Только последующие события натолкнули меня на мысль, что окна всегда привлекали меня больше, чем остальные особенности «Дома с лестницей», даже сама лестница; причем я замечала не только их размер и форму, но и опасность, грозящую тем, кто к ним приближается. Окна на фасаде были достаточно безопасны из-за широких подоконников и изящных кованых корзин, но с тыльной стороны дома... Какой легкомысленный архитектор спроектировал такие окна — просто стеклянные двери, выходящие практически в пустоту, на узкий оштукатуренный выступ с низким ограждением, через которое мог переступить и ребенок? На верхнем этаже открытое окно превращалось в дверной проем без двери.

В предназначенной для меня комнате стояла кровать и множество еще не распакованных ящичков с вещами. Я начала жалеть, что поступила в педагогическую аспирантуру. По какой-то причине мне захотелось немедленно разобрать и расставить вещи, что совсем для меня не типично.

В небе ярко сияло солнце — наверное, это были последние солнечные деньки перед приходом зимы. На балконе дома напротив, строгом парижском угловом балконе, отличавшемся от балконов на этой стороне улицы, женщина поливала герань. Деревьев на улице было больше, чем машин.

— Ты можешь приезжать каждые выходные, — сказала Козетта.

Спускаясь, мы встретили Диану Касл и какого-то юношу. Их появлению предшествовал громкий хлопок входной двери, от которого завибрировал весь дом, словно по лестнице-позвоночнику пробежала дрожь. Диана поцеловала Козетту, и юноша тоже — к моему величайшему удивлению. Они поднялись в комнату, которая впоследствии получила название «комнаты квартирующих девушек». Я не знаю, кто придумал это выражение — возможно, сама Козетта. Дверь наверху тоже хлопнула. Козетта улыбнулась, и я поняла: она рада, что у нее Диана может чувствовать себя как дома.

— Мне приятно, что тут будет жить девушка, — сказала она мне. — Я бы предпочла видеть на ее месте тебя, но пока это невозможно, пусть живет кто-то другой. Людям здесь, похоже, нравится. Я довольна.

Предполагалось, что Диана будет немного помогать Козетте: ходить в магазин, убирать после вечеринок, считать и упаковывать белье для прачечной и тому подобное, но, разумеется, не убирать в доме. Уборкой занималась Перпетуа. Но если Диана и пыталась выполнять эти обязанности, то быстро бросила — впрочем, как и ее преемницы. Даже имея самые благие намерения, просто невозможно мыть посуду, прибирать или ходить за покупками, когда кто-то (тот, для кого ты это делаешь взамен арендной платы) все время убеждает тебя не беспокоиться, все бросить, говорит, что это ерунда и что лучше просто сесть и поговорить. В доме вокруг Козетты уже успел образоваться невероятный беспорядок, напоминающий распродажу подержанных вещей: самые разные предметы занимали все поверхности, груды лежали на полу. Но этот беспорядок почему-то не вызывал отторжения, а, наоборот, казался милым и помогал гостям чувствовать себя непринужденно.

Большой круглый стол из розового дерева, за которым сидела Козетта, когда я вошла в дом, был завален разнообразными вещами; как выяснилось, она проводила за этим столом большую часть дня. Это был командный пункт ее гостиной, место, из которого она управляла своим «двором». Стол с двумя резными листьями в центре я помнила еще по Велград-авеню, где он вместе с двенадцатью окружающими его стульями занимал почти всю столовую. Там его полировали до состояния, напоминавшего стекло. Блеск

уже потускнел, на поверхности появились белые и темные круги, а также вдавленные следы от ручки, которые образуются при письме на тонкой бумаге, если под нее ничего не подложить. Именно состояние стола, а не все остальные изменения в облике и привычках Козетты, окончательно убедило меня, что она порвала с прошлым, совершила революцию в своей жизни.

Само собой разумеется, я почувствовала — такова человеческая природа — укол страха, и не просто укол, а настоящий приступ возмущения. В молодости мы сами хотим меняться, но все вокруг должно оставаться неизменным. Козетта не вспоминала Дугласа. Может, это вполне естественно, однако я не слышала от нее ни единого слова, ни даже намек о ее утрате или вдовстве. Я не видела в доме ни одной фотографии Дугласа. В тот же день, чуть позже, мы зашли в спальню Козетты — роскошный будуар с большой новой кроватью овальной формы, туалетным столиком в голливудском стиле, круглым зеркалом в окружении электрических ламп и китайскими ширмами из слоновой кости, инкрустированной перламутром. Мебель с Велграт-авеню, словно предназначенная для невесты богача, в том числе кровать для новобрачных с белым кружевным балдахинном, была распределена по всему дому: предмет там, предмет тут, пару стульев для Тетушки, а сама кровать, лишенная украшений, пожертвована для «комнаты квартирующих девушек». На фотографиях в серебристых рамках, которые теперь висели у Козетты, были изображены я, ее брат из Сент-Джон-Вуд, невестка, а также племянница в свадебном платье.

В тот вечер пришли гости, одна молодежь — наверное, студенты, хиппи. Интересно, кто привел в движение этот поток, стоял у его истоков? Не могла же Козетта выйти на улицу и зазывать их, расхваливая прелести дома. Вероятно, движущей силой первоначально выступала Диана, а ее друзья приглашали своих друзей. Мне даже кажется, они приходили сюда потому, что тут все — напитки, по крайней мере чай и иногда вино, еда, если им хотелось есть, сигареты без счета — было бесплатным, они могли вести себя так, как хочется, говорить или молчать, а также всегда могли рассчитывать на кровать или место на полу для ночлега. За всем этим стояла сама Козетта со своей любвеобильностью, которой хватило бы на десять детей.

Эти люди слетались в дом как мухи на липучку Тетушки, привлеченные сладким клеем, но, в отличие от мух, не расплачивались за свою слабость. Козетта сидела за столом, заваленным книгами, телефонными справочниками, листами бумаги, пустыми чашками и бокалами; тут были телефон и радиоприемник, ваза с засохшими цветами,

битком набитая сумочка, очки, сигареты, компактная пудра и лак для ногтей — правда, отсутствовали печенье и шоколад, вредные для новой фигуры. Козетта искала себе возлюбленного.

Тогда я этого не знала, даже не догадывалась. В моих глазах Козетта была матерью всем этим людям, причем невероятно снисходительной — какая мать в шестидесятилетнем возрасте позволит дочери привести на ночь бойфренда или разрешит сыну свернуть сигарету с марихуаной, а когда ее пустят по кругу, затянуться самой? Подобные вещи Козетта не только позволяла, но и поощряла, снисходительно улыбаясь. Была ли ее улыбка особенно сердечна, когда она обращалась к двум молчаливым бородатым парням, флегматичному, который сидел со склоненной головой над книгой Халиля Джебрана,^[29] или беспокойному, часами извлекавшему из гитары нестройные аккорды? Если и так, то я приписывала ее улыбку другой причине; мне и в голову не приходило, что одиночество и почти мучительное томление заставили Козетту считать потенциальными любовниками парней, которые были на тридцать лет моложе ее. Только позже, на Рождество, когда в один из вечеров мы каким-то чудом остались вдвоем, она мне все объяснила. Именно тогда она говорила о «распутстве» и краже мужей.

— Жаль, что мне не тридцать, Лиззи. В этом возрасте я уже одиннадцать лет была замужем. Ты же знаешь, я никогда не работала. В тридцатые годы многие девушки не работали, не только замужние женщины. Жили дома с матерью, пока не выйдут замуж, причем найти мужа считалось большим везением — чем раньше, тем лучше. Тогда не было всех этих разговоров насчет не торопиться и подождать с замужеством, пока не станешь старше, более зрелой и все такое. Мне завидовали; все считали везением обручиться в восемнадцать и выйти замуж в девятнадцать — мне действительно завидовали. Теперь это кажется безумием — так все изменилось.

— Ты жалеешь? — Разговор вызывал у меня некоторую неловкость.

— А что мне еще оставалось? Такие были времена.

— Кажется, социологи называют подобное поведение культурно-специфическим, — сказала я, демонстрируя образованность.

Козетта пожала плечами и тихо произнесла, потупив взгляд:

— Я бы предпочла, чтобы и волки были сыты, и овцы целы.

Даже в двадцать один год я понимала: нельзя говорить Козетте, что ей не тридцать и молодость уже не вернешь. Она наклонилась вперед, пристально посмотрела на меня, потом прижала кончики пальцев к щекам и приподняла кожу, пока не исчезли складки в уголках рта и не стали видны

скулы. Я не могла понять, что она делает, хотя догадывалась, что от меня ждут каких-то комментариев. Я подняла взгляд вверх, потом опустила вниз и заморгала, ощущая неловкость, которую обычно чувствуют молодые, когда старики высказывают желания, не соответствующие их возрасту. Я не знала, что имеет в виду Козетта, но мне казалось, что это связано с унижением. Она опустила руки, и ее лицо снова обвисло.

— У меня много денег, — сказала Козетта. — Я богата. И могу делать с деньгами все, что захочу, — разумеется, в пределах разумного, правда?

— Конечно, — подтвердила я, ощутив твердую почву под ногами. Но Козетта снова потянула меня в зыбучие пески:

— Многие женщины среднего возраста находят себе мужчин. В нынешние времена женщина под пятьдесят совсем не такая, как в те дни, когда я выходила замуж. Мой отец говорил, что тридцать пять — это средний возраст, а пятьдесят — старость. Тебе это кажется нелепым, правда?

Не особенно. По-моему, все так и есть. Я не знала молодой Козетты, познакомилась с ней, когда ей было уже за пятьдесят, и поэтому ответила, что мне нравится, как она выглядит, очень мило и прелестно, причем несколько не кривила душой. Мне действительно нравилось ее усталое, породистое лицо, слегка осунувшееся из-за диеты, пухлые, не знавшие работы руки, розовые отполированные ногти, сухие рыжеватые волосы, которые парикмахер, выполняя обещание, постепенно осветлял до розовато-белокурых, и платье с темно-синим кружевом. Но я не догадалась сказать ей то, что она хотела услышать, единственное, чего она от меня ждала; мне и в голову не пришло, что Козетта обрадуется, если я заявлю, к примеру, что она выглядит ужасно, но молодо, или покритикую прическу, платье, тон губной помады, а потом нехотя признаюсь, что она выглядит моложе своих лет. Я бы с радостью солгала, если бы догадалась.

Потом в комнату вошла Тетушка. Она обязательно стучала, прежде чем войти, хотя Козетта изо всех сил старалась отучить ее от этой привычки. Старушка всегда садилась на одно и то же кресло у окна, далеко от стола — довольно жесткое кресло с подголовником и прямой спинкой, обитое любимым красным бархатом Козетты. Козетта всегда хлопотала вокруг Тетушки, устраивая ее поудобнее и тщетно разыскивая кого-нибудь в «комнате квартирующей девушки» — по-прежнему Дианы Касл, разумеется, отсутствовавшей, — чтобы принести рюмочку хереса или чашку чая. В тот раз за вином для Тетушки сходила я, а когда вернулась, обнаружила в гостиной целую толпу, пять человек, суммарный возраст которых не превышал ста лет и которых Козетта неспешно и официально

представляла своей престарелой двоюродной тетке:

— Познакомься, Тетушка, это Гэри, Мэрвин, Питер, Фей и Сара. Я хочу, чтобы вы все познакомились с моей Тетушкой.

Понимаете, в их глазах это должно было делать ее моложе. У пожилых и даже у людей среднего возраста нет теток. Конечно, это эксплуатация, но не жестокая, а абсолютно безвредная. Никакого сравнения, скажем, с поведением испанских Габсбургов, державших при дворе карликов, чтобы подчеркнуть свой высокий рост и красоту. Достоинство Тетушки не страдало, ее никто не унижал. Она прекрасно себя чувствовала в роли придворного карлика и, как ни странно, выглядела моложе, чем во время нашей последней встречи. Тихая, любезная, почти всегда молчащая, она сидела у окна в кресле с подголовником, но смотрела не на улицу, скрытую красными бархатными шторами; ее взгляд был прикован к мягким складкам вишневого цвета.

Когда месяц спустя я снова увидела Козетту, она уже сделала подтяжку лица, которое теперь покрывали лилово-желтые синяки, так что бедняжка выглядела как мальчишка после первой драки. К Пасхе все эти усилия принесли плоды, и у Козетты появился любовник, мужчина, называвший себя Айвором Ситуэллом.

Именно он вновь свел меня с Белл — правда, косвенным образом и гораздо позже. Поначалу казалось, что от него не стоит ждать ничего хорошего. Помню, какое потрясение я испытала, обнаружив его в «Доме с лестницей»; мне стоило огромного труда сдержаться и не выложить Козетте все, что я о нем думаю.

Она не рассказала мне о нем заранее. Поначалу я его не заметила, поскольку салон Козетты пользовался популярностью и в доме всегда толпились люди: одни приходили, другие уходили, и красный ковер на лестнице уже начал истираться. Кто-то даже поселился в свободных спальнях, а по пути в гостиную Козетты через открытые двери комнат первого этажа нередко можно было увидеть четверых или пятерых незнакомцев, которые кружком сидели на ковре, поставив в центре свечку, и один из них играл на ситаре или окарине.^[30]

Козетта тоже поддавалась увлечению свечами, которое охватило всех в шестидесятые годы. (Через несколько лет, когда начались отключения электроэнергии, это очень пригодилось.) На лестнице обычно включали свет, но в гостиной тьму рассеивало только пламя свечей. Они располагались в двух канделябрах из чугуна и бронзы, купленных на Кингз-роуд, а также на блюдцах и на завинчивающихся крышках банок. Мне даже удалось разглядеть силуэт Тетушки в кресле с подголовником, обращенном не к окну, а к комнате, и несколько нечетких фигур, распростертых на подушках на полу или сидевших за круглым столом. Огромная люстра — нечто призрачное, проступавшее из темноты, — не горела, и в ней поблескивали нити уже успевшей образоваться паутины.

Я знала, что в этой компании — впрочем, как и в любой другой — нельзя обсуждать новое лицо Козетты. Прежнее мне нравилось больше, но я не любовник Козетты, а Айвор Ситуэлл другого не видел. Лишившееся выразительности, чем-то напоминающее яйцо, туго натянутое и тщательно отполированное, новое лицо вдруг расцвело прежней улыбкой. Я была побеждена. Поцеловала гладкую кожу, которая ничем не отличалась от старой, морщинистой, — я имею в виду тот же запах, сложный цветочный аромат Жана Пату. Волосы Козетты почти достигли желаемого оттенка, теперь они были цвета сухого песка. На среднем пальце правой руки у нее поблескивало кольцо с гелиотропом. Оно снова вошло в моду, но по-прежнему ей не подходило.

Меня познакомили с присутствующими, но имен я не запомнила. Полным именем представили одного Айвора — возможно, потому, что у него знаменитая фамилия,^[31] которую такая, как я, должна была, по крайней мере, заметить, даже если бы удержалась от замечания. Ради сохранения интриги мне следовало промолчать, но я не стала этого делать. Прошло много времени, прежде чем выяснилось, что Айвор не был «тем самым» Ситуэллом и не имел никакого отношения к знаменитой семье — Ситуэлл не настоящая его фамилия. Он выбрал ее, когда уехал из родительской квартиры в Нортгемптоне. Один из Ситуэллов — скорее всего, Сэчеверелл — жил в поместье в соседней деревне.

Айвор был поэтом. Козетта сообщила мне это, когда знакомила нас. Еще она сказала, что у него чудесные стихи и что завтра она мне их покажет. Айвор был худым, нездорового вида мужчиной с костлявым желтоватым лицом и очень длинными каштановыми волосами. В то время большинство молодых людей носили длинные волосы, но Айвор был уже не очень молод — ближе к сорока, — и на макушке у него сверкала лысина. Он сказал: «Привет», — тогда все так здоровались, и теперь это словечко выдает людей, чья молодость пришлась на шестидесятые, но Айвор пробормотал приветствие, не поднимая головы от книги, которой был занят. Я говорю «занят», а не «читал», потому что он стоял и смотрел вниз, на раскрытую на столе книгу. Это был альбом, сборник лучших снимков какого-то фотографа, довольно интересных портретов и скучных (на мой взгляд) натюрмортов. Предметы в натюрмортах абсолютно не сочетались друг с другом, и Айвор Ситуэлл с восхищением взирал на фотографию с изображением двух пустых молочных бутылок с засохшими на стенках остатками молока, которые стояли рядом с мертвой рыбой, помещенной в птичью клетку.

Айвор принадлежал к тому типу людей, которые решают, кто из компании достоин внимания, а кто нет. Я относилась к последним. В их число также входили Тетушка и все, кто расположился на полу, за исключением самой красивой девушки. Айвор повернулся к Козетте.

— Какая чувственная, нежная линия, — сказал он, ткнув грязным пальцем в стенку одной из молочных бутылок. — Ты не находишь ее почти невыносимо волнующей?

Козетта с улыбкой согласилась:

— Да, очень мило, дорогой.

Я знала эту улыбку, означавшую лишь симпатию к собеседнику, желание угодить, доставить удовольствие.

— Конечно, мило, но разве она не «волнует кровь»?

Мне показалось, что я уловила движение Тетушки, нечто вроде испуга и удивления, но потом поняла, что старушка крепко спит и просто дернулась во сне. Айвор взял книгу и положил ее на колени Козетте. Она должна была не просто взглянуть, а внимательно изучить фотографию. Айвор стоял сзади, держа свечу и объясняя. А потом расплескался свечной воск. Козетту всегда считали неуклюжей, вероятно, из-за медленных и плавных движений, однако на самом деле она была очень ловкой, проворной и грациозной. Козетта подняла руку со сверкающим зеленым перстнем, и Айвор передал ей свечу. Наверное, она подняла руку вовсе не за этим, скорее хотела взять его за руку; как бы то ни было, они уронили свечу на раскрытую книгу, забрызгав ее воском.

— Неуклюжая королева, — воскликнул Айвор. — Посмотри, что ты наделала!

Именно тогда я поняла, что они любовники.

Обычный гость никогда бы такого не сказал. Я еще не привыкла к его манерам и, разумеется, посчитала такое поведение непростительным. А вот Тетушке уже пора было бы привыкнуть. Голос Айвора разбудил старушку, и ее сонные старческие глаза смотрели на него с невинным изумлением. Никто из сидящих на полу не обратил внимания, как, впрочем, и двое за столом, раскладывающие карты Таро.

— Дорогой, мне ужасно жаль, — сказала Козетта. — Не понимаю, как это получилось.

Айвор поднес книгу к глазам:

— Знаешь, что мне иногда кажется? Мне кажется, что ты страдаешь каким-то нервным заболеванием, может, болезнью Паркинсона или чем-то в этом роде.

У меня внутри все похолодело. Но я ничего не могла с собой поделать. Козетта поймала мой взгляд — как обычно, когда произносились подобные вещи. Я знала, что мелькнувшая на ее лице тень страдания и легкое покачивание головы предназначены мне, но Айвор воспринял их как дальнейшие извинения.

— Нормальная женщина не бывает такой неуклюжей, даже во время приступов, которые случаются во время менопаузы.

Тетушка встала, взяла свою книгу, сумочку, очки и направилась к двери. Я впервые видела, как она что-то явно не одобряет, хотя, возможно, старушка просто устала. Козетта перехватила ее по дороге и захлопотала:

— С тобой все в порядке, Тетушка? Тебе что-нибудь нужно?

— Нет, спасибо, дорогая. Я иду спать.

Дверь закрылась так, как ее всегда закрывала Тетушка: очень

медленно, с преувеличенной осторожностью, с едва слышным щелчком, словно дом был полон спящих инвалидов. Я сидела за столом и наблюдала за ними, Козеттой и Айвором. Примирительным тоном она успокаивала его, обещая, что завтра же купит новую книгу. Тогда я не знала, что испорченный воском экземпляр был ее подарком и вместе с одеждой, которая была на Айворе, представлял собой практически все его имущество. Данное обстоятельство, конечно, не оправдывало Козетту, но оскорбления Айвора в этом свете выглядели еще более возмутительными. Я размышляла над своим открытием, которое стало для меня откровением. Я была шокирована.

Наверное, моя реакция напоминала реакцию ребенка, обнаружившего, что у матери роман. Основы жизни потрясены, твердая почва выбита из-под ног. Может, все дело в том, что любовник Козетты оказался гнусной личностью? Возможно, но этим дело не исчерпывалось. Любой на моем месте был бы шокирован. Однажды Козетта призналась мне в желании вернуть то время, когда ей было тридцать, и стать «распутницей», уводить чужих мужей, но я полагала, что между желаниями и действительностью существует естественный разрыв. Наивная, я верила, что диета, окраска волос, подтяжка лица — все это делалось исключительно ради самоуважения. Пелена спала с моих глаз, и я заглянула в мир, вызывавший у меня отвращение, мир, в котором, как мне казалось, старики обладали желаниями и могли испытывать «волнение в крови».

Козетта никогда прямо не говорила мне, что Айвор ее любовник. Он, естественно, тоже. С таким подходом, как у него, я не сталкивалась ни до, ни после. Козетта на тринадцать лет старше и поэтому не имеет на него никаких прав, а сам он свободен от всего — верности, каких-либо обязательств или даже простой вежливости. Другими словами, ей повезло, что он у нее есть, а он имеет право использовать ее как хочет и получать от нее все, что пожелает. Чуть позже, когда Айвор решил удостаивать меня внимания — не потому, что Козетта считала меня почти дочерью, а потому, что я была молода и довольно красива, — он как-то задумчиво обронил:

— Понимаешь, в настоящий момент у меня нет возлюбленной, никого, с кем звучит музыка.

Козетта, вероятно, не считалась. Тем не менее они делили постель — большую овальную кровать в спальне Козетты. Я даже видела их там вместе. Однажды утром нам привезли что-то из мебели, как мне показалось, по ошибке: предмет никак не соответствовал вкусам Козетты, ни старым, ни новым. Сама она, естественно, спала. Подобно своим юным гостям, на которых ей очень хотелось походить, Козетта спала допоздна и

редко вставала раньше полудня. Я поднялась к ней, преодолев четыре лестничных пролета до третьего этажа, робко постучала в дверь спальни. И внутренне сжалась от ощущения чудовищности своего поступка — вторжения в личную жизнь.

Но Козетта нисколько не смутилась. Может, она даже притворилась спящей, чтобы я, постучав еще раз, была вынуждена открыть дверь и войти? Она как будто обрадовалась, что я видела ее в постели с молодым любовником, в ситуации, которая подтверждала их отношения. Айвор лежал на животе, завернутый в простыни — эгоистичный мужчина, всегда тянувший простыню и одеяло на себя; его лысая макушка блестела. Волосы Козетты, которые она раньше закалывала на ночь, теперь разметались по плечам. На ней была ночная рубашка с черным кружевом и тонкими бретельками, явно предназначенная для молодых женщин.

— Не шуми, дорогая. А то разбудишь Айвора. — Прижав палец к губам, Козетта с преувеличенной осторожностью выбралась из постели.

Айвор повернулся и захрапел.

Увиденное меня потрясло. В прошлом я, как это свойственно подросткам, иногда представляла Козетту и Дугласа в постели. Мне удавалось представить, как они занимаются сексом, чинно любят друг друга — с минимумом движений, без слов, в темноте, — пока не достигают тихого, никак внешне не проявляющегося взаимного удовлетворения. И только недавно, пару лет назад, я поняла, что именно так большинство детей представляют секс между родителями.

Гораздо труднее было представить Козетту вместе с Айвором — такого рода картины я от себя гнала. Кроме того, я уже повзрослела, и подобные вещи меня больше не занимали. Я считала, что Айвор просто доставляет Козетте удовольствие, проявляя не больше энтузиазма, чем жеребец-производитель, — хотя могла и ошибаться. Возможно, Айвор не был влюблен в Козетту и мечтал о какой-нибудь юной «возлюбленной», однако влечение он вполне мог испытывать. Томность, утонченная нежность, атмосфера приглашения к беззаботной любви — все это могло быть очень соблазнительным. И конечно, принесли плоды усилия Козетты, направленные на ее внешность. Одна я воспринимала ее так, как до преобразования, — полной, с седыми волосами, в сшитых на заказ костюмах. Одна я видела в ней мать.

Нельзя сказать, что Козетта его любила. В то время я была не в состоянии взглянуть правде в глаза, но теперь понимаю, что Козетте был нужен собственный мужчина, которого можно предъявить окружающим, с кем она может появляться на людях и, вероятно, даже спать. Странно, что

подобную идею применительно к своим сверстникам — скажем, к себе или к Диане Касл — я воспринимала абсолютно естественно. Диана, Фей и хорошенькая девушка, сидевшая на подушках на полу, та, с которой заигрывал Айвор, всюду пользовались свободой нравов, царившей в шестидесятые годы, и спали, с кем хотели. Любовь тут была ни при чем. С какой стати? Они выяснили: чтобы получать удовольствие, совсем не обязательно любить друг друга. И это было нормально — я и сама так думала. Но у меня в голове не укладывалось, что Козетта может придерживаться тех же взглядов, я просто гнала от себя эти мысли. Теперь я точно знаю, что Козетта нежно любила Дугласа, была ему хорошей и верной женой, горько оплакивала его смерть, однако по-настоящему любила всего один раз в жизни, и эта любовь не имела отношения ни к Дугласу, ни к Айвору.

Мне жаль — действительно жаль, — что я не могу сказать ничего хорошего об Айворе Ситуэлле, не могу найти в нем ни одной привлекательной черты, компенсирующей недостатки, которая примирила бы меня с его присутствием в «Доме с лестницей» и как-то объяснила непостижимую привязанность к нему Козетты. Он был уродлив, подл, неблагодарен и груб, так же невежлив с Тетушкой, как со мной или Дианой, способен ласкать Фей в присутствии Козетты, а потом подходить и, никого не стесняясь, просить у Козетты денег. Айвор ничего не делал по хозяйству и обращался с Перпетуа как с прислугой в викторианском доме. Возможно, он был хорошим поэтом. Не могу сказать — просто не знаю. Козетта, как и обещала, показала мне томик его стихов. Они были изданы, но получил ли он за них гонорар, в чем я в то время несколько не сомневалась? Или какая-то женщина, предшественница Козетты, оплатила их публикацию?

Стихи были не так уж плохи — в том смысле, в каком плоха Пейшенс Стронг.^[32] Они показались мне довольно складными, без блеклых чувств, выразившихся посредством банальностей. И то обстоятельство, что я ничего в них не поняла, вовсе не свидетельствует против них. Возможно, я и теперь их не пойму, если вдруг удастся достать экземпляр той книги. В конце концов, в шестидесятые годы люди считали Пинтера^[33] непонятным и нелогичным.

Один или два раза, вечером, Козетта читала стихи Айвора вслух всем присутствующим. Только в те минуты, когда она читала его стихи, Айвор смотрел на нее так, как обычно смотрят любовники, то есть не безразлично и не раздраженно.

Той весной я прожила у Козетты две недели. В программу аспирантуры входила преподавательская практика, и тут мне повезло — меня направили в школу в Северном Кенсингтоне. Времена изменились, но даже тогда это был неблагополучный, убогий и грязный район, опасный по ночам. Дети там, как и теперь, представляли собой пеструю смесь, и чтобы их чему-то научить, требовалось бегло говорить на гунджарати и бенгали. Но у школы имелось одно неоспоримое преимущество — от Аркэнджел-плейс до нее можно было добраться пешком.

По вечерам Козетта часто приглашала всех нас на ужин. Наверное, истинная причина такой щедрости заключалась в том, что Айвор не желал оставаться с ней вдвоем. Без компании они почти никуда не ходили. Козетта собирала всех, кто оказывался под рукой: меня и Фей, которая стала «квартирующей девушкой» — Диана уехала в Корнуолл к своему бойфренду, — парня с ситаром и парня с окариной, а также брата Перпетуа, ирландца из графства Лейиш, который приехал в Лондон искать счастья и получил комнату в доме на Аркэнджел-плейс, «пока ты что-нибудь себе не подыщешь, дорогой». Айвор, разумеется, тоже присутствовал. Мы всегда выбирали какое-нибудь дорогое, эксклюзивное заведение: «Марко Поло» на Кингс-роуд, «Сан-Фернандо», «Пезантри», «Вилла деи Цезари». Изредка обедая в «Голодной лошади» на Фулем-роуд, Козетта думала, что попала в трущобы.

С Велграт-авеню она привезла с собой большой старей «Вольво», который оставляла на улице. В те времена на узких улицах Ноттинг-Хилла еще оставалось место для парковки. Будучи в чем-то старомодной женщиной, она никогда не садилась за руль, если Айвор был с ней, а перед выходом из дома отдавала ключи ему. Машину он водил из рук вон плохо. «Вольво», который после многих лет медленной, аккуратной езды Козетты выглядел как новенький, был уже изрядно поцарапан и лишился одного из задних фонарей. Дорогу в Челси по Эджвер-роуд, а затем на юг по Парк-лейн не назовешь самой легкой или самой короткой, но именно ее выбирал Айвор. Возможно, он хотел проехать по Москоу-роуд, чтобы показать нам всем дом, где когда-то снимала квартиру Эдит Ситуэлл, «кузина Эдит», как он ее величал. Остальных Ситуэллов Айвор не менее фамильярно называл «Джорджи» и «Сэчи». Тогда я не знала, что у него нет абсолютно никаких оснований считать их родственниками. Заинтересовавшись, я даже просила его поделиться воспоминаниями или рассказать что-нибудь интересное о знаменитой троице. Он поведал несколько историй, которые я потом обнаружила — практически дословно — в книге Осберта Ситуэлла «Смех в соседней комнате». Я поняла одну вещь. Если требуется привести Айвора

в хорошее настроение, нужно либо хвалить его стихи, либо расспрашивать об этих людях, которых мы все считали его родственниками.

В тот вечер мы поехали в «Марко Поло», что случилось довольно часто, и именно там, еще сама не подозревая об этом, я услышала о Белл.

В те дни китайских ресторанов было не так много, как теперь, — по крайней мере хороших. Мы с удовольствием расселись за довольно большим столом, вмещавшим нас всех, и ковырялись в тарелках с редким для тогдашнего Лондона блюдом, уткой по-пекински. Я сидела между Домиником и парнем по имени Мервин; по другую сторону от Доминика расположилась Фей, а за ней Айвор. Наслаждаясь едой, я думала, как странно все это выглядит по сравнению с благопристойными обедами, которые Козетта и Дуглас устраивали для родственников и соседей с Веллгат-авеню. Кое-кто из этих людей изредка появлялся на Аркэнджел-плейс, и их изумление, выражавшееся в широко раскрытых глазах и робких расспросах, намного превосходило мое. Они были старше и консервативнее. И думали, что Козетта рехнулась.

Обед в «Марко Поло» или любом другом месте вызывал примерно такое же изумление у юных гостей Козетты. Они явно недоумевали, к чему все это, зачем Козетта это делает, а некоторые мучились вопросом: сколько им придется заплатить? Особенно это было заметно по ирландцу, младшему из многочисленных братьев и сестер Перпетуа. Доминик приехал в Лондон в поисках работы, и когда сестра сказала, что нашла ему жилье, то, вероятно, ожидал увидеть жалкую комнатку в доме без удобств, привередливую домохозяйку и убогие окрестности. Он то ли не мог поверить в свою удачу, то ли боролся с ужасными подозрениями. Подобно нищему, которого подобрали на улице и привели на пир богачей, Доминик во всем искал расчет. Рано или поздно мотивы Козетты обнаружатся. Вне всякого сомнения, это какой-то грандиозный и сложный розыгрыш, который закончится унижением, или Козетта просто ошибается, принимает его за кого-то другого, а когда правда откроется и она узнает, что он работает по необходимости, а не по зову сердца, что он беден и почти неграмотен, привык к рациону из поджаренного хлеба и чипсов, которыми его кормила мать, то выставит на посмешище и выдворит за дверь. По крайней мере, мне так казалось. Это я прочла на его лице, поскольку в то время Доминик ничего не говорил, кроме «спасибо», а потом, когда у меня появилась возможность спросить, я не стала этого делать. Его красивое смуглое лицо было озабоченным, но расцветало от улыбки, а улыбался он всякий раз, когда к нему обращались, и его глаза — таких синих глаз я в жизни не видела — светились благодарностью и

страхом.

Парень по имени Мервин старался выжать из ситуации все, что только можно. Полагаю, Фей тоже. Это я теперь так думаю, но тогда не верила, что люди способны сознательно вести себя подобным образом. Считала, что такое происходит только в старых романах, авторы которых не разбирались в тонкостях человеческой натуры. В то время я не читала Бальзака и еще не увлеклась Генри Джеймсом. Поэтому когда я увидела, как Фей встает, взмахивает длинными ресницами, смотрит на Айвора, вытягивает голые руки над головой, демонстрируя грудь, улыбается ему и шепчет что-то неприличное и провокационное — улучив момент, когда Козетта отлучится в туалет, — то посчитала эти действия невинными и случайными. Точно так же я приписала случайности и ее дальнейшее поведение, когда она повернулась спиной к Айвору и переключила внимание на Козетту, поправив ей выбившуюся из-под заколки прядь волос на макушке, похвалив духи — Фей вдохнула их аромат с закрытыми, словно от восторга, глазами, — и отправилась на поиски официанта, чтобы потребовать кувшин воды для Козетты. Мервин использовал другие методы: ел и пил как можно больше, гораздо больше, чем влезает в обычного человека — Козетта всегда просила счет и без слов оплачивала его, едва взглянув, — жаловался, что у него закончились сигареты, громко заявлял, как ему нравится куртка на мужчине в противоположном конце зала или как ему хочется иметь какую-то определенную ручку или зажигалку. Мне все это казалось примитивным.

На столе у Козетты — и дома, и в ресторане — еды и напитков всегда было больше, чем нужно; бутылка или две оставались недопитыми, сигареты тушились недокуренными, а нераспечатанные пачки лежали на скатерти; вино оставалось в бокалах, шоколадки — на блюдах. Если в компании присутствовал Гэри, парень, игравший на экзотических инструментах, он собирал все остатки и складывал в хозяйственную сумку, которую специально брал для этой цели. Насколько я знаю, это был первый пакет для остатков, появившийся в Лондоне. Кроме сумки, Гэри приносил пластмассовый контейнер «Тапперуэр», куда складывал ростки фасоли и лапшу, в том числе то, что осталось на чужих тарелках.

Через несколько дней я впервые стала свидетелем, как уничтожаются эти остатки, и видела, как Гэри с позеленевшим после четырех стаканов кирша лицом шел в ванную, где его тошнило. В тот раз Айвор сжег пятифунтовую купюру, желая продемонстрировать свое презрение к деньгам.

— У тебя есть пятерка? — спросил он Козетту.

Та не колебалась. Купюрой, которая теперь почти ничего не стоит, тогда можно было оплатить недельную аренду комнаты — лучшей, чем мог позволить себе Доминик. Айвор выхватил деньги у нее из рук. Он рассуждал о богатстве «своей» семьи и о том, как он рад, что в результате какой-то юридической ошибки той ветви семейного древа, к которой принадлежал он сам, ничего не досталось. Разглагольствовал о том, что деньги портят людей, делают их эгоистами. Впоследствии я заметила, что только глубоко эгоистичные люди рассуждают о себялюбии других. В тот же день, только раньше, Айвор предложил Козетте финансировать поэтический журнал, в котором он видел себя редактором. Козетта не отказала прямо, только заметила, что ей будет трудно быстро собрать такую большую сумму.

— Как вы думаете, почему мы называем филистимлянами людей, которые сопротивляются всему новому? — спросил он нас, зажав купюру в руке.

Никто ему не ответил — либо не знали, либо не посчитали нужным.

— Возможно, потому, что до наших дней не дошло ни одного документа на их языке, — сказал Айвор. — Не исключено также, что долгое время филистимляне сохраняли монополию на выплавку железа — единственное их умение, о котором достоверно известно. — Он посмотрел на Козетту и свободной рукой придвинул к себе свечу, которую только что зажег официант. — Но как сформировалось современное значение этого слова?

Козетта была чрезвычайно терпимой и доброжелательной, умела скрывать страдания, так что даже казалась бесчувственной. Больше всего она боялась предательства, но Айвор, который якобы не давал ей никаких обещаний или гарантий, никак не мог ее предать. Она не любила споров и всегда выступала в роли миротворца.

— Расскажи, Айвор, — попросила Козетта. — Как интересно. Я не знала.

— Использовать этот термин для обозначения людей, не разделяющих либеральных взглядов, с интересами, лежащими в основном в материальной области, впервые стали немецкие студенты в девятнадцатом веке — в отношении тех, кто не учился в университете. Вроде тебя. — Айвор вполне мог отнести к этой категории и себя самого, поскольку утверждения об учебе в Оксфорде — да и вообще где-либо — после того, как в возрасте шестнадцати лет он бросил среднюю школу в Нортгемптоне, не имели под собой никаких оснований. Впоследствии я выяснила, что эти сведения о филистимлянах были собраны заблаговременно. Козетта,

будучи невысокого мнения о своем уме и явно недооценивая его, не обращала ни малейшего внимания на подобные оскорбления. Айвор тоже это заметил и, сообразив, что ошибся в выборе жертвы и уязвимого места, направил следующий удар в болевую точку. — Не подумай, что я тебя в чем-то виню; это не в твоей власти. Ты родилась слишком давно. — Он повернулся к остальным. — В ее время женщин просто не допускали к высшему образованию. — Наклонившись вперед, он сунул сложенную банкноту в пламя свечи и прикурил от нее. — Естественно, на первом месте у них материальное, однако полезно показать им, как, — пауза, — мало, — еще пауза, — значат, — снова пауза, — эти вещи.

Его усилия по большей части пропали даром, поскольку, похоже, одна я заметила, как густо покраснела Козетта. Остальные заворуженно, словно ослепленные светом фар животные, смотрели на пламя, пожиравшее пятифунтовую купюру. За исключением Гэри, который издал какой-то жалобный звук, подался вперед и попытался выхватить деньги из руки Айвора. Все посетители ресторана смотрели на нас. Айвор смеялся, сжимая пальцами обгоревший клочок бумаги и втягивая ноздрями дым. Я пыталась разглядеть, сохранилась ли металлическая полоска, обязанная присутствовать в каждой настоящей банкноте, но видела лишь хлопья темно-коричневого пепла. Фей откинулась назад, прижала голову к плечу Айвора, восклицая: «Потрясающе, потрясающе!» — Гэри с мокрыми от слез щеками мрачно складывал остатки в пластиковый контейнер, а Доминик ошеломленно бормотал: «Боже милосердный», и мне показалось, что на лице Козетты мелькнул страх, который можно было расшифровать примерно так: «Что я тут делаю? Во что я ввязалась?» Мне так показалось, хотя я, конечно, могу и ошибаться.

Она, как обычно, оплатила счет, почти не взглянув на него. Добавила щедрые чаевые — тоже как обычно. Мы вышли на Кингз-роуд, и Айвор предложил всем вместе пойти в питейное заведение в Южном Кенсингтоне под названием «Дрэйтон». Я видела, что Козетта страдает — у нее болела голова. Козетта в своей яркой одежде, которую она теперь носила — в тот вечер это была красная шелковая юбка и красная шелковая куртка без рукавов поверх блузки в цветочек, — в резком, ядовитом свете неоновых фонарей выглядела старой и уставшей. Подтяжка лица почти не исправила опустившиеся уголки губ. Я не стала возражать против похода в клуб, поскольку на меня все равно никто не обратил бы внимания, и, кроме того, мне хотелось туда пойти — я была молода и хотела жить. В тот период я проходила стадию безрассудства, через которую, наверное, проходят все, на кого смертельная болезнь может обрушиться через месяц, через год или на

следующее утро.

Козетта и не подумала отказываться. Она приняла роль молодой женщины и должна играть ее до конца. Однако ей не удалось изобразить энтузиазм, и Айвор, чрезвычайно чуткий к подобным вещам, сразу все понял; он увидел, что Козетта устала, страдает и не в состоянии скрыть этого, а способна лишь молча соглашаться. Эта черта ее характера — покорность — особенно злила Айвора, который принимал ее за безразличие богатой женщины. Если у тебя столько денег, то можно ни о чем не волноваться и ничем не интересоваться — достаточно одной покорности. Мне кажется, он воспринимал все именно так. Айвора пожирала зависть и жадность, и ради денег он, вне всякого сомнения, женился бы на Козетте. Кто-то говорил Белл, а та потом рассказала мне, что уже тогда Айвор был женат на католичке, которая не могла дать ему развод. Новый закон, облегчивший разводы, приняли только года через два.

Айвор злился, а злость делала его либо мстительным, либо угодливым. В тот вечер он был угодливым. В машине по дороге к Дрэйтон-Гарденс он принялся рассуждать о женщинах, о типах женщин, которые его восхищают. По какой-то причине ему меньше всего нравился тот тип, к которому принадлежала я, — маленькие, хрупкие, темноволосые и смуглые. К тому времени, когда мы вошли в клуб, в который Козетте пришлось вступить, уплатив членский взнос, поскольку никто не мог подтвердить членство Айвора, он подробно описывал, почему ненавидит таких женщин. Я очень удивилась, когда за меня вступился Доминик, которого я очень не любила.

Больше всего Айвору нравилась внешность Фей.

— Высокие и не очень худые, — говорил он, — с пышными белокурыми волосами, но не желтыми, ни в коем случае не желтыми. Серые глаза, большие серые глаза, короткий нос и чувственный рот.

Ирония заключалась в том, что, описывая Фей и глядя на Фей, Айвор одновременно описывал Козетту, по крайней мере, ту Козетту, которая пыталась — и не без успеха — придать себе новый облик. Не знаю, как остальные, но Козетта это поняла и приободрилась. Глаза ее засияли, на губах появилась слабая улыбка. Как мне кажется, вовсе не потому, что ее тронули слова Айвора, поскольку она уже перестала обращать внимание на его слова и поступки — его время прошло, — а потому, что он как-никак был мужчиной и рассуждал о женщинах, похожих на нее, называя их желанными, чем невольно возвращал ей юность.

Фей тоже наслаждалась его речью. Она думала, что восхваляют лично ее, и, возможно, понимала, что ей немного льстят, поскольку она была не

очень высокой, а нос у нее был курносый. Мы сидели за круглым столом и пили коктейль под названием «Сингапурский слинг», когда на сцену вышла девушка и стала исполнять песни Эдит Пиаф — по утверждению Айвора, на плохом французском. Мне певица понравилась, о чем я сказала вслух. Он бросил на меня уничижительный взгляд, такой театральный, что я презрительно рассмеялась. Раньше я никогда не смеялась над Айвором. Может, просто трусила, а теперь почувствовала, что его звезда закатилась? Возможно, но как бы то ни было, я засмеялась, и ко мне вдруг присоединился Доминик, сначала нерешительно, а потом все громче и громче, пока не разразился безудержным хохотом.

— Я ее знаю, — высокомерно заявил Айвор. — Встречал на вечеринке у приятеля, и это самая красивая женщина, которую я когда-либо тут видел. Она снимает комнату у моих друзей. — Айвору это явно нравилось. Я не сомневалась, что он сочиняет. Моя уверенность росла вместе с его злобой. — По сравнению с ней любая женщина в этом зале выглядит потрепанной старой шлюхой. — Козетта замерла, словно громом пораженная. Фей тоже была шокирована, и ее лицо превратилось в гротескную маску пьяного изумления, а на меня напал истерический смех, и мне стоило большого труда сдержать его.

— Дочь богов, — сказал Айвор. — Высокая, словно богиня, и белокурая, словно богиня.

— Ты все это выдумал? — Мервин смотрел на него с благоговением.

— Конечно, нет, тупое ничтожество. Я настоящий поэт. Можешь мне поверить, у нее в точности такое лицо, как я описывал, только доведено до совершенства, как будто у остальных... — Он посмотрел на Фей. — Как будто у остальных просто плохие копии, восковые маски. Скандинавское лицо, лицо девушки викингов — «ради которого можно отдать молодость, посвятить ему жизнь, встретить с ним смерть»^[34] — и это не мои слова.

Я поняла, что он сильно пьян — впрочем, как и все мы, за исключением Козетты. Что-то словно щелкнуло у меня в мозгу, и я вдруг вспомнила один наш разговор с Козеттой. Посмотрела на нее, пытаюсь понять, помнит ли она, но увидела на усталом лице лишь страдание и, возможно, сожаление, словно Козетта подумала о былом покое, лилиях в своем саду и богатом, скучном муже.

— Ее можно представить в «Улыбках летней ночи»,^[35] — сказал Айвор. — Или в пьесе Стриндберга.^[36]

— Как ее зовут? — вырвалось у меня.

Внезапный вопрос застал его врасплох, и он даже не попытался

напустить на себя важный вид.

— Кристин... Фамилии не помню. Они называли ее Крис. А что?

— Ничего, — ответила я. — Это другая девушка. — Я забыла, что полное имя Белл было Кристабель, напрочь забыла.

Теперь все танцевали под гремящую какофонию рока. Гэри спал, уронив голову на стол. Мервин исполнял нечто вроде сольного танца, как будто в назидание оркестру. Козетта рассматривала стенные панели в стиле модерн с выражением скорее безразличия, чем отчаяния, и, возможно, поэтому Фей нерешительно, словно боялась быть отвергнутой, протянула руку Айвору. Но Айвор встал и, обняв девушку, неуверенно зашагал по блестящему полу.

— Пойдем танцевать, — сказала я Доминику.

Чуть больше ста лет назад Джордж Хантингтон описал болезнь, которую наблюдал у некоторых семей из Новой Англии. Эти люди были потомками иммигрантов, приехавших в семнадцатом веке из деревни Бьюрес. Насколько мне известно, среди моих далеких предков есть женщина из Бьюреса.

Существует специальный тест, позволяющий определить, станете вы жертвой болезни Хантингтона или нет. Он очень сложный, и для него требуются образцы крови, причем не только вашей, но также нескольких родственников, не менее семи. У меня нет семи живых родственников с той стороны. Все они умерли от хорей Хантингтона.

Когда-то нас было много. Моя бабушка имела шестерых детей. Ее отец умер в возрасте тридцати пяти лет, но не от болезни Хантингтона, а от полиомиелита, который в то время называли детским параличом. Мать бабушки смутно вспоминала, что ее свекровь страдала от какой-то хвори, которую ошибочно называли «пляской святого Витта» и от которой тряслись руки и ноги, но не знала, что болезнь наследственная и что ее муж тоже стал бы ее жертвой, останься он жив. Не знала, что болезнь могут унаследовать дети. Трое унаследовали. У бабушки симптомы хорей появились вскоре после рождения шестого ребенка, когда ей исполнилось тридцать. У каждого из шестерых детей вероятность заболеть составляла пятьдесят процентов. Не больше и не меньше, поскольку определяется это сочетанием генов. Если один из родителей болен, то шансы у вас пятьдесят на пятьдесят. Если оба родителя здоровы, то вы не заболите. У моей матери первые симптомы — неадекватное поведение и недомогание — появились в тридцать шесть. Одна из ее сестер умерла от дифтерии в детском возрасте. Была ли у нее болезнь Хантингтона? Двое других детей, брат и сестра, заболели, и оба умерли раньше моей матери. У остальных сестер детей не было, и они даже не выходили замуж, не осмелились, хотя обе не заболели и живы до сих пор. Из моих родственников в живых остались только они, хотя если бы тест появился двадцать лет назад, то я, возможно, набрала бы необходимое количество образцов крови: Дуглас, который был сыном бабушкиной сестры, тоже больной, кузина Лили, дочь другой больной сестры бабушки, моя мать, ее сестры, одна из которых уже умирала, и сумасшедший дядюшка. Маловато, но могло и хватить.

Если бы тест существовал, если бы я рискнула его пройти и если бы

он оказался отрицательным, как сложилась бы моя жизнь? Достигла бы я большего или меньшего и что бы делала не так? Может, нарожала бы детей и написала другие, лучшие книги? Хотя какой смысл об этом говорить? Тогда теста еще не было, а теперь родственников почти не осталось, а я сама балансирую у последней черты — через два или три года все окончательно выяснится, в ту или иную сторону.

Первые три книги я написала в доме Козетты. Самую первую печатала на старой пишущей машинке Дугласа на верхнем этаже дома в комнате без полноценного балкона, где меня не мог отвлекать шум над головой. Книга была написана быстро и плохо, грешила сенсационностью, изобиловала насилием и грубым сексом. Я не могу обижаться на Айвора Ситуэлла, который как-то, значительно позже, заметил: «Все еще штампуешь их, Элизабет?»

Но до этого было еще далеко. Я хотела стать учителем, собиралась писать диссертацию по Генри Джеймсу. Айвор все еще жил с Козеттой, делил с ней постель, оскорблял и пытался вытянуть деньги на поэтический журнал. В отношении журнала она проявила необыкновенное упрямство. Козетта отличалась упрямством и, как ни странно, деловой хваткой — вероятно, это качество перешло к ней от Дугласа. Как бы то ни было, она хотела увидеть цифры и поговорить с людьми, которые вместе с Айвором будут участвовать в этом предприятии, прежде чем, как она выражалась, «отдаться». Этих людей было двое. Одна из них женщина, теперь замужняя — по словам Айвора, его бывшая «возлюбленная», — автор либретто к мюзиклу, который шел в Америке, в круглом театре со сценой в центре. Второго, который имел какое-то отношение к сатирическому журналу «Прайвит ай», звали Уолтер Адмет, и именно в его доме снимала комнату женщина, очаровавшая Айвора, женщина по имени Крис или Кристина.

Сама не знаю почему, но я вдруг выбрала окольный путь. Заранее решила, что та красавица не может быть Белл, и вбила себе в голову, что «мою» Белл зовут Исабель, хотя описание Айвора в точности совпадало с ее внешностью, до мельчайших деталей и нюансов. Я вполне могла попросить Эльзу Львицу, с которой часто виделась и которая регулярно приходила в «Дом с лестницей», чтобы та узнала у семьи Тиннесе, живет ли еще Белл Сэнджер в их коттедже. Если уж на то пошло, я могла сама позвонить Фелисити Тиннесе. После того Рождества мы один или два раза сталкивались с ней на вечеринках у Эльзы. Наверное, я этого не сделала потому, что жаждала сильных чувств, хотела пережить шок узнавания. Мне так кажется, хотя точно сказать не могу. Несомненно одно — несмотря на

мимолетность нашей встречи, я чувствовала, что уже неразрывно связана с Белл и ее жизнью.

Поэтому когда Козетта предложила пригласить на ужин в дом на Аркэнджел-плейс Уолтера Адмета и женщину, с которой он жил, я воспротивилась. Сначала Козетта сказала только мне, поскольку в комнате больше никого не было, кроме Тетушки, что могло считаться большой удачей — или так только казалось, хотя, как выяснилось, правильно, — поскольку Айвор, верный себе, немедленно ухватился бы за этот шанс, пытаясь что-нибудь вытянуть из Козетты для себя или для кого-то из знакомых. Потом я часто думала, что было бы, если бы Козетта не согласилась сначала позвонить Адмету и предложить встретиться у него, а потом, если он ей понравится, пригласить на ужин, если бы отвергла эту идею, что вполне могла бы сделать и часто делала под влиянием своих представлений о гостеприимстве. Неужели я отправилась бы одна на Глостер-плейс в поисках Белл? Вряд ли. Это не просто, потребовало бы безрассудства, которым я не обладаю и никогда не обладала. Я бы отступилась, забыла о Белл, а в жизни Козетти никогда не было бы ни счастья, ни трагедии, ни высокого окна с узким карнизом.

— Не думаю, что я на это способна, дорогая, — сказала Козетта. — Навязаться к кому-то в гости... — с сомнением прибавила она. — Как можно?

В ее устах это прозвучало так смешно — к ней в дом все приходили без приглашения, когда вздумается, — что не выдержала даже Тетушка. Она поймала мой взгляд, а затем осторожно, боясь обидеть, засмеялась своим старческим, дребезжащим смехом.

— Можно ему позвонить, — предложила я. — Представлюсь твоим секретарем.

— Нет, нет. — Козетта была в ужасе. — Тогда меня примут за человека, который держит секретаря. Мне кажется, он принадлежит к настоящей богеме.

Это архаичное выражение стало объектом насмешек Айвора; остальные обитатели дома его просто не поняли. Но я привыкла к нему, поскольку часто слышала из уст Дугласа.

— Настоящий представитель богемы, — заметила я, — не обидится, если мы напросимся к нему в гости.

Только теперь Козетта поняла, куда я клоню:

— Ты хочешь сказать, что пойдешь со мной, Элизабет? — В ее тоне было нечто трогательное; такая любвеобильная и щедрая, она очень смущалась, боялась показаться навязчивой, была бесконечно благодарна,

что я вызвалась потратить свое время и составить ей компанию. — Это так любезно с твоей стороны. — Ее лицо приняло такое выражение, как в те минуты, когда она замышляла очередное доброе дело, выражение озорства, почти детского предвкушения. — Мы можем принести ему хорошее вино. Например, мадеру... Давай возьмем с собой бутылку мадеры?

Я постаралась убедить Козетту, что было бы очень странно приносить в подарок вино человеку, отношения с которым у нее могут остаться исключительно деловыми и который в любом случае предложит ей лишь бокал лимонада, поскольку сама Козетта почти не пьет. На ее лице отразилось сомнение. На самом деле ей не пришлось ничего отдавать или брать, за исключением того лимонада, потому что журнал так и не появился на свет. Женщина, написавшая либретто, исчезла где-то в Южной Америке, а Айвор уехал с Фей. Разумеется, он собирался вернуться — как, впрочем, и Фей. Потому что Козетта была доброй и щедрой, никогда не сердилась и не дулась, всем все прощала, так что не очень проницательные люди считали ее легковерной. Думали, что она глуповата, и ее можно обмануть.

Айвор сказал ей, что собирается в Нортгемптон навестить заболевшую мать. Фей исчезла, не сказав ни слова. Думаю, они сняли комнату в Патни^[37] у какого-то знакомого, который уехал в отпуск. Козетта катала Тетушку на машине и видела, как Айвор и Фей лежали в объятиях друг друга в Ричмонд-парке. И проявила ту грань своего характера, о существовании которой я не подозревала — если считать ее мстительностью; если же назвать это как-то по-другому, не злобой, не местью, а ужасом перед предательством, то Козетта всегда была такой.

Она пригласила знакомого из Голдерз-Грин — Джимми, верного мастера на все руки, который выполнял для нее разнообразную работу на Веллгат-авеню и теперь приезжал на Аркэнджел-плейс — сменить замки и изготовить новые ключи. Телефонный номер остался прежним, вероятно, потому, что сама Козетта почти никогда не брала трубку. Я всегда думала, что если она и получала какую-то пользу от приживания в своем доме, эта польза заключалась в том, что всегда было кому ответить на звонок — обязанность, от которой Козетта старалась увильнуть. Мервин, которого я никогда не подозревала в особой неприязни к Айвору, с огромным удовольствием сообщил ему, когда тот позвонил, что Козетта «отдала распоряжение» его не пускать. Услышав об этом, Козетта пришла в ужас, но к тому времени Мервин и Гэри уже повеселились от души, рассказывая Айвору, что Козетта «все о нем знает», что у нее есть друг, «большая шишка в Скотланд-Ярде», и что в данный момент она «разговаривает со

своим адвокатом». Айвор, вероятно, подумал, что помимо всего прочего раскрылся и обман по поводу происхождения и семьи, хотя на самом деле никто из нас не подозревал, что он не принадлежал к тем же Ситуэллам, что и сам покойный сэр Осберт, на похороны которого его якобы приглашали в прошлом году.

Но все это случилось уже после того, как мы с Козеттой отправились домой к Уолтеру Адмету, договорившись встретиться там с Айвором. Мы поехали на темно-синем «Вольво», большом, старом, пыльном, поглощавшем невероятное количество бензина; мыть его должен был Гэри вместо арендной платы, но никогда этого не делал. Внутри автомобиль казался продолжением «Дома с лестницей», до отказа забитый вещами Козетты, с полными или наполовину полными пепельницами, бутылками и баллончиками из-под освежающих спреев, новыми романами в рваных суперобложках, туфлями для вождения и туфлями, которые надевались для выхода из машины, всякими свертками, которые требовалось куда-то отвезти, но которые никогда не попадали к месту назначения, бельем для прачечной, одеждой для химчистки и вещами, требовавшими починки. Я волновалась, и мое волнение передалось Козетте, которая приняла его за опасение, что ее обманут или уговорят выбросить деньги на ветер.

— Когда существует опасность, что благоразумие мне изменит, — серьезным тоном сказала она, — я думаю о Дугласе. Вспоминаю, как он упорно трудился, чтобы заработать все эти доставшиеся мне деньги, и это меня сдерживает. — Впервые за много месяцев она упомянула о покойном муже.

Внутри элегантный георгианский дом может быть таким же хлевом, как и любой другой, о чем я тогда еще не подозревала. В доме номер пятнадцать на Аркэнджел-плейс царил кавардак, но благодаря усилиям Перпетуа грязи там не было. Чего не скажешь о доме Уолтера Адмета. Он выглядел так, словно тут никогда не убирали, и запах в нем стоял ужасный. Обивка мебели засалена, а если точнее, то покрыта накапливавшейся годами какой-то липкой коркой, к которой пристала шерсть животных, местами густая, словно колтун. Пахло жареным луком или потом — что на самом деле одно и то же, — а также засоренной канализацией и старой собакой или больной кошкой, хотя никаких животных мы там не видели. Даже Козетта, самая невозмутимая из женщин, слегка замешкалась, прежде чем сесть на указанное место — грязный, с прилипшей шерстью диван, по которому ползали мухи.

Уолтер Адмет, единственный из знакомых мне мужчин, представил свою подругу как хозяйку дома. Это был вежливый человек с маленькой,

остроконечной, выделяющейся на лице бородкой, загнутой вперед и вверх; его подруга надела красивое платье от Лоры Эшли, а в блестящие волосы вплела розовую ленту. В голове не укладывалось, как в этом ужасном доме люди могут быть такими элегантными и опрятными.

— Адмет, — представился хозяин и протянул руку; казалось, он сейчас щелкнет каблуками. Адмет держал себя словно какой-то немецкий или скандинавский аристократ, хотя был таким же стопроцентным англичанином, как я. — Позвольте представить вам мою хозяйку, Эву Фолкнер.

На мне была брошь с камеей, которую Козетта подарила мне на двадцать первый день рождения, та самая, с головой девушки, похожей на Белл. Я непроизвольно теребила брошь, осторожно присев на липкую бархатную обивку стула и наблюдая, как Козетта передает хозяевам бутылку красного вина «Грав», которую она спрятала в одной из своих вместительных сумок. Впервые за все время мне пришло в голову, что Белл может и не появиться, скорее всего не появится, что ее может не быть дома — и вообще она тут просто квартирант, а не друг. Я размышляла, что мне тогда делать. Уолтер Адмет взял бутылку, рассыпавшись в благодарностях. В любом случае его манеры выгодно отличались от манер Айвора. Он настоял, чтобы немедленно наполнить бокалы, хотя это вино следовало откупоривать заранее, выдерживать при комнатной температуре и подавать с едой.

— Боюсь, мне нечего предложить вам с дочерью.

Козетта поморщилась. Я поспешила указать ему на ошибку. Адмет усилил неловкость, с преувеличенной учтивостью заметив, что Козетта, вне всякого сомнения, не отказалась бы от такой дочери. На лице Козетты застыла мягкая, мечтательная улыбка, которую она могла сохранять в течение нескольких минут, не расслабляя губ и не моргая. Похоже, говорить нам было абсолютно не о чем. Мы приехали довольно поздно, и значит, Айвор опаздывал еще больше. Лучи солнца, проникавшие сквозь грязные окна, оставляли полосы тусклого желтого цвета, в которых, словно насекомые, кружились пылинки. Свет падал на Эву Фолкнер, будто специально направленный прожектор, и она сидела, безмолвная и скучающая, напомнив мне Октавию из «Антония и Клеопатры», которая производила впечатление статуи, а не живого человека. Я начала понимать, что совершила ошибку, не сказав Козетте о своем подозрении, что квартирантка — это Белл. Как теперь спросить о ней Адмета, не раскрыв своего двуличия?

Меня опять одолели сомнения. Что у меня есть? Описание женщины,

вероятно, искаженное моим сознанием, принимающим желаемое за действительное, и имя, которое у меня не было причин ассоциировать с Белл. Застывшая в своей солнечной ванне, Эва Фолкнер ничего не говорила, никак не показывала, что слушает; создавалось впечатление, что она просто предоставляет обмен любезностями Адмету, который разразился хвалебной речью в отношении тишины и удаленности Ноттинг-Хилла, вызвавшей недоумение, почему он немедленно не переселится туда. Борода его дрожала, брови взлетали и опускались, ладони мелькали, словно лопасти вентилятора. Я начала злиться. Мы сидели тут уже три четверти часа, и я уже собралась сказать Козетте, что ждать больше не стоит, что это безнадежно, и Айвор не придет, когда услышала стук входной двери, а затем голос Айвора.

В те дни мне было больно смотреть, как Козетта реагирует на голос любовника. На ее лице появлялось решительное, даже стоическое выражение. Слов я не различала и понятия не имела, к кому обращается Айвор, а если уж на то пошло, откуда у него ключ от дома. Меня занимало одно: извинится ли он, изменив своим привычкам, или нет?

Дверь в комнату открылась, и вошел Айвор — вместе с Белл. Верный себе, он шествовал первым, вынуждая ее следовать за ним.

Понятия не имею, узнала ли меня Белл, вспомнила ли; возможно, Айвор, который тут же сообщил, что встретился с ней на улице, уже успел рассказать, кого она тут увидит. Конечно, я могла спросить, но не стала этого делать — ни тогда, ни после. Белл посмотрела на меня и очень спокойно произнесла: «Привет, Лиззи», — словно мы виделись два дня назад.

Она была в черном — как Милли Тил^[38] у Джеймса. Я никогда не видела ее в яркой одежде, только темных или тусклых тонов, за исключением того случая, когда я уговорила ее надеть платье «линялого» красного цвета, как на девушке с картины Бронзино. Это было еще до появления культа античной одежды, до «трикотажной революции», до длинных юбок. Одежду Белл, вероятно, купила на благотворительной распродаже подержанных вещей: шерстяная юбка черного цвета, длинная и узкая, с бантовыми складками спереди и сзади, черная мужская хлопковая рубашка с закатанными рукавами, несколько раз обмотанный вокруг талии трикотажный пояс и нитка коричневых и черных деревянных бус. Подол юбки заканчивался у тонких, изящных лодыжек с длинными ахилловыми сухожилиями. На загорелых ступнях с тонкими пальцами греческие сандалии. Волосы собраны на макушке — похоже, при помощи куса бечевки. На щеки и длинную, прямую шею ниспадали пряди цвета

неокрашенного дерева, но высокий, чистый лоб оставался открытым. Белл, как всегда, высоко держала голову, словно на ней балансировал кувшин с водой.

Козетта, Адмет и Айвор — но не Эва Фолкнер, считавшая подобные совпадения естественными, — очень удивились, что мы с Белл знаем друг друга. Как только Адмет закончил замысловатый процесс знакомства Белл и Козетты, который он называл «иметь честь представить», Айвор принялся расхваливать красоту Белл прямо в ее присутствии, ходил вокруг нее и, склонив голову набок, указывал на ту или иную особенность, словно работорговец на невольничьем рынке.

— Посмотрите на этот подбородок, посмотрите на эти милые маленькие уши, напоминающие морские раковины, на эту кожу. Вы когда-нибудь видели такую осанку? Через макушку головы и пятки можно провести вертикальную линию, точно по отвесу.

Палец коснулся шеи Белл. Она не отстранилась. Только медленно, почти небрежно, но абсолютно серьезно сказала:

— Убери лапы, грязный ублюдок.

Она была искренней и открытой — или, как считается, честной, — и всегда говорила то, что думает. Козетта от удивления открыла рот. Адмет нервно хихикнул. Я с огромным удовольствием наблюдала, как побелел Айвор.

— Пойдем, посмотришь на мое жилище, — предложила мне Белл.

Я ни секунды не колебалась и вышла из комнаты вместе с ней. Поэтому мне до сих пор неизвестно, что на самом деле произошло на трехсторонних переговорах между Козеттой, Айвором и Адметом. Знаю только, что Козетта так и не дала денег на журнал, а Айвор вскоре съехал, хотя мы продолжали видеться с Адметом, который стал другом и гостем «Дома с лестницей», и какое-то время, после того как его бросила Эва, я даже задумывалась, не станет ли он у Козетты преемником Айвора. Разумеется, это было до Маркуса, до того, как появление Маркуса поставило крест на других мужчинах — всех, без исключения.

Итак, я пошла вслед за Белл наверх, и она показала свою маленькую комнатку, где жила с тех пор, как продала дом, доставшийся ей в наследство от отца Сайласа Сэнджера. В комнате почти ничего не было, кроме кровати, стола и стула, поскольку Белл в те времена не обращала внимания — и теперь, наверное, тоже не обращает — на бытовые удобства и на то, как выглядит ее жилище. Но картины Сайласа она сохранила — у стен стояли свернутые в трубку холсты.

— Я с ними не расстанусь, — сказала Белл. — Художником он был на

самом деле дерьмовым, но это неважно. Всегда есть шанс, что однажды его признают, я устрою выставку и продам их за большие деньги.

Она говорила со мной, как с давней подругой. О Сайласе вспоминала без всяких эмоций, спокойно и практично, словно владелица художественной галереи, открывшая художника и вложившая в него средства. Я с ужасом вспоминала мертвого человека, кровь на полу и на самой Белл.

— Ты долго жила у Фелисисти? — спросила я.

— Два месяца, одну неделю и два дня, — ответила она. — Потом переехала в дом, который оставил старик Сайласа, и жила там, пока не продала.

Еще вопрос. В тот вечер я задала ей много вопросов, но ни одного действительно важного, того, который должна была задать.

— Чем ты занимаешься? Я имею в виду, на что живешь. Работаешь?

— Нет. — Этот ответ явно доставил ей удовольствие. — Не работаю и не собираюсь. Я больше *никогда* не буду работать.

— Значит, ты богата?

Глаза Белл широко раскрылись. Они, ее глаза, были серыми, как море, очень большими и чистыми.

— Нет, не богата. Но я ненавижу работать. У меня достаточно денег, чтобы существовать не работая, если только жить в отеле вроде этого. — У нее была манера избавляться от надоевшего предмета разговора, быстро качая головой, вскидывая плечи и меняя тему. — Кто это дерьмо, с которым я пришла? Раньше я его тут не видела.

— Мужчина моей приятельницы, с которой тебя познакомили.

— Прямо гора с плеч. Я уж, было, подумала, что он живет с тобой. Этого еще не хватало. — Тем не менее Белл не перестала называть его дерьмом. — Ну и дерьмо, — сказала она. — А не слишком ли он молод для нее?

— Слишком глуп. Уродлив, эгоистичен и подл. Насчет молодости не знаю, — ответила я и лицемерно прибавила: — Никогда об этом не думала.

Белл рассмеялась:

— Постараюсь кое-что о нем разузнать.

Я впервые слышала ее смех, оказавшийся на удивление густым и звонким, каким-то булькающим; ее бледное лицо сияло, и она была прекрасна. Белл волновала меня, лишала покоя, бредила душу, но я понятия не имела, что мне от нее нужно. Чтобы мы подружились? Встречались, разговаривали, вместе проводили время? А чего хотела она? Не от меня, а от жизни? Теперь-то я, разумеется, знаю, уже довольно давно,

но в то время не имела ни малейшего представления. Тогда для меня было — и еще довольно долго оставалось — загадкой, почему такая молодая, здоровая и умная особа соглашается жить в этой убогой маленькой комнате грязного дома, где она сама и ее скудные пожитки занимают место двенадцать на двенадцать футов — без работы, карьеры, перспектив, без целей в жизни. Бездетная двадцатисемилетняя вдова, не имеющая ни профессии, ни занятия, красивее любой модели, украшающей обложки журналов, одевающаяся в тряпье и — я обнаружила это чуть позже — не имеющая ни любовника, ни даже подруги.

Разумеется, Белл выжидала, осматривалась, ждала благоприятного случая. Именно этого она хотела от жизни. Мы открыли окно, из которого было видно белое небо и платан, на ветвях которого сидели бронзово-розовые голуби; тонкие, похожие на нити побеги и изящные шелковистые листья неподвижно застыли в безветренном воздухе. Мы облокотились на широкий подоконник. Многие мои воспоминания о Белл связаны с окнами, оконными переплетами и стеклами, сквозняками и каплями дождя. Но в тот летний день сквозняка не было. Из Риджент-парка тянуло свежестью, запахом сырой земли. Белл достала из ящичка стола табакерку и, не спросив меня, считая это совершенно естественным, принялась сворачивать сигарету с марихуаной. Это была моя первая сигарета. Белл показала, как нужно втягивать в себя дым и задерживать в легких, пока голова не начнет кружиться и как будто расширяться, а на выдохе погружаться в безмятежность и состояние глубокого покоя.

В сентябре мы с Козеттой вдвоем поехали в Италию. Она собиралась взять с собой Айвора, но к тому времени Айвор уже исчез.

— Ты со мной, — объявила Козетта. — В любом случае лучше ты, чем он. Я боялась с ним ехать.

С Белл я виделась несколько раз. Она приходила ко мне в «Дом с лестницей», мы ходили в кино, в старинный «Электрик синема» на Портобелло-роуд, и мне хотелось взять ее с собой в Италию.

— Я всего один раз была за границей, — рассказывала мне Белл. — Во Франции, с Сайласом. В местечке под названием Виссан. Так близко, что это практически Англия.

Я удивлялась, почему такой молодой и здоровый человек жертвует столькими удовольствиями, лишь бы не работать. У Белл хватало денег на жизнь, но не на путешествия. Одно мое слово Козетте, и Белл получила бы приглашение присоединиться к нам, а ее билеты и гостиничные счета были бы, безусловно, оплачены, поскольку считалось само собой разумеющимся,

что любая моя подруга имеет такое же право пользоваться щедростью Козетты, как и я сама. Именно по этой причине я ни о чем не просила. Не решалась даже вскользь заметить, что Белл практически не была за границей и в этом году не собиралась никуда ехать на отдых. Наоборот, я сказала Козетте:

— Белл не хочет никуда уезжать из Лондона. Ей нужно наверстать те годы, что она провела в глуши с Сайласом.

Во Флоренции, в галерее Уффици, выставлен портрет Лукреции Панчатики. Большинство литературных критиков пришли к выводу, что именно эта картина вдохновляла Генри Джеймса, когда в «Крыльях голубки» он описывал портрет, висевший в «огромной старинной зале» в Метчеме, называя его «бледным ликом на стене». Естественно, своими «глазами из прошлого, полными губами, длинной шеей...» женщина напоминала несчастную Милли Тил. «Лицом, почти серым, но красивым в своей печали, увенчанным шапкой волос» она также очень напоминала Белл.

Жаль, что я не помню, видела ли я картину во время своего первого посещения Флоренции, когда была в Италии с Козеттой. Наверное, мы ходили в Уффици. Я любовалась портретом во время следующих визитов, но не могу вспомнить, сколько ни пытаюсь, видела ли его в тот раз. Репродукцию портрета я заметила в витрине магазина возле моста Тринита, когда мы с Козеттой гуляли по берегу Арно. Козетта была поражена сходством — помните, только она видела, как похоже лицо на моей камее на лицо Белл — и, стоя перед репродукцией, сказала, что должна ее купить.

Я скрыла свою радость. Зная, что Козетта очень отзывчива к желаниям и тайнам других и что она с готовностью примет любой мой план, касающийся судьбы репродукции, я все равно представляла, как портрет — в рамке из нержавеющей стали, изготовленной ремесленником с Кенсингтон-Парк-роуд — висит на стене гостиной, и его демонстрируют всем гостям.

— Купим открытку, — решила Козетта. — Знаешь, у меня было похожее платье, сшитое специально для бала в Челси. Я должна была изображать леди Джейн Грей.^[39] Интересно, влезу ли я в него теперь?

Однако Козетте не удалось найти открытку с Лукрецией Панчатики. На следующее утро, пока она спала, я сама пошла в магазин, купила репродукцию картины Бронзино, тайно привезла домой и долгое время прятала.

Я стояла перед уменьшенной копией этого портрета, когда позвонила Белл.

Долгое время репродукция лежала в ящике стола, купленного для меня Козеттой. Я вставила ее в рамку, как только смогла позволить себе такие вещи, и повесила в спальне. Если Козетта ее и видела, то не обмолвилась ни словом. Незадолго до убийства я сняла картину и снова спрятала, но не собиралась от нее избавляться, и она всюду путешествовала со мной, сначала в квартиру на Примроуз-Хилл, когда был продан «Дом с лестницей», потом в Хэмпстед, где она опять висела на стене, потом на год или два в Кембридж на время моего недолгого брака, потом опять в Лондон в этот дом в Хаммерсмите. Не считая себя суеверной, я тем не менее стала связывать присутствие картины на стене с грядущими неприятностями.

Все плохое в моей жизни — кроме одного — уже случилось, но я тем не менее убрала картину в ящик стола. Однако три дня назад сняла со стены кабинета плакат Ройтера в рамке и повесила вместо него Бронзино. Прошло много лет с тех пор, как я смотрела на него в последний раз, и теперь среди буйства красного, черного и золотого заметила то, на что не обращала внимания прежде, например, что на руках украшенной драгоценностями Лукреции всего одно кольцо, перстень с очень темным камнем, возможно даже гелиотропом. Ее волосы, что бы ни утверждал Генри Джеймс, на самом деле были не рыжими, а цвета темной бронзы. Конечно, он говорил просто о Бронзино и о бледной рыжеволосой даме, а не об этом конкретном портрете, и он прекрасно знал, сколько людей позировали перед Бронзино и что флорентийский маньерист считался мастером аллегорий. Глядя на картину, я, конечно, вспоминала не только саму Белл, но и другие подробности нашей жизни, когда Козетта владела «Домом с лестницей», вспоминала об интересе Белл к «Крыльям голубки», о ее странном желании услышать сюжет книги, узнать о заговоре.

Я уже собралась звонить сама. Думала, наберу номер, начинающийся на шесть-два-четыре, и выйду, наконец, из того пропитанного страхом тупика, в котором находилась последнюю неделю — прошла уже почти неделя, — положу конец сомнениям, перестану тянуть время, убеждать себя, что звонить еще слишком рано или уже слишком поздно, что ее, наверное, нет дома, что нужно еще немного подождать, и завтра будет самый лучший, самый подходящий, предначертанный судьбой день. Своим

спокойным, безмятежным взглядом Лукреция — не «красивая в своей печали» и уж точно не «мертвенно бледная» — возвращала мне самоуважение, своими большими, ясными глазами она смотрела мне прямо в глаза, и теперь я видела ее сходство не только с Белл, но также с юной Козеттой со старых фотографий, и в эту секунду зазвонил телефон.

Мне и в голову не пришло, что это может быть Белл. Когда я сняла трубку, она произнесла лишь: «Алло», — но у меня ни на секунду не возникло сомнений, чей это голос. Мое молчание объяснялось оцепенением, шоком, который я испытала, даже несмотря на то, что была подготовлена, несмотря на то, что видела Белл и знала, что она спрашивала обо мне.

— Это Белл.

— Знаю, — ответила я. — Да, знаю. — Я села, вдруг почувствовав, как навалилась усталость. И только через несколько секунд поняла, что закрыла глаза. — Я тебя видела. Пошла за тобой, но ты исчезла.

Белл никогда ничего не объясняла, если не хотела, никогда не извинялась. Только гораздо позже я поняла, что Фелисити Тиннесе позвонила ей и передала, что я хочу с ней поговорить.

— Хочешь встретиться? — спросила она.

Вот почему я сижу здесь и смотрю на нее через всю комнату, которая очень похожа на комнату в доме Уолтера Адмета, где я впервые осталась с ней наедине. Здесь есть кровать с грязным белым хлопковым покрывалом, стол, плетеное кресло, пара чемоданов, а также пара ящичков из-под чая. В этот теплый весенний день Белл открыла окно, но в комнату не проникает свежий ветерок из Риджент-парка, а за окном нет платанов и георгианских террас. Дом буквально прижат к железнодорожному мосту, причем стоит так близко к нему, что свет практически не попадает на фасад; задние комнаты, такие, как эта, выходят на свалку. Белл говорит мне, что после освобождения из открытой тюрьмы, где она отбывала последний год своего срока, ее обязали поселиться в общежитии. Потом инспектор системы «испытания» подыскала для нее комнату. Эта женщина также нашла ей работу. Приступить нужно на следующей неделе, и владельцу магазина, где она должна работать, все о ней рассказали.

— Не уверена, что справлюсь, — говорит Белл, и я не знаю, потому ли это, что раньше она практически никогда не работала, или потому, что ездить нужно не куда-нибудь, а в Уэстборн-Гроув, а она не говорит.

Внешне Белл очень изменилась, хотя по-прежнему осталась стройной и прямой, голова на длинной шее все так же высоко поднята. Волосы у нее сделались стального цвета, огрубели от седины. Сеть морщинок на лице

напоминала растянутую паутину, и я вспомнила, что писал Генри Джеймс о портрете Милли Тил: «лицо... которое, прежде чем поблекнуть от времени, имело фамильное сходство само с собой».

Белл одета во все черное, юбку и нечто вроде туники, которая кажется просто куском ткани с отверстием для шеи посередине и зашитыми боками, и сандалии; чулок нет, а ее ноги стали очень худыми. Я еще не дотрагивалась до нее, не пожимала руку, не целовала. Среди моих чувств преобладают растерянность, жалость и любопытство. Смогу ли я привыкнуть к ней? Смогу ли я когда-нибудь спокойно сказать себе, что это Белл?

Я позвонила в дверь, Белл впустила меня, провела наверх и, закрыв дверь, спросила. Все эти годы она помнила.

— Ты уже в безопасности?

Я была ей бесконечно благодарна. Для меня этот вопрос стал величайшим проявлением доброты, лучше любого подарка, даже самого дорогого.

— Приближаюсь к последней черте, — ответила я.

Белл кивнула. Я еще не видела ее улыбки.

— Я часто думала об этом, — сказала она. — Мне хотелось знать.

Она много спит. Белл сказала мне, что не могла спать в тюрьме, и после освобождения — прошло больше двух месяцев, прежде чем она отважилась позвонить Фелисити, — спит всю ночь и еще полдня.

— Вот почему я не уверена, что справлюсь.

«Я не работаю и не собираюсь, — однажды сказала она. — Я больше никогда не буду работать».

В тот вечер, когда я ее видела, Белл ходила на прием к врачу в районе Шепердс Буш. На обратном пути вышла из метро, чтобы взглянуть на магазин, в котором должна была работать, а к моменту моего появления скрылась за дверью табачного киоска на Квинсвей. В семидесятые годы мы почти все отказались от сигарет, но Белл до сих пор курит. Живя на социальное пособие, она вынуждена отказывать себе в еде, чтобы купить сигареты. Ее одежда и волосы, эта комната — все пропахло дымом, точно так же, как в доме Адмета, но тогда мы все были прокуренными и не замечали этого.

— Ты не возражаешь, если я немного вздремну? — спрашивает меня Белл. — Можешь остаться, если хочешь, или уйти. Я знаю, где тебя найти, а ты знаешь, где я.

Но улегшись на кровать, свернувшись калачиком и положив одну руку под подушку, она протягивает вторую мне, стискивает мои пальцы. Словно

больной или ребенок, который хочет, чтобы я держала его за руку, пока он спит.

Когда мы с Козеттой вернулись из Италии, Белл съехала из дома Адмета и пропала. Она исчезла, не оставив ни адреса, куда пересылать корреспонденцию, ни записки для меня. Я до сих пор не знаю, где она была, но теперь мне все равно, теперь это уже не имеет значения. Возможно, жила с мужчиной — или женщиной — или просто не могла позволить себе платить за комнату столько, сколько запросил Адмет.

Я почему-то не сомневалась, что Белл снова появится и найдет меня, что мы снова встретимся — совершенно случайно или в результате какого-то совпадения. Тем не менее я не знала ни одного человека, за исключением Фелисити, кого можно было бы назвать другом Белл; я ни разу не слышала, чтобы она упоминала о подруге или, если уж на то пошло, о матери, отце, братьях и сестрах. Она была замужем, овдовела, никогда не работала, всегда говорила то, что думает, оставляя впечатление абсолютной честности, — вот и все, что мне было известно о ней. В то же время я сама уже рассказала ей обо всем: о своей семье и — да, конечно — ужасной наследственности, об умершей матери, особых отношениях между мной и Козеттой и даже об интрижке с Домиником, которую, боюсь, в то время называла связью.

Этого делать не следовало — теперь я знаю. Одно дело флиртовать, танцевать с ним, но совсем другое — поздно ночью после возвращения из «Марко Поло» и клуба, в который нас затащил Айвор, как ни в чем не бывало идти в его комнату. Понимаете, Доминик мне нравился. Он был так красив. Мне казалось абсолютно неважным не только то, что он брат Перпетуа, почти неграмотный, наивный, лишенный какой-либо утонченности деревенский парень; я даже об этом не думала. Но я должна была знать, что он еще и ревностный католик. Разве я не видела, что по воскресеньям и церковным праздникам он ходит к мессе? Это мне тоже не приходило в голову. Я сделала его своим любовником из-за того, что он был худым, высоким и стройным, обладал самыми синими в мире глазами, самыми шелковистыми в мире волосами цвета воронова крыла (такие седеют раньше других) и лицом, как у молодых монахов на картинах Эль Греко. А еще — и это простительное — из-за страха и тоски, из-за нависшей надо мной беды; я считала, что должна брать то, что могу, делать все, что хочу, жить полной жизнью, пока не придет мой срок.

В тот первый раз мы были пьяны. И даже не разговаривали. Но утром снова занялись любовью, и он спросил:

— Неужели такая, как ты, может меня любить?

Я почувствовала холодок в груди, потому что не любила его, хотя тогда еще этого не понимала. Я не видела его примитивности, не понимала, что простая и невинная жизнь сформировала у него твердое убеждение, что женщина может спать с мужчиной только если любит его, а также что этот мужчина единственный, выбранный до конца дней, словно человеческие существа моногамны, как некоторые виды птиц, у которых еще в юном возрасте в мозгу запечатлевается образ партнера, и эта связь остается на всю жизнь. Но я лишь спросила его, что он имеет в виду. Неуверенно, смущаясь и робея — его душевное состояние абсолютно не соответствовало роскошному, даже высокомерному виду, — Доминик сказал, что я умна, образованна («училась в колледже», как он выразился) и принадлежу к «другому классу».

— Я простой рабочий парень, — произнес он голосом, как у Кристи Мэгона в пьесе «Удалой молодец — гордость Запада».^[40]

— Какое все это имеет значение? — с абсолютной беспечностью возразила я.

Позже я дала ему почитать отрывок из Синга о епископах, которые едва не выломали все райские решетки, чтобы посмотреть на Елену Троянскую, которая прогуливалась с пришпиленными к золотой шали цветами. Только читал Доминик плохо, все время запинаясь, и мне пришлось ему помогать. О, как я любила литературу и как мало писала ее сама!

Поэтому когда я вернулась в «Дом с лестницей», там меня уже ждал Доминик, называл «дорогая» и рассказывал, что к моему возвращению сменил постельное белье. Сердце у меня упало, как теперь часто случалось, когда я приходила к нему или он ко мне, потому что я хотела бурного, чувственного приключения на несколько недель, а Доминик — и это становилось все более очевидным — верности на всю жизнь. Романтичная Козетта, в чем-то разделявшая взгляды Батской ткачихи,^[41] в самом начале даже поощряла нашу связь, как, впрочем, любые отношения между молодыми и красивыми людьми, но теперь отвергала ее.

— Скоро он потребует, чтобы ты с ним обвенчалась, — сказала она. — В Бромптонской молельне или даже в соборе.

— Мне казалось, что это женщины хотят замуж, а мужчины желают сохранить свободу. — Я чуть не плакала. — Неужели за внешностью Дон Жуана может скрываться душа молочника?

— Не суди по одежке, — ответила Козетта.

Объектом ее энтузиазма теперь была не моя сексуальная жизнь, а карьера, или, по крайней мере, текущий проект. Козетте льстило, что я напишу книгу в ее доме. Причем неважно, какую. Почти не задумываясь, она практически боготворила все, что делали люди, которых она любила. Так, например, Диана печатала быстрее и аккуратнее любой машинистки в Лондоне, Гэри был самым искусным в мире виртуозом игры на ситаре, а отрезок туннеля лондонского метро, прорытый при участии Доминика, — самым лучшим. Ей казалось, что единственный недостаток моего проекта — желание работать одновременно с сочинением книги, хотя занятия в игровом клубе для школьников вряд ли можно назвать работой, и если откровенно, на жизнь мне хватало только потому, что я не платила за квартиру.

Комната для моих литературных занятий готовилась тайно, в те два или три послеобеденных часа, что я проводила на работе. В то время это помещение оставалось единственным не занятым в доме; свои комнаты были у Гэри, Мервина, Доминика, у меня — я не собиралась перебираться к нему, — у Козетты (величественная спальня) и у Бригитты, новой «квартирующей девушки», на этот раз настоящей помощницы по хозяйству (она поселилась в бывшей спальне Фей). Чердак с высоким окном без балкона по-прежнему пустовал, и там хранились картонные коробки и ящики из-под чая. Комната, которую приготовили для меня Перпетуа с Козеттой, находилась прямо под чердаком; в ней было одно из окон с узким балконом без перил, нависавшим над серым садом.

Перпетуа — тихая женщина, безгранично преданная Козетте, — делала все, о чем ее просили, на самом деле огромную работу, ежедневно ездила в такую даль на автобусе и убирала за толпой неаккуратных и беспечных людей. Сомневаюсь, что ради меня она стала бы таскать мебель вверх по лестнице, расстилать ковер и вешать занавески. Перпетуа видела то, что уже не являлось тайной для всех, кроме бедняги Доминика: я просто использовала его и ни капельки не любила. Будучи на двадцать лет старше и став взрослой еще до его рождения, сестра Доминика возмущалась так, как возмущается мать. Ее неодобрение приняло странную форму: разговаривая со мной, она перестала обращаться ко мне по имени. Я невольно вспомнила об этом, когда женщина, так много, бесконечно много значившая для меня, тоже не обращалась ко мне по имени! Вместо: «Кофе готов, Элизабет», — она говорила: «Вот кофе, если хочешь» — или кричала наверх: «Там кто-нибудь есть?» — и ждала, пока ей ответят.

Они привезли стол, отыскали пишущую машинку и расставили словари в новом книжном шкафу. Я замерла от восхищения, потом бурно

выразила свою благодарность. Козетта, такая естественная в роли щедрого дарителя, испытывала простое, невинное удовольствие от благодарности и восторга, с которыми принимались ее подарки. Именно тогда я упомянула о желании иметь словарь древнегреческого языка (который собиралась преподавать сама, что потом и сделала), и Козетта пообещала подарить его мне на Рождество, но ошиблась и купила словарь новогреческого, за что получила от меня суровый выговор, при воспоминании о котором я до сих пор испытываю стыд.

Итак, той зимой, ознаменовавшей переход из шестидесятых в семидесятые, я принялась за сочинение романа, начав работу в чудесный октябрьский день, жаркий, как в разгар лета. Имея перед собой пример Генри Джеймса, обладая такими обширными знаниями о нем, я могла хотя бы попытаться написать нечто вроде исследования человеческой души, но не стала этого делать. Я стремилась заработать, охотилась за шальными деньгами, рассчитывала на быстрый успех — потому что унаследовала хорею Хантингтона и торопилась жить, пока еще можно, хотела иметь все и сразу. Поэтому я выбрала дешевую романтическую историю с сексом и приключениями — о людях, с которыми никогда не была знакома, и местах, где никогда не бывала, но о которых могла почерпнуть сведения из путеводителей и книг других авторов. Именно такие романы я с тех пор пишу.

Козетта прониклась глубоким почтением к моим занятиям. В ее глазах я почти мгновенно превратилась в «художника», и она относилась ко мне так, как относятся к творческим людям французы независимо от результатов творчества. Мою работу другие должны были воспринимать как самое важное из всего, что происходит в доме, и поэтому неслышно подниматься по лестнице, не включать проигрыватель, не играть на музыкальных инструментах, громко не разговаривать и никогда, никогда не мешать мне, подходя к моей двери. Естественно, через какое-то время дисциплина ослабла, и вернулся прежний шум и гам, но сама Козетта не изменила своего поведения и продолжала относиться ко мне так, как пристало относиться, скажем, к Бальзаку или, если уж на то пошло, к Грэму Грину.

Однажды после обеда, когда я почти весь день писала и уже собиралась отправиться на работу в клуб, мне позвонила Фелисити Тиннессе. Ее голос звучал взволнованно и немного робко:

— Твой телефон мне дала Эльза. Та женщина, у которой ты живешь, берет квартирантов?

Я почему-то разозлилась. Конечно, бедняжка Фелисити не имела в виду ничего дурного, и, вероятно, большинство людей не в состоянии понять, как можно предоставлять кров и стол куче нахлебников вроде Гэри, Мервина, Фей и Бригитты.

— А что случилось?

— Я ушла от Эсмонда. То есть уйду от него, как только найду куда. Мне нужна комната.

Я подумала о детях, сама не знаю почему. Вспомнила, как Миранда повторяла правила хорошего тона, внушаемые матерью.

— Для троих? — с сомнением произнесла я.

— Я не справлюсь с Джереми и Мирандой. Они останутся с Эсмондом. Тогда, — загадочно прибавила Фелисити, — у него будет меньше поводов для радости.

Я ответила, что спрошу Козетту, и пообещала перезвонить «до того, как Эсмонд вернется домой, или после того, как он уедет на собрание ассоциации консерваторов».

Козетту я нашла в гостинной; компанию ей составляли только Тетушка и Морис Бейли с Велграт-авеню. Теперь он овдовел и много времени проводил в «Харродз» и в магазинах главной торговой улицы Кенсигтона, а во время вечернего чая брал такси и ехал через парк к Козетте, чтобы провести там полчаса. Цель этих визитов, похоже, заключалась в комментариях по поводу неподобающего образа жизни Козетты — по сравнению с прежним. Поэтому вопрос, который я должна была задать, еще больше его раздражил. Я специально спросила в присутствии Бейли, поскольку знала — или думала, что знаю, — что Козетта получает удовольствие от того, что Фелисити назвала бы «вздернуть его».

— Еще один нахлебник, — проворчал он. — Должно быть, этот дом считается местной ночлежкой.

Тетушка с довольным видом переводила взгляд с Козетты на Мориса Бейли. В своем абсолютно неуместном синем парчовом халате Козетта выглядела просто роскошно. После расставания с Айвором Ситуэллом она меньше красилась, частично восстановила потерянный вес и выглядела помолодевшей, здоровой и цветущей. К тому времени ее волосы совсем посветлели и приобрели золотистый оттенок. Я сказала ей, процитировав Уальда, что волосы у нее стали золотыми от горя, и эта фраза ей так понравилась, что Козетта повторяла ее всем. Теперь, поддразнивая Мориса Бейли, она принялась с энтузиазмом рассуждать о приезде Фелисити.

— Разумеется, ты должна ей сказать, дорогая, что она может приехать. Представляешь, как ужасно, когда ты вынуждена оставаться с мужчиной

просто потому, что тебе некуда идти?

— Тогда я ей перезвоню, хорошо?

— Да, обязательно, и передай, что мы будем ей очень рады. Не знаю только, где ее разместить — наверное, в одной из комнат наверху. Перпетуа все организует; она у нас просто чудо, ты же знаешь. И не смотрите на меня так, Морис. — Она протянула свою красивую руку и коснулась рукава его пиджака. Всю жизнь не знавшие никакой работы, руки Козетты остались по-девичьи пухлыми и белыми; сужающиеся пальцы с похожими на жареный миндаль ногтями были унизаны кольцами. — Морис, — проворковала она. — Улыбнись мне. Фелисити будет платить за комнату, по крайней мере, услугами. Здесь для нее найдется много мелкой работы.

Как для Мервина и Гэри, которые уже давно перестали выполнять свои обязанности по натирке полов и мойке машины; как для Бригитты, приехавшей изучать язык датчанки, которая поначалу с готовностью занималась домашней работой в обмен на жилье, но хозяйка быстро убедила ее, что тут совсем нечего делать и что такой юной и хорошенькой особе просто стыдно сидеть дома, когда на Карнаби-стрит и на Кингз-роуд можно неплохо развлечься.

Через несколько дней приехала Фелисити. Поначалу подавленная и присмирившая, опасавшаяся, что Эсмонд узнает о ее убежище и приедет за ней, она сразу же привязалась к Козетте и излила ей душу. Остаться наедине им было практически невозможно, поскольку в доме всегда было полно людей, которые шли вслед за Козеттой в ее спальню даже в три или четыре часа утра и продолжали разговаривать или музицировать, сидя на ее кровати. Но Фелисити это ничуть не смущало, и она увлекала Козетту в какой-нибудь уголок и устраивалась там — иногда распростершись у ее ног и положив голову ей на колени, иногда сидя за столом напротив, наклонившись вперед и заглядывая в глаза. До нас — по крайней мере, тех, кто хотел слушать, — долетали обрывки ее речей, отдельные слова и фразы: «мой кошмарный муж», «его мать, старая сука», «тюрьма», «погребенная заживо», «не жизнь, а каторга», «отчаяние», «боль», «страдания».

В тот период в «Доме с лестницей» жили: Козетта, я сама, Доминик, Мервин, Гэри, Бригитта, подружка Мервина Мими, Тетушка и Фелисити. Девять человек. На Рождество приехала Диана Касл со своим парнем; они собирались провести у нас только праздники, а остались на несколько недель. Получается одиннадцать. Этим двоим пришлось ночевать в спальнях мешках на полу комнаты верхнего этажа, выходившей на улицу. Козетта, естественно, была готова купить кровать для своих гостей, однако

никто, в том числе грузчики из магазина, не согласился тащить ее по лестнице высотой в сто ступенек. Взбунтовалась даже Перпетуа, заявившая, что если будет поднимать тяжести, то заработает грыжу.

Вместе с Домиником она притащила наверх раскладной диван-кровать для Фелисити, за что оба получили от Козетты неумеренные похвалы и пять фунтов. Комната находилась над моим «убежищем», и Фелисити очень вежливо попросили вести себя «тихо, как мышь» в священные часы моей работы, с десяти до трех. Наверху раньше жила горничная, или горничные, и это обшарпанное помещение со скошенным потолком отличалось от комнат нижних этажей. Судя по виду стен и деревянных элементов, их никто не красил со времени постройки дома. Козетта очень хотела, чтобы Гэри отремонтировал комнату до приезда Фелисити, и даже выдала ему довольно щедрый аванс, но к работе он приступил не скоро, когда Фелисити уже вернулась к Эсмонду и детям.

Проведя несколько дней в «Доме с лестницей» и излив душу Козетте, она приободрилась и вскоре стала сама собой — насмешливой, легко увлекающейся, склонной морализировать, вываливающей на окружающих кучу разрозненных и никому не нужных сведений, высокомерной в отношении тех, кто соображает медленнее ее. Я была приглашена в ее комнату, чтобы полюбоваться видом из окна и высказать мнение относительно того, что за купол она видит, «Уайтлиз»^[42] или греческой православной церкви. Если стоишь вплотную к этому окну и смотришь на улицу, возникает неприятное ощущение. Еще страшнее смотреть вниз, где на расстоянии сорока футов раскинулся серый сад с мокрыми от дождя или покрытыми инеем серыми листьями растений. Прямо под окном располагалась вымощенная каменной плиткой площадка, которую Козетта называла террасой, а Перпетуа — патио. Почему-то казалось, что окно не выглядело бы таким опасным, будь внизу лужайка или клумба.

Фелисити сказала, что выходила через окно на узкий карниз. Вы должны понимать, что это было настоящее окно, а не стеклянная дверь, одинарная или двойная, только расположенное очень низко, не выше шести дюймов от пола, с подъемной фрамугой, открывавшей верхнюю или нижнюю часть размером в четыре фута. По словам Фелисити, снаружи в кирпиче или камне вокруг оконной рамы имелись глубокие отверстия с тонкими потеками ржавчины, куда — она не сомневалась — когда-то были вставлены прутья решетки или ограждения. Все это исчезло задолго до Козетты. Мы удивились, зачем окно расположили так низко, и Фелисити высказала предположение — или скорее утверждение, — что пол в комнате приподнят. Для звукоизоляции? Чтобы увеличить расстояние между полом

этой комнаты и потолком внизу? Из-за того, что горничные рано вставали и могли побеспокоить спящего в «убежище»?

— В те времена никто не открывал окна, — решительно заявила Фелисити, с расстановкой произнося каждое слово, — и поэтому не было никакого риска дефенестрации.

Похоже, это слово я слышала впервые.

— Разве ты не знаешь о Пражской дефенестрации? — спросила Фелисити. — Полагаю, тогда впервые использовали этот термин. У него латинские корни. Это было во время Тридцатилетней войны. В Праге какие-то протестанты выбросили из окна двух католических епископов, но они не пострадали, потому что упали в ров.

— Ты это раскопала для одной из своих викторин?

— Знаешь, Элизабет, я ни разу не устраивала викторину после той, которую мы не смогли закончить из-за этой женщины, Белл Сэнджер, которая пришла и сказала, что Сайлас застрелился. У меня всякую охоту отбило.

— Я так и не знаю результатов расследования.

— Самоубийство в состоянии помутнения рассудка. Если хочешь знать мое мнение, дело не только в плохой балансировке револьвера. Он играл в русскую рулетку.

— Я не очень хорошо представляю, что такое русская рулетка.

— Забава русских белогвардейских офицеров, средство разогнать скуку, — как и следовало ожидать, объяснила она. — В барабане револьвера помещаются шесть патронов, но заряжают только один, так что теоретически вероятность убить себя составляет один к шести, что очень много. Но если барабан идеально сбалансирован, то патрон под собственным весом обычно опускается вниз, так что шансы остаться в живых гораздо выше. Вот почему русская рулетка позволяет обмануть смерть.

— А револьвер Сайласа оказался плохо сбалансированным, — сказала я.

— К такому выводу пришло следствие, но я не знаю... Все это выглядит уж очень подозрительно. Сайлас был помешан на оружии, не мог ни о чем другом говорить, знал о нем все.

— Может, он хотел умереть.

— Не исключено. Бедный Сайлас. Если бы он прожил на день больше, то узнал бы, что унаследовал дом отца и у него есть на что жить.

Я не стала говорить, что уже знаю об этом. Фелисити открыла окно, подняв нижнюю фрамугу, и мы посмотрели вниз с большой высоты; ради

безопасности я присела на пол, а Фелисити, не боявшаяся высоты, стояла рядом в своей мини-юбке и красных колготках и невозмутимо смотрела вниз, как обычно смотрят на вещь, выпавшую из окна на тротуар. Холод заставил нас снова закрыть окно, чтобы защититься от капель ледяного дождя, которые принес резкий порыв ветра.

Когда-нибудь я буду держать Белл за руку, пока она не проснется, всю ночь напролет. Мои пальцы онемеют, но я не уберу руку. Только не теперь. Когда-нибудь я испугаюсь, что она больше никогда не позвонит, несмотря на все обещания, но сейчас уверена, что позвонит обязательно. Все меняется, как говорит Козетта. Белл спала, как мне кажется, успокоенная, что нашла меня, что я согласна приходить, говорить с ней, общаться. Высвободив руку, я легонько коснулась щеки Белл и ушла домой.

Весной я повела Доминика на одно из представлений, которые устраивала труппа, называвшая себя «Глобальный опыт». Мне в голову пришла мысль, что бедняга Доминик абсолютно ничего не поймет и даже испугается; именно поэтому я хотела, чтобы он пошел со мной. Непростительная, постыдная жестокость. Представление строилось на полном вовлечении в действие зрителей. Одетые в балахоны из марли, без каких-либо пуговиц или застежек, артисты труппы танцевали и разыгрывали пантомиму, выбирали себе партнеров из публики, а потом каждая пара стояла или сидела лицом к лицу, и они с серьезным видом прикасались друг к другу, гладили руки, плечи, волосы, стыдливо избегая эрогенных зон. Кроме того, каждая пара вместе изучала разнообразные предметы, якобы видя их в новом свете, и я помню, как со своим партнером (разумеется, не Домиником) приходила в восторг от текстуры, цвета и запаха самого обыкновенного яффского апельсина.

Я уже месяц не видела Белл, но в тот вечер она оказалась среди зрителей «Глобального опыта». По какой-то причине — наверное, потому, что прикосновения к незнакомому человеку и исследование апельсина требовали большой сосредоточенности, — я заметила ее только после представления, когда мы с Домиником сидели в кафетерии театра, носившем название «Пицца любви», пили апельсиновый сок и грызли морковь и стебли сельдерея. Мы уже собрались уходить, поскольку бедный Доминик был до такой степени сбит с толку, что сильно расстроился, и в этот момент я увидела Белл, сидевшую за столиком в дальнем углу в компании двух девушек и двух мужчин.

Один из мужчин был очень похож на нее — смуглее, но с таким же типом лица, с такой же осанкой и такими же грациозными движениями. Прежде чем я успела добраться до столика и поздороваться с Белл,

мужчина встал и направился к бару или прилавку с едой.

— Это твой брат? — спросила я.

Белл повернулась, посмотрела ему вслед и, помедлив немного, кивнула:

— Да. Брат. Красивый, правда?

— Похож на тебя.

— Можно и так сказать. Он тебе нравится? Хочешь, познакомлю?

— Я не одна, и мне уже пора, — ответила я и прибавила: — Приходи. Буду рада.

Так я впервые увидела Марка. Наверное, это правда: он мне понравился, и в те несколько секунд я им восхищалась. Меня тянуло к нему. Как и любую женщину. Доминик приревновал и стал обвинять меня в том, что я пошла в «Глобальный опыт» только ради возможностей для разврата, которых тут не счесть. Это его слова, а не мои. Как-никак, он был ирландцем и умел выражать свои мысли, хотя предпочитал молчать. Через несколько минут я забыла Марка, не предполагая, что снова его увижу, и, естественно, не предвидела, какую роль он сыграет в жизни всех нас. Я думала только о Белл, надеясь, что она придет.

Белл пришла через неделю или около того. В гостиной Козетты собралась целая толпа: Диана Касл со своим приятелем, с которым она опять помирилась, Мервин и Мими, Доминик, Бригитта и Фелисити. Мервин и Мими относились к числу тех пар, которые не могут прожить и пяти минут, не прикасаясь друг к другу. Казалось, на них натыкаешься по всему дому, как будто они могли находиться в двух или даже трех местах одновременно, — стояли и целовались на повороте лестницы, лежали на диване или чьей-то кровати, прижавшись друг к другу губами и бедрами, застывали на пороге открытой двери, положив руки на плечи друг друга и глядя в глаза. Как и следовало ожидать, Козетте поначалу все это нравилось, но потом почти все мы, хотя и по разным причинам, стали возмущаться Мервином и Мими. Они демонстрировали нам то, чего все мы были лишены. Я бы хотела, чтобы меня кто-нибудь любил, но только не Доминик. Доминику была нужна только я и никто другой. Диана все время ссорилась со своим приятелем. А Козетта, бедная Козетта, ни на шаг не продвинулась в поисках возлюбленного, которого так жаждала. Что касается Фелисити, то она очень хотела завести роман, но боялась «из-за прискорбного недостатка практики», как она сама мне сказала, и опасений, что в любую минуту может появиться Эсмонд и увезти ее, не дав шанса отомстить за долгие годы покорности. В тот вечер она рассказывала нам о селевинии. Поначалу это казалось довольно забавным, и все, особенно

Козетта, были очарованы.

— Этот грызун живет в России, где-то в пустыне, и — можете себе представить — был открыт только в 1939 году. Только подумайте: миллионы маленьких толстеньких зверьков жили в русских пустынях, но никто не знал об их существовании. Дело в том, что они выходят на поверхность только ночью. Но самое удивительное в селевинии то, что она может пробыть на солнце не больше нескольких минут — заболевает.

— Я в это не верю, Фелисити, — сказала Козетта. — Ты сочиняешь.

— Клянусь Богом, — голос Фелисити был неуместно серьезен. — Я могу подтвердить каждое свое слово. Посмотрите в энциклопедии «Британника». Возьмите и посмотрите.

— У нас нет «Британники».

— Утром можно взять в библиотеке.

— Я тебе верю, дорогая, только все это так странно. Хотя на самом деле очень мило. Очаровательно. Бедная малютка заболевает, когда светит солнце.

Шли дни, но Фелисити не унималась. Когда на следующий день Тетушка пожаловалась на самочувствие, Фелисити заявила, что та, подобно селевинии, наверное, слишком долго пробыла на солнце. А когда кто-то — кажется, Гэри — сказал, что он единственный ребенок в семье, увидела в нем сходство с селевинией, единственным видом рода селевиний. Ей это казалось необыкновенно смешным. Доминик мрачно смотрел на Фелисити, терзаемый необоснованными подозрениями, что все это делается ради того, чтобы посмеяться над ним.

В тот вечер Козетта надела перстень с гелиотропом. До этого я всего лишь раз видела его у нее на пальце. Теперь камень, наверное, должен был гармонировать с ее новым роскошным платьем с длинной юбкой из зеленого переливчатого шелка, отливавшего красным или зеленым, в зависимости от того, как падал свет. Кольцо по-прежнему выглядело слишком массивным для ее руки, но уже не казалось неуместным. При свете свечей — Фелисити все время зажигала свечи — красные вкрапления в камне сверкали, словно искры на фоне зеленого халцедона.

— Гематит, — сказала Фелисити и взяла руку Козетты, чтобы рассмотреть перстень.

— Нет, — мягко возразила Козетта. — Думаю, это гелиотроп. Кажется, такой термин используют в... как она называется? Петрология?

Фелисити стала спорить:

— О, нет, вы не правы. Это от греческого слова «кровь», как в гемофилии, гемоците и так далее. «Гема» означает кровь, а «тит» —

камень.

— Да, но то другой камень, дорогая, красного цвета.

Козетта была права — на следующий день я проверила, — но не настаивала, поскольку не любила спорить и приходила в ужас от мысли, что способна превзойти кого-то. Она могла извиняться за то, что была права, и массу времени тратила, как выразился Генри Джеймс, на извинения за предосудительные поступки, которых не совершала. Чуждая подобным сомнениям, Фелисити продолжала нравоучительным тоном рассуждать о греческом языке и невежестве современников, которые больше не изучают его, заодно рассказывая об образе жизни маленького грызуна из России. И тут раздался звонок в дверь.

— Наверное, Уолтер, — сказала Козетта.

В тот период он часто приходил к нам, обычно около половины десятого вечера. Я подошла к окну. В конце апреля в это время еще не совсем темно. Появись я на балконе, вежливый Адмет мог бы принять театральную позу, отступить на шаг, прижать руку к сердцу и объявить, что окно — восток, а Джульетта — солнце.^[43] Мне эта идея почему-то пришла по душе. В тот момент я подумала: если между мной и Адметом что-то начнется, это освободит меня от Доминика. Я открыла стеклянную дверь, вышла на балкон, перегнулась через решетку Ланира и увидела, что снизу на меня смотрит Белл. На ней поверх черной одежды была плотно намотана шаль цвета грязи и гранита; последний раз я видела эту шаль, когда Эсмонд укрыв ею мертвое тело Сайласа Сэнджера. Клянусь, это была та самая шаль — я ее узнала.

Белл поднялась вместе со мной наверх; как только открылась дверь гостиной, она сразу увидела Фелисити и, услышав ее «Эй, привет», застыла, словно громом пораженная:

— Что ты тут делаешь?

— Премного благодарна, — сказала Фелисити. — Полагаю, я имею такое же право находиться тут, как и ты.

— Эсмонд тоже здесь?

Никто ей не ответил. Мервин и Мими лежали, обнявшись, на ковре в углу. Доминик взял какой-то музыкальный инструмент Гэри и печально сидел в сторонке, извлекая один и тот же звук. Покосившись на парочку на полу, Белл приподняла свои худые, прямые плечи и развязала шаль, спустив ее до локтей. Потом, к моему удивлению, подошла к Козетте, пожала руку и спросила, как та поживает. Но больше не стала зря тратить время. Белл пришла ко мне и, верная себе, не сочла нужным это скрывать:

— Пойдем к тебе?

Я почему-то решила, что она имеет в виду не спальню, а комнату, выделенную мне для работы. На лестнице — всего ступенек было сто шесть, а до моего кабинета девяносто пять — Белл спросила:

— Все они тут не просто так, да? Наверное, пытаются вытянуть из нее все, что только можно? Она знает?

— Думаю, ей безразлично.

— Я бы не стала терпеть тех, которые обнимаются на полу. Вышвырнула бы их.

— Козетта этого никогда не сделает.

Белл не читала книг. Сомневаюсь, что после окончания школы она прочла хотя бы одну книгу, но если видела томик, непременно брала его и внимательно рассматривала, с удивлением и любопытством, подобно тому, как рассматривают замысловатый узор. Мы закурили, и она обошла комнату, разглядывая все вокруг, пораженная, что я пишу роман; посмотрела на книгу «Княгиня Казамассима»,^[44] которую я читала, полистала пару справочников у меня на столе, взглянула на купленные Козеттой словари, а затем, наконец, повернулась спиной к литературе и ее тайнам, лицом ко мне и к действительности, в которой она разбиралась.

— Полагаю, Фелисити бросила Эсмонда. Во время ссор она всегда говорила, что бросит его раньше, чем ей исполнится тридцать пять. Эсмонд придет за ней, вот увидишь, и она вернется к нему.

Я не могла с этим согласиться. Фелисити была непреклонна и заявляла, что никогда не вернется. Даже если больше не увидит детей. Она даже нашла себе работу официантки в кафе в Шепердс Буш. Я еще не знала: в том, что касается поведения людей, Белл почти всегда оказывалась права. Она разбиралась в людях и могла предугадать их реакцию. Не имея привычки к чтению, почти ничего не зная о литературе, Белл не попала под действие ее наркоза, притуплявшего чувства, и ее суждения о человеческой природе не были искажены ложной реальностью книг.

— Фелисити собирается развестись, — сказала я.

— Эсмонд никогда не согласится на развод.

— По новому закону у него нет особого выбора, — возразила я. — Через пять лет Фелисити может развестись с ним и без его согласия.

Белл уклонилась от прямого ответа. Она зажгла вторую сигарету от окурка первой и села на пол, прислонившись к стене. К комфорту она всегда была безразлична.

— Кто знает, где мы все будем через пять лет?

Когда Белл собралась уходить, полил дождь. Я предложила ей переночевать у нас, хотя народу набралось уже много и пришлось бы

доставать еще один спальный мешок. Но Белл не осталась, даже несмотря на то, что время приближалось к полуночи. Не сказала она и где живет. Конечно, дело было не совсем так, Белл не отказывалась говорить, просто я не задавала прямого вопроса. Я спросила номер ее телефона, а она ответила, что у нее нет телефона. Однако до Аркэнджел-плейс Белл добиралась пешком — она сама сказала мне, когда пришла в первый раз. В отличие от меня Белл была превосходным ходоком, и ей ничего не стоило пройти три или четыре мили, так что радиус окружности, внутри которой мог находиться ее дом, получался довольно большим.

— Ты собираешься идти пешком? — спросила я и прибавила: — Домой?

— Вроде того. — Она махнула рукой, показывая куда-то на северо-восток. — Можно взять такси, только мой бюджет на это не рассчитан.

Я предложила вызвать такси по телефону. Козетта всегда так делает.

— Тогда платить придется ей. Я этого не хочу.

Такое поведение, крайне редкое среди знакомых Козетты, поразило меня. «В Белл есть некая чистота и честность», — подумала я. Она одарила меня своей бесстрастной улыбкой. Единственное, о чем она меня просит, — одолжить плащ, дождевик или хотя бы зонтик. Вот почему мы попали в мою спальню.

Спускаясь по лестнице, мы увидели в нише на площадке третьего этажа Мервина и Мими, застывших в объятии и в полутьме похожих на статуи, по всей вероятности, Венеры и Адониса. Я открыла дверь спальни, забыв о картине, висевшей на противоположной стене. Зажегся свет, и Белл, войдя в комнату, увидела прямо перед собой репродукцию Бронзино. Она медленно подошла к портрету и молча стояла перед ним, пока я рылась в шкафу в поисках плаща. Потом произнесла:

— Это я.

— Картина была написана за 400 лет до твоего рождения, — уклончиво ответила я.

— Все равно это я. Где ты ее взяла? Ты повесила ее сюда потому, что она похожа на меня?

— Да.

Я помогла ей надеть тонкий шелковистый плащ черного цвета. Она завернулась в него и, не поворачиваясь ко мне лицом, запахнула шаль. Дверь в комнату осталась открытой настежь. Снизу доносились звуки ситара. Белл обхватила мое лицо ладонями и поцеловала меня. Этот поцелуй в губы я принимала и интерпретировала как благодарность другой женщины за дружбу и привязанность, хотя длился он довольно долго, и мне

показалось — правда, уверена я не была, — что кончик языка Белл коснулся моей верхней губы. Звук открывшейся внизу двери и громкое треньканье ситара заставили нас отпрянуть. Чуть позже, когда Белл уже ушла, я почувствовала, что дрожу — но не тогда, не в ту минуту.

— Внизу, в холле, должен быть зонт, — небрежно заметила я. — Не стоит тебе мокнуть.

Но Белл передумала насчет такси, и когда мы вышли под дождь и ветер, остановила машину, проезжавшую по Аркэнджел-плейс. Дверь захлопнулась, а ключа у меня не было, и Козетте пришлось сойти вниз, чтобы впустить меня в дом.

— Дорогая, ты замерзла, — сказала она. — Ты вся дрожишь.

С тех пор я не теряла Белл из виду — до того момента, пока за ней не приехали и не увезли ее. Нет, правильнее сказать, что она больше не пропадала.

То лето было богато событиями. В издательстве взяли мою книгу. Фелисити нашла любовника. Козетта устроила первый из своих грандиозных приемов. Бригитта вернулась домой в Оденсе. Мервин и Мими съехали и поселились в трейлере.

Козетта сказала, что никогда не сомневалась, что я найду издателя. Она прочла рукопись и всем рассказывала — чем меня немного смущала, — какая это замечательная книга. Нечто среднее между «Унесенными ветром»^[45] и «Убийством в Восточном экспрессе»,^[46] говорила она без всякой иронии, считая это высшей похвалой. На самом деле Козетта была недалеко от истины. Теперь, думала я, получив неожиданно большой аванс, можно приступать к книге о творчестве Генри Джеймса. И только внимательно изучив контракт, поняла, что издатель получил преимущественное право на мой следующий роман, который я обязана представить не позже чем через двенадцать месяцев. До этого я и не подозревала, что жизнь полна ловушек, попав в которые приходится беспрерывно бежать по кругу, как в беличьем колесе.

Бригитту поймали на мелком воровстве в ресторанном дворике универмага «Харродз». И дело не в том, что она голодала — причина, скорее всего, заключалась в ее психическом состоянии. В «Доме с лестницей» питались нерегулярно, и в большинстве случаев приходилось самому себя обслуживать, но холодильник и кладовая были до отказа набиты роскошной едой, продуктами высшего качества — несезонными овощами, семгой, фазанами, икрой, паштетами, профитролями, клубникой со сливками. У Козетты была привычка брать с собой Тетушку на прогулку,

и они всегда ходили по магазинам. Бригитта вошла в ресторанный дворик с двумя пустыми тележками «Харродз», должно быть, наивно полагая, что их содержимое посчитают уже оплаченным. Прежде чем ее поймали, она успела положить туда жестяные коробки с печеньем, плитки шоколада и банку каких-то засахаренных фруктов. Мне пришло в голову, что ее, наверное, вдохновил пример Гэри, у которого была привычка набивать сумки остатками ужина из ресторанов, куда нас водила Козетта. К июлю он тоже уехал — в Индию, как было модно в те времена. Мервин переселился в трейлер, заявив нам, что больше не в состоянии переносить ничего присутствия, кроме Мими, да и ее он может терпеть только наедине. После его отъезда мы не досчитались двух бутылок бренди и шести бутылок кларета, но я ничего не сказала Козетте, хотя подозревала, что она знает.

Любовника Фелисити звали Харви — фамилии не помню. Он относился к числу высоких и худых тридцатилетних мужчин с темными всклокоченными волосами, с усами и бородой, в поношенном свитере без воротника и в заплатанных джинсах, толпы которых в те времена — да и сегодня тоже — наводняли улицы западной части Лондона. Он почти все время молчал и был робок, и подходил скорее Тетушке, чем Фелисити. Я не знаю, как она с ним познакомилась, и не присутствовала, когда его нам представляли. Харви просто появился рядом с Фелисити. Вчера она еще была одна, а сегодня Харви уже сидел рядом с ней и держал за руку. Следует отдать ей должное — вероятно, она спросила Козетту, можно ли ему остаться, переехать в «Дом с лестницей». Просто я этого не слышала.

Фелисити очень гордилась, что у нее есть свой мужчина, и это было заметно. Она чем-то напоминала Козетту, когда та только что подцепила Айвора Ситуэлла. Я сказала об этом Белл, когда мы сидели рядышком на лестнице во время одной из вечеринок Козетты. Белл принарядилась: боа из перьев и искусственные розы на черном крепдешиновом платье, купленном на распродаже поношенных вещей у церкви Св. Марии на улице Болтонз. Именно тогда она сообщила мне, что Айвор не настоящий Ситуэлл, хотя, похоже, не очень представляла, кто такие настоящие Ситуэллы.

— Два брата и сестра, писатели, как сказала Эва. — Именно Эва, бывшая подруга Адмета, раскрыла тайну. — Она правильно сделала, что избавилась от него, — прибавила Белл, имея в виду Козетту. — Думаешь, ей нужен кто-то другой?

— Ей нужен тот, кого она сможет полюбить и кто сможет полюбить ее. Как и всем нам, правда?

Белл как-то странно, искоса посмотрела на меня. И ничего не

ответила. Возможно, думала, что я не жду ответа, но скорее потому, что сама не относилась к той категории людей, о которой шла речь. Наш поцелуй больше не повторялся. Мы вели себя сдержанно, по-дружески — сидели на ступеньках, разложив между собой бутылку вина, половину французского багета и кусок сыра бри и курили сигареты, одну за одной. Обсуждали гостей, которые поднимались и спускались по лестнице, сидели в холле пятью этажами ниже, толпились на лестничной площадке под нами.

Пришла Дон Касл с мужем, которые чувствовали себя явно не на месте, но были полны решимости повеселиться. Пришел даже Морис Бейли. Весь вечер он провел в столовой, беседуя с Тетушкой. Уолтер Адмет был с новой женщиной — конец моим надеждам соблазнить его, — а Фей, которую Козетта давно простила, с новым мужчиной. Пара балетных танцоров, муж и жена, недавние знакомые Козетты, приехали рано. Красотой Пердита Рид могла соперничать с Белл, но была совсем не похожа на нее: крошечная, белокожая, с классической балетной внешностью и черными, как вороново крыло, волосами. Она была уже в шаге от международной известности, когда влюбилась в танцовщика из Мадрида. Вероятно, Пердита хотела, чтобы он всегда выступал вместе с ней, и это разрушило ее карьеру. Я случайно услышала, как новый приятель Фей презрительно отозвался о Козетте, и хотя Луис Льянос лишь улыбнулся в ответ, но встать на ее защиту не поспешил. Они снимали квартиру в Хэмпстеде, изящно и дорого одевались, но были бедны.

Многие пришли на эту вечеринку, как справедливо заметила Белл, ради бесплатного угощения.

— Все слетелись сюда, — сказала она, — на дармовщину.

Я вспомнила эпизод из «Великого Гэтсби»,^[47] когда в доме Гэтсби собирается большая компания и юные дамы говорят о нем гадости, срывая его розы и угощаясь его шампанским. Разумеется, Белл ничего такого не имела в виду, потому что никогда не слышала о Фитцджеральде и, если уж на то пошло, о других писателях тоже. Иногда мне кажется, что всем было бы лучше, если бы я о них тоже не слышала и в университете изучала историю или политическую экономию.

Еду нам привезли готовую, но все обслуживали себя сами. Наливали тоже сами, потому что у Козетты, которая редко выпивала больше полбокала вина, так было заведено, но это оказалось ошибкой. К половине одиннадцатого многие уже напились. Примерно к тому же времени по лестнице откуда-то снизу начал подниматься сладковатый дымок марихуаны. Тетушка последовала за ним, захватив с собой вещи, которые

старые дамы берут с собой в постель: книгу, очки, сумочку и корзинку с шитьем. К моему удивлению, Белл вскочила и предложила ей руку. Тетушка с трудом тащилась по лестнице, держась за перила, с выражением усталой растерянности на сером лице, и Козетта, наблюдавшая за ней с лестничной площадки внизу, уже собиралась броситься на помощь. Такого от Белл я не ожидала — раньше она, похоже, вообще не замечала Тетушку. Тем не менее Белл знала, где находится спальня старушки, потому что открыла нужную дверь, провела Тетушку в комнату, произнесла: «Спокойной ночи, миссис Миллер», — и пожелала приятных снов.

Мы спустились по лестнице в поисках того, что Белл лаконично называла «травкой». Лестничная площадка на том этаже, где находилась гостиная, была просторнее остальных, и там с одной стороны стоял диван с изогнутыми подлокотниками, а с другой — что-то вроде тахты без спинки, но с вертикальными боковинами. Когда-то у меня была открытка с фотографией Пруста, сидевшего на похожей тахте, которая привела Козетту в восторг, и она заплатила антиквару с Кенсингтон-Черч-стрит огромные деньги, чтобы он нашел для нее такую же. Теперь на ней сидели Фелисити с Харви и, наверное, следуя примеру Мервина и Мими, целовались, обнимались и ласкали друг друга. На диване напротив сидел Адмет и пил бренди; его девушка лежала, пристроив голову ему на колени.

Гости сидели на ступеньках, по большей части пьяные; многие были заняты тем, что Айвор однажды напыщенно назвал «подготовкой к соитию». Морису Бейли все это надоело, и он собрался домой. Нахлобучив свою летнюю шляпу из белой соломы, он стоял перед входной дверью, пожимал руку Козетты и настоятельно советовал не переутомляться.

Мы с Белл ненадолго присоседились к компании курильщиков, которые устроились в столовой и передавали по кругу сигарету с марихуаной, наколотую на шляпную булавку с марказитовой розой, должно быть, принадлежавшую Козетте или даже Тетушке. Двери в сад оставались открытыми. Ночь была тихой и теплой, и большая оранжевая луна поднималась над крышами и шпилями Ноттинг-Дейл. Бледный свет, который она отбрасывала, казался каким-то таинственным. По мере того как всходила луна, похожая на большой, яркий, сферический фрукт, подул легкий ветерок, колыхавший серую листву и заставлявший листья эвкалипта дрожать, издавая негромкий треск. Несколько человек стояли у дверей и наблюдали восход луны, комментируя его с преувеличенным восхищением. В то время очень многие восторгались природой, почти любым природным явлением, даже цветущим сорняком, причем эти люди, как правило, абсолютно не разбирались в естествознании. В углу сада на

каменной скамье, за которой росла высокая маклея с синеватыми, похожими на виноградные, листьями и пушистыми оранжевыми цветами, Гэри и Фей наблюдали за своим приятелем, который отправился в психоделическое путешествие. Они дали ему ЛСД, подмешав в ложку джема, и теперь отступить было уже поздно; еще ничего не произошло, но парень вспомнил вескую причину не экспериментировать с галлюциногенами.

— У меня фобия, — нервно говорил он. — Я боюсь пауков. А вдруг я их увижу? Они будут ползать по мне. Я сойду с ума, если увижу на себе пауков.

Доминик, умудрявшийся сохранять одиночество в толпе, стоял рядом и смотрел на них; лицо его было несчастным и растерянным, как у тайного христианина на римской оргии. Когда он меня увидел, смятение на его лице сменилось осуждением. Я знала, что Доменик скоро уедет — сестра нашла ему комнату в Килбурне, на соседней улице, — и, будучи трусихой, надеялась избежать сцен, объяснений и убеждала себя, что боюсь не достойного расставания, а скандального. Поэтому я поспешно отвела взгляд, отвернулась, взяла Белл под руку и повела в дом.

И тут одновременно случились две вещи. Часы на колокольне церкви Св. Архангела Михаила пробили полночь, и раздался звонок в дверь. И не просто звонок, а очень настойчивый, словно кто-то с силой нажал пальцем на кнопку звонка и не отпускал. Я подумала, что пришли еще гости, скорее незваные, чем званые, поскольку в доме было примерно поровну и тех и других. Иначе и быть не могло, потому что Козетта сказала Гэри, Фей, Доминику, Фелисити, Харви и даже балетным танцорам, чтобы они привели всех, кого хотят.

— Скорее всего, недовольные соседи, — сказала Белл.

Но это оказались не соседи и не гости. Это был Эсмонд Тиннесе.

В дом его впустил кто-то другой, но мы с Белл были первыми знакомыми, которых он увидел, если не считать жены, единственными людьми здесь, которых он знал, поскольку к тому времени Эльза, называвшая себя Львицей, вышла замуж и уехала во Францию. Эсмонд и раньше не отличался полнотой, но теперь похудел еще больше. И стал похож на аскета, даже на духовное лицо. Вроде монаха после сурового послушания или поста. Я вспомнила, что Эсмонд был очень религиозен, и теперь его лицо сохраняло сосредоточенное и отрешенное выражение, как у мученика на картине эпохи Возрождения. Или мне просто так казалось при лунном свете и колеблющемся племени свечей, единственного

освещения прихожей.

— Я пришел за своей женой. — Эсмонд обращался ко мне: — Где она? За моей спиной кто-то нервно хихикнул. Я была потрясена. Меня поразила сама ситуация: такой человек, как Эсмонд, во многих отношениях старомодный, является без предупреждения посреди ночи в незнакомый дом — независимо от причины. Похоже, он угадал мои мысли.

— Я приехал в Лондон по делам. На машине. Провел тут весь день. На обратном пути, у Мраморной арки, вдруг решил свернуть сюда. Мне показалось, так будет лучше всего. — Голос Эсмонда звучал отрешенно, как у человека, пережившего ужасное несчастье, сделавшее его бесчувственным. Или, наверное, как у человека, поступившего согласно вере и переложившего свою ношу на плечи Бога. — Больше, — прибавил он тем же тоном, — так продолжаться не может.

— Она где-то наверху... — промямлила я, но Белл оказалась сообразительнее и, вне всякого сомнения, вспомнив, чем Фелисити занята наверху, была уже на середине лестничного пролета, прежде чем я успела закончить предложение.

Эсмонд последовал за ней, я за Эсмондом, а за мной целая процессия; все почувствовали назревающую мелодраму и, устав от вечеринки, ждали нового акта, кульминации или, по крайней мере, нового поворота событий. На нижней лестничной площадке и примыкавших к ней ступеньках все стихло, а над изгибом перил появились любопытные лица. Наверху шум, естественно, не умолк, и к нему присоединились звуки музыки от проигрывателя в комнате Гэри на втором этаже, где кто-то на полную громкость включил запись «Роллинг стоунс».

Как бы то ни было, Белл не успела. Не понимая, в чем дело, и не зная, кто пришел, Фелисити и Харви, давно переместившиеся с кушетки на настоящую кровать, вышли из спальни Козетты — растрепанные, с пустыми винными бокалами в руках. Фелисити упорно продолжала носить мини-юбки, хотя мода на них прошла; в той черной кожаной юбке, что обтягивала ее бедра, была расстегнута молния. Длинные черные волосы в беспорядке падали на плечи, а лицо — она всегда сильно красилась — напоминало палитру художника после дня упорного труда. Харви обнимал ее за плечи одной рукой, и его ладонь сжимала грудь Фелисити, словно он пытался сцедить молоко.

— Кто это? — спросила Козетта.

— Ее муж.

— О, господи. Похоже на самые разнузданные оргии времен Римской империи, правда?

Увидев Эсмонда, Фелисити вскрикнула.

Потом я говорила кому-то, наверное, Козетте, что этот крик должен был испугать Эсмонда. Вне всякого сомнения, он вспомнил мгновения нежности и страсти, которые они пережили вдвоем, возможно, первые минуты зарождения любви или времена, когда при виде его Фелисити не вскрикивала и не пряталась в объятиях другого мужчины, а радостно бежала к нему. Но лицо Эсмонда осталось бесстрастным.

— Фелисити, я хочу, чтобы ты уехала со мной. Пойдем, и через час мы уже будем дома.

Харви явно не хотел во всем этом участвовать. Фелисити льнула к нему, однако он уже разомкнул объятия, что-то прошептал ей и попятился. Она оторвала лицо от его груди, медленно повернулась и съежилась, опустив плечи. Сверху по лестнице спускались гости. Не думаю, что Эсмонд их заметил, и вообще, замечал ли он кого-либо, кроме себя и Фелисити — разве что присутствие смутных, не похожих на людей фигур, вроде безликого хора в греческой трагедии.

— Пойдем со мной, пожалуйста, — повторил Эсмонд. — Хватит уже.

Я подумала, что он вспомнит о детях, но ошиблась. Он просто повторил свою просьбу. Лестничная площадка по-прежнему освещалась только луной и свечами, но теперь Эсмонд, никогда прежде не бывавший в доме, поднял руку и нажал на клавишу выключателя, словно проделывал это каждый вечер на протяжении многих лет. На площадке висела люстра, состоявшая из металлических стержней с шарами из травленого стекла, светившая так ярко, что Козетта старалась ее не включать. Когда ее сияние затопило площадку, заставив присутствующих прищуриться и обнаружив их спутанные волосы и помятую одежду, Фелисити вновь вскрикнула, на этот раз жалобно и покорно. Эсмонд подошел к ней, протягивая руку. Она колебалась. Потом растерянно спросила:

— А как же мои вещи?

Я бы не удивилась, услышав чей-то смех, но все молчали, и только сверху доносился голос Мика Джаггера. Из всех присутствующих Эсмонд знал только меня и Белл и поэтому ответил, не глядя на нас и не отрывая взгляда от Фелисити:

— Элизабет или Белл их пришлют.

Фелисити взяла его за руку. Они прошли мимо меня и стали спускаться по лестнице. На лице Фелисити было написано сокрушительное поражение. Свобода продлилась девять месяцев, и я сомневалась, была ли она в радость. Эсмонд никому не сказал ни слова, и Фелисити тоже. Парадная дверь тихо закрылась за ними, и я услышала, как завелся

автомобиль.

Через две или три недели я получила от Фелисити записку с благодарностью за то, что прислала два свертка с ее одеждой, а примерно через год или чуть больше она позвонила и пригласила нас с Козеттой в Торнхем на Рождество. Мы были тронуты, но по разным причинам отказались. Потом Эльза рассказала мне, что Эсмонд купил квартиру где-то у черта на куличках, очень удобную для свиданий, чтобы у Фелисити имелось нечто вроде убежища. До меня доходили вести о ней, но мы не виделись и не разговаривали, пока она не позвонила мне две недели назад.

После того как они ушли, вечеринка угасла. Такого рода события не располагают к веселью — как призрак, вошедший в комнату и севший на свободное место за столом. Харви мы больше не видели. Он жил в «Доме с лестницей», спал с Фелисити в ее комнате наверху, но ему, наверное, было куда пойти, потому что он исчез вместе с толпой, которая рассосалась после ухода танцоров.

Остались только Гэри, Фей и их страдающий фобией приятель; они по-прежнему сидели в саду на каменной скамейке и при лунном свете были похожи на статуи фонтана после того, как в нем выключили воду. Обнявшись и покачивая головами, они пребывали в прострации, мирном отупении, характерном для любителей ЛСД. Мы с Белл смотрели на них из опасного окна в комнате наверху, той самой, которую занимала Фелисити. Я привела сюда Белл и предложила переночевать, когда она сказала, что идти домой уже поздно. Мы открыли нижнюю фрамугу, легли ради безопасности на живот и высунулись из окна. Небо было чистым, но звезд мы не видели. Сад Козетты превратился в настоящую помойку: пустые бутылки, разбитые бокалы, сигаретные окурки и горбушки хлеба.

— Не понимаю, зачем люди женятся, — сказала я, не подозревая, что через три или четыре года сама выйду замуж.

— Женщины — для того, чтобы кто-то их содержал, — серьезно ответила Белл. — Они выходят замуж ради безопасности.

— У Фелисити высшее образование, и она может найти работу. Зачем ей нужно, чтобы ее содержали?

Белл рассмеялась — тихо и презрительно:

— Ты же знаешь, что я об этом думаю. Не все так помешаны на работе, как ты, — посмотри хотя бы на толпу, которая собралась тут сегодня вечером.

Ночь и доброжелательность Белл придали мне смелости, и я спросила: зачем она сама вышла замуж? Почему она вышла за Сайласа?

Белл рассказала, что училась в художественной школе, Лестерском

колледже искусств, и там познакомилась с Сайласом, который был ее руководителем. Они поженились потому, что Белл забеременела, но потом Сайлас заставил ее сделать аборт. Вскоре Сайласа уволили — или пригрозили уволить, или что-то в этом роде — из-за его склонности к опасным играм с оружием, так что он уехал и попытался зарабатывать живописью.

— Значит, ты вышла замуж не для того, чтобы тебя содержали.

— Нет, именно для того. Отчасти. Я знала, что у Сайласа старый больной отец, который ему что-нибудь оставит. Честно говоря, я думала, что больше. Но ведь я не так уж сильно ошиблась, правда? Получила наследство, и оно меня содержит — пока.

Потом мы пожелали друг другу спокойной ночи, и я спустилась в свою комнату, радуясь, что сумела кое-что разузнать о прошлом Белл. Тогда я понятия не имела — естественно, не имела, потому что верила ей, как и все остальные, как Эсмонд Тиннесе, который однажды признался в этом, а причиной тому, если уж быть до конца честной, была ее кажущаяся искренность и прямота, — что все это ложь. Самое главное в ее рассказе было неправдой. Когда люди лгут о своем прошлом, то почти всегда искажают его, чтобы польстить себе. Именно в этом причина их лжи. Правда недостаточно эффектна и не делает их интересными, опытными или успешными людьми, какими они хотят казаться. Белл в этом отношении была уникальна. Она сочиняла прошлое, выставлявшее ее в невыгодном свете.

Думаю, она отвергла правду просто из каприза.

В Венесуэле есть деревня, половина жителей которой поражены хореей Хантингтона. Такое распространение болезни вызвано браками между близкими родственниками; в этой глухомани бедняги до недавнего времени не знали о наследственном характере заболевания и вступали в брак, несмотря на болезнь своих родителей или родителей супруга. В деревне на берегу озера считали, что хорея Хантингтона — хотя они не знали этого названия — встречается только в их местности, и были очень удивлены, когда им сказали, что она распространена во всем мире.

Все это я прочла в сегодняшней газете и невольно задавала себе вопрос: видела ли Фелисити эту статью? Если Фелисити не очень изменилась, это как раз по ее части — то, чем она может развлечь домашних, как когда-то развлекала нас селевинией, «роковым кинжалом» и пражской дефенестрацией. Хотя Фелисити могла уже давно уцепиться за эту тему, поскольку в последнее время газеты, телевидение и радио уделяли много внимания болезни Хантингтона, которая стала предметом повышенного внимания общества, потеснив рассеянный склероз и даже шизофрению. Перед тем как идти на встречу с Белл, я еще раз пробежала глазами статью, посмотрела на фотографии бедных, растерянных людей и перечитала последний абзац, где сообщалось о тесте, который теперь доступен, и о консультациях для потенциальных жертв болезни.

Если шестидесятые были эпохой сексуальной революции, а семидесятые — символом разрушения окружающей среды, то восьмидесятые стали десятилетием групп поддержки и консультантов. Сомневаюсь, существует ли на свете какая-либо человеческая проблема, материальная или духовная, для которой нельзя найти консультанта. Может, моя жизнь сложилась бы иначе, будь в шестидесятые годы у меня возможность обратиться к консультанту? Кто знает... А так большая часть моих поступков совершалась в ожидании нелепого паралича и приближающейся смерти: ради заработка я писала плохие, скандальные, бессмысленные книги, жила радостями сегодняшнего дня, спала с тем, с кем хотела, вела беспорядочную сексуальную жизнь на том сомнительном основании, чтобы ничего не пропустить; затем вышла замуж, нечестно, не имея на это права, надеясь сделать вид, что все это понарошку, придумала ложную причину своего нежелания иметь ребенка. И еще, конечно, Белл...

Это похоже на безумие, но вы мне вряд ли поверите, если я скажу —

почти искренне, нет, я уверена, даже не почти, а искренне, — что если болезнь Хантингтона действительно меня настигнет, то все будет оправдано, и я, по крайней мере, смогу сказать, что мной руководил вполне естественный страх. Что я была права, отказавшись рожать ребенка, отказавшись давать жизнь человеческому существу с пятидесятипроцентным шансом заболеть хореей Хантингтона. Я была права, сочинив за семнадцать лет двадцать пять слащавых любовных романов с сексом и приключениями, чтобы все эти годы прожить в комфорте. Я была права, что не сидела в бедности и одиночестве на съемной квартире, в муках сочиняя книги, которые хотела бы написать, и мечтая, что когда-нибудь, в счастливом или отмеченном печатью паралича будущем, их издадут. (Хотя на самом деле заработок оказался не таким большим, как мне представлялось; я не разбогатела, не достигла большого успеха или славы, как и большинство писателей, даже поставщиков приключенческой, любовной и детективной литературы, если только они не пишут искренне.)

На следующей неделе мне исполняется сорок, и, скорее всего, как выразилась Белл, я могу чувствовать себя в безопасности. Иногда поддаваясь пессимистическому настроению, я начинаю думать, что зря испортила себе жизнь. Но теперь бессмысленно о чем-то сокрушаться, произносить нелепые, жалкие слова. Я должна увидеться с Белл, встретиться с ней после ее первого рабочего дня в магазине на Уэстборн-Гроув.

Нельзя сказать, что мне этого очень хотелось. Белл тоже ни о чем не просила, хотя позвонила на следующее утро после того, как я ушла, оставив ее спящей, и печально напомнила мне, когда она приступает к работе и где находится ее магазин. Я пошла потому, что считала это своим долгом. Бедная женщина много лет провела в тюрьме, и кто-то должен за ней присмотреть и немного поддержать, пока она не привыкнет к новому миру — хотя бы давняя знакомая. Всякий, кто когда-то страстно любил и теперь чувствует ответственность за объект былой любви — ответственность, которая раньше диктовалась страстью, а теперь долгом, — поймет меня. Волнение, страстное желание, охватившие меня, когда я преследовала Белл в метро и на улицах, были эфемерными, ложными, и теперь я ощущала скорее усталость и скуку от чего-то такого, что не могла сформулировать.

Увидев меня, Белл удивилась, но очень обрадовалась. Какую благодарность прежде вызывали у меня эти признаки радости — просиявшее лицо и протянутые ко мне руки! Конечно, я не собиралась

опаздывать. Хотела прийти за десять минут до закрытия магазина и ждать Белл. Но перед самым выходом из дома зазвонил телефон, а потом я нашла одну из кошек на ступеньках крыльца — о существовании этого места она не должна была знать, — и мне пришлось остановиться и вернуть животное в дом, так что с Белл мы встретились только на углу Ледбери-роуд, да и то мне пришлось бежать от станции метро Уэстборн-парк.

Я заметила ее раньше, мне показалось, что Белл идет, просто бредет без определенной цели, а если в сторону Ноттинг-Хилл-Гейт, то и в неверном направлении. Но, еще не успев окликнуть ее, я все поняла — или подумала, что поняла. Она обходила Аркэнджел-плейс. Состояние Белл я в полной мере осознала только после ее слов:

— Я точно не помню, где это.

Вероятно, вы думаете, что любой, кто совершил или видел такое, навсегда запомнит место, где все случилось, потому что забыть можно все, но только не это. В памяти должна сохраниться карта, план города, где обозначены внушающие страх уголки, зловещие ориентиры и вехи, которые предупреждают, от чего нужно держаться подальше. Но Белл сказала:

— Наверное, у меня что-то с памятью — можно посмотреть в путеводителе по Лондону. В любом случае там все изменилось.

Ничего не изменилось — во всяком случае, сильно. Кое-что подновили, а так все осталось прежним. Мы вместе пошли к Лэдброк-Гроув.

— Ну, как? — спросила я.

— В магазине? Не знаю, справлюсь ли я. — Белл рассмеялась; ее смех всегда был сдержанным и тихим, а теперь сделался совсем призрачным, похожим на шепот в дальнем конце темного коридора. — Хозяйка боится доверять мне деньги. Я чуть не сказала ей, что меня упекли в тюрьму не из-за того, что я воровала из кассы.

— Наверное, лучше этого не говорить.

— Я и не стала. Знаешь, я уже не такая откровенная, как раньше.

Я не очень понимала, куда мы идем. Казалось, мы обе идем не туда — учитывая, что нам нужно в разные стороны. А потом до меня дошло, что можно сесть в метро не только на станции Лэдброк-Гроув, но и на Уэстборн-парк и что Белл собирается ко мне домой. А что я хотела? Выпить по чашке чая в кафе, а затем отправить Белл в Килбурн? «Призрачен не только смех Белл, — подумала я. — Она сама словно призрак». Мы представляем призраков в виде бледных, полупрозрачных, мерцающих фигур, а Белл теперь стала какой-то выцветшей, выбеленной

— ее кожа и волосы как будто обесцветились, и даже глаза сделались неопределенного цвета. Только одежда осталась черной. Интересно, что стало с шалью, которая была на ней, когда она впервые пришла к Козетте, и которой прикрыли тело Сайласа?

Белл курила на ходу, а возле станции метро зашла в табачный магазин, чтобы купить еще сигарет. В поезде она немного вздремнула, но у меня дома оживилась и принялась расхаживать по комнатам, восхищаясь всем. Коты тут же окружили ее, почему-то сразу же полюбив, и принялись карабкаться по складкам черного хлопка, усыпанного пеплом. Боюсь, причина их любви заключалась в запахе — им нравились люди, от которых сильно пахло, неважно чем; Белл была прокурена насквозь и пахла как головешка, вытащенная из камина. Теперь она снова заснула, и ее длинные бледные руки свисают с подлокотников кресла, словно пустые рукава.

Я сижу напротив нее со стаканом джина и сухого вермута в руке. Белл лишь слегка пригубила свою порцию, а половина ее сигареты сгорела в пепельнице. Мне кажется странным, что мы проговорили почти два часа, а она ни разу не упомянула Козетту или, если уж на то пошло, Марка. Но может, это не так уж странно.

Мы с Козеттой не приняли приглашение Фелисити — в отличие от Белл, которая провела Рождество в Торнхеме и потом рассказала мне, что там все осталось таким же, как до побега Фелисити. Даже на детях ее долгое отсутствие, похоже, никак не отразилось, и Миранда по-прежнему с высокомерной нравоучительностью цитировала высказывания матери. «Мама говорит, что есть перепелиные яйца — отвратительно», или «мама говорит, что чулки носят только старые дамы».

Рождественские праздники прошли точно так же, как в тот год, когда умер Сайлас. Только на второй день после Нового года не устраивалась викторина. Как бы то ни было, присутствовали и пожилая Джулия Данн, и престарелый бригадир с женой, и сестра Фелисити Розалинда, и зять Руперт. И, разумеется, леди Тиннессе, которая вела себя по отношению к Фелисити так же, как всегда. В последний вечер Фелисити устроила дискуссию по поводу возможного восстановления смертной казни, против которой, как сообщила Белл, решительно выступал Эсмонд и которую с жаром молодости защищала миссис Данн.

Среди многих черт, привлекавших меня в Белл — я имею в виду то, что поддавалось определению, — был ее интерес к людям, сходный с моим. Единственная из моих знакомых, она действительно стремилась проникнуть в мысли людей, понять, как работает их голова; единственная,

кто мог часами говорить о других, не уставая и не скучая при этом. Нигде не учившись, она великолепно разбиралась в человеческой психологии. От Белл я многое узнала о людях, хотя и не догадалась вставить эти знания в свои книги, предпочитая использовать стереотипы для описания персонажей. И, конечно, у нее было — всегда было и сохранилось по сей день — удивительное воображение.

К тому времени я уже выяснила, почему Белл не хотела мне говорить, где живет, не приглашала к себе. Это была квартира ее матери в Харлсдене. Белл часто повторяла, что не считает Лондоном все, что находится к западу от Лэдброк-Гроув или к востоку от Сити, и поэтому я понимаю ее отвращение к Уэст-Тен и его районам. И еще мать. Белл сказала, что теперь, раз уж речь зашла об этом, она не будет ничего скрывать — все дело в том, что ей стыдно знакомить меня с матерью.

— Если бы ты увидела ее на улице, то приняла бы за бездомную старуху. Мать даже не следит за собой. Она из тех старых кокни, — здесь Белл опять рассмеялась своим сухим смехом, — которые носят с собой вставные зубы в жестянке из-под табака.

— Твоя мать не может быть такой старой, — возразила я.

— Она слишком стара для моей матери. Когда я родилась, ей было далеко за сорок. Я съехала от Адмета, и мне больше некуда было идти. Все равно она неважно себя чувствует. За ней нужно присматривать, а, кроме меня, у нее никого нет.

Я колебалась. В конце концов, почему я должна молчать?

— Но у тебя же есть брат, правда? Я его видела на представлении «Глобального опыта».

Она рассмеялась. Наверное, от воспоминаний о тех странных хеппенингах.

— Ах да, Маркус.

— Маркус? — Я была очарована этим именем и предположила, что человек, назвавший своих детей Маркусом и Кристабель, не может быть так уж плох.

— Вероятно, тогда она и не была — не то что теперь.

Я сказала, что невозможно жить с матерью до конца жизни, естественно, имея в виду жизнь матери.

— Не волнуйся, не буду, — ответила Белл.

Вскоре после этого разговора я вспомнила, как после смерти Сайласа Эльза рассказывала мне, что Белл некуда идти — родители умерли, и у нее нет родственников, которые могли бы ее принять. Но если Белл стыдилась матери и хотела скрыть ее существование, то, вне всякого сомнения, могла

сказать, что матери нет в живых. Это выглядело вполне логичным. Как странно и печально, что она так презирает свою мать, а я свою — понимаете, приемную — так люблю. Той весной Козетта заболела. На самом деле ничего серьезного с ней не случилось, однако она испугалась сама и напугала меня, а я ее так любила, что все сильно преувеличивала. У нее было маточное кровотечение, но я решила, что Козетта умирает от рака, и поделилась своими страхами с Белл.

— Когда ты узнаешь, что с ней? — спросила она.

— Примерно через неделю.

Я представляла, что теряю Козетту, представляла, как она сама боится смерти. И рассказала об этом Белл: о долгой, больше похожей на сон, жизни Козетты и о том, что ей наконец представился шанс — возможно, слишком поздно — жить по-настоящему. Как ужасно, когда свобода, которая оказалась слишком краткой и которую не успел толком почувствовать, должна уступить место смерти. Белл слушала внимательно и спокойно. Временами казалось, что она просто не понимает, что такое любовь, и, приоткрыв рот и склонив голову набок, размышляет о ней как о предмете возможного исследования. Но я не уверена, что тогда тоже так думала, что была настолько мудра.

Козетта легла в больницу, в одну из частных клиник на Харли-стрит, где ей сделали соскоб и обнаружили полип, который был успешно удален. Думаю — нет, уверена, — что Козетта ужасно гордилась. Понимаете, это возвращало ей молодость, когда репродуктивная система была все еще активна. Я пришла навестить ее, стояла в толпе, собравшейся у ее постели, и с недоумением слушала ее. Она говорила Дон Касл и Перпетуа, что у нее «ничего не вырезали», что все органы у нее в «рабочем состоянии» и ее не стерилизовали. Поэтому я ничего никому не сказала, даже Белл, убеждая себя, что теперь, когда волнения остались в прошлом, интерес к состоянию Козетты тоже пройдет.

Ее возвращение домой мы отметили цветами и пиром. Цветы поставили в гостиную, в ее спальню и в большую жардиньерку на лестничной площадке первого этажа. Белл помогала мне выбирать и расставлять цветы, а потом накрывать стол в столовой и покупать продукты. Естественно, все покупалось на деньги Козетты, поскольку у нее был кредит в кулинарии и в цветочном магазине, хотя она почти все время сидела на диете и ела меньше остальных; но, как она сама выражалась, важно внимание. По возвращении домой Козетта выглядела усталой и какой-то задумчивой. Мне пришло в голову — слишком поздно, — что кто-то должен был приехать за ней на машине, чтобы избавить ее от поездки в

такси с незнакомым водителем. Но я не умела водить, а ни Гэри, ни Фей, ни их знакомый «кислотник» Риммон (его настоящее имя было Питер), который поселился в доме, не спрашивая разрешения, не предложили своих услуг — их даже не было дома, когда Козетта выписывалась из больницы.

Такие люди, как Козетта — добрые, щедрые, бескорыстные и терпеливые, — испытывают неумеренную благодарность за любую мелочь, которую для них делают другие, а их самих всегда используют и игнорируют. Литература девятнадцатого века полна подобных персонажей, и поэтому мы привыкли считать их судьбы писательским вымыслом. Однако такие люди существуют в реальной жизни — чтобы помогать другим и быть растоптанными теми, кто им больше всего обязан. В этом свете жизнь и судьба Козетты выглядят еще более необычными. Ни ее жизнь, ни ее судьбу никто из нас предвидеть не мог, потому что они как будто противоречили логике, бросали вызов правилам, гласившим, что подобной женщине не суждено столкнуться с такими вещами, как страстная, лишенная корысти любовь, трагедия и насильственная смерть, а ее уделом до конца дней останутся эксплуатация и разочарование.

Во время отсутствия Козетты никто из нас, молодых, особенно не задумывался о Тетушке. И только теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что она смотрела на Козетту как на защитника. Тетушка была похожа на мышку, такая тихая и незаметная, что даже мы с Белл с нашей ненасытной жадной знать, что происходит в головах людей, с постоянным исследованием личностей, считали ее человеком без чувств, недостойной размышлений. Нам и в голову не приходило, что старушка может страдать в отсутствие Козетты, может бояться нас всех, с нашими привычками, приобретенными во время революции, которой она не понимала, нашей молодости и нашей музыки, наших появлений и исчезновений, нашей сексуальной свободы.

Разумеется, в доме бывала Перпетуа. Садовник Джимми всегда заглядывал в дверь, чтобы перемолвиться с ней словечком. Но старые друзья Козетты из Велграта, приходившие к ней в больницу, даже не подумали навестить Тетушку. Белл была внимательна к ней во время той вечеринки, но если и замечала ее во время отсутствия Козетты, то я об этом не знаю. Разговаривал ли кто-нибудь со старушкой? Пытаясь представить гостиную, какой она была без Козетты, я никогда не вижу там Тетушку, и это вселяет в меня уверенность, что большую часть времени она проводила у себя в комнате, прячась от нас, от связанных с нами вызовов, опасностей и потрясений, с тоской ожидая возвращения Козетты. А когда та вошла в

гостиную, Тетушка была там. На этот раз она проявила свои чувства, встав с красного бархатного кресла и направившись к Козетте с протянутыми руками.

— Почему ты не приезжала меня навещать? — спросила Козетта, когда объятия разомкнулись.

Тетушка не ответила; наверное, не осмелилась сказать, что не могла, а никто из нас не предложил взять ее с собой или даже вызвать такси и проинструктировать водителя. Она лишь покачала головой и загадочно нахмурилась — так поступают старики, когда хотят скрыть свои желания или недостатки от молодых.

Все собрались в столовой: Козетта и Тетушка, мы с Белл, только что вернувшийся из Индии Гэри, Фей и Риммон. Для «Дома с лестницей» компания была невелика, поскольку никто не пришел на смену Мервину, Фелисити и Харви; не было больше и «квартирующей девушки» — должность такая же бесполезная и лишённая обязанностей, как у носителя «золотого жезла» в почетном полку кавалерии или управляющего Чилтернскими округами, но все же роль с комнатой, которую никто не занял. Козетта пыталась убедить балетных танцоров поселиться на верхнем этаже, однако они, естественно, не хотели бросать бесплатную квартиру в Хэмпстеде, хозяин которой, если повезет, может никогда не вернуться из Южной Африки. Девушка по имени Одри, двоюродная сестра новой подруги Адмета, сказала, что может занять свободную должность и свободную комнату. Вряд ли она до конца верила, что ей отдадут большую спальню на третьем этаже просто так и что она не будет исполнять никаких обязанностей, только говорить, слушать и варить кофе, — и сомнения заставляли ее колебаться. Козетта задумчиво рассуждала об этом за едой.

Мы поели и встали из-за стола, как обычно, не подумав убрать за собой или вымыть посуду. Перпетуа должна была прийти на следующий день, но Белл, презиравшая работу по дому, неожиданно заявила, что мы с ней займемся посудой.

— Подождет до утра, — вполне ожидаемо возразила Козетта.

— Утром меня тут не будет.

— Но, дорогая, я думала, ты теперь тут живешь!

Это была не просто вежливость. Это был ужас от того, что число домашних сократилось еще больше, чем она предполагала.

— Белл должна пожить с матерью, — сказала я. — По крайней мере пока.

— В доме найдется комната и для твоей матери, я уверена. Посмотрите, сколько у нас образовалось места!

Разумеется, это было нелепо. Такое случалось часто; щедрость Козетты простиралась так далеко, что выглядела смешной. Даже если предположить, что мать Белл была совсем не похожа на предоставленное мне гротескное описание, почему она должна бросать свой дом и жить у какой-то странной женщины? Белл сухо усмехнулась в ответ:

— Я буду иметь в виду ваше любезное предложение, Козетта.

Разумеется, никакого предложения сделано не было — только предположение. Но теперь Козетта ухватилась за эту идею и решила заполучить Белл. Спальня «квартирующей девушки» зарезервирована для Одри, но если ей хочется уединения, можно занять комнату на верхнем этаже, над той, где я работала. Нам всем даже пришлось подняться и взглянуть на нее — за исключением Тетушки, которая по пути скрылась на своей территории. Сидя на бывшей кровати Фелисити и тяжело дыша после подъема по лестнице, Козетта извинялась за комнату — за 106 ступенек, за потолок в пятнах, за опасное окно.

— Я закажу прутья для окна. Нужно сделать что-то вроде ограждения, чтобы его обезопасить.

Она так ничего и не сделала. Из-за слов Гэри, который сказал, что это ужасно и что тут будешь чувствовать себя как в тюрьме? Или потому, что Белл попросила не беспокоиться за нее, поскольку в настоящее время никак не может оставить мать одну в Харлсдене? Вероятно, хотя, как выяснилось, Белл вполне могла бросить мать на ночь или две, поскольку осталась переночевать, а на следующий день, когда я вернулась из игрового клуба, сказала мне, что встретила давнюю подругу матери, которая согласилась пожить у нее.

Это было не в тот вечер, а через неделю или около того, когда я нарядила Белл в платье Козетты «линялого» красного цвета. Я забыла о замечании Козетты, когда та впервые увидела репродукцию Бронзино, — о том, что у нее где-то есть платье, как на Лукреции Панчатики. Супруги Касл пригласили Козетту на фестиваль «Глайдборн», а там в оперу до сих пор принято надевать длинное вечернее платье. Козетту редко куда-нибудь звали. Я очень обрадовалась, что Касл вспомнили о ней, хотя точно знала, что они хотели продемонстрировать Козетте контраст с атмосферой, царившей в «Доме с лестницей». На вечеринке, которую Козетта устроила в честь сорокалетия Адмета, я случайно услышала, как мистер Касл шепнул жене: «Интересно, знает ли она, что жизнь, от которой она отказалась ради этого цирка, все еще продолжается?»

До фестиваля в Глайдборне оставалось еще два месяца, но Козетта вбила себе в голову, что должна найти в своем гардеробе подходящее

платье, а если такого не окажется, то заказать новое. Это напомнило мне прежние деньки в Гарт-Мэнор, когда мы с Эльзой примирили драгоценности Козетты, и, увидев наше восхищение какой-то вещью, она могла сказать: «Это твое».

— Бери, бери, — повторяла она, если я немного задерживалась перед каким-нибудь «балахоном» тридцатых годов или юбкой до пола по послевоенной моде. Но я в ответ лишь смеялась и качала головой. Зачем мне платье с воротником-шалкой из бледно-голубого искусственного шелка или черная широкая юбка, украшенная бисером? Потом мы наткнулись на платье, как на картине Бронзино, которое действительно оказалось очень похожим. Конечно, у Лукреции вырез украшен золотым кружевом, а нижняя часть рукавов сшита из роскошного складчатого шелка черного цвета, но в остальном платье было точно таким же: узкий лиф, рукава с буфами, пышная юбка — и все это из шелка цвета спелой сливы «Виктория».

— Бери, — сказала Козетта. — Ты окажешь мне услугу, дорогая. Я жуткая барахольщица, не могу заставить себя выбрасывать вещи.

Белл, как всегда, была в черном наряде, порыжевшем и пыльном. Глядя на нее, спящую в моем кресле, я не замечаю разницы в том, что она носит теперь и что на ней было тогда, в тот памятный, потрясающий, чудесный день, когда она пришла в «Дом с лестницей» ранним вечером — потому что на дворе стоял март и было холодно — в черном плаще и завернутая в шаль. Козетта повезла всех на ужин, и к нам присоединились Риммон и Гэри. Я не помню, куда мы отправились, хотя это мог быть русский ресторан в Бромптоне. Вероятно, последующие события вытеснили у меня из памяти такие мелочи, как рестораны, еда и напитки.

Дом был почти пуст. Тетушка, никогда не ужинавшая в ресторане, давно легла спать. Гэри и Риммон поехали к какому-то приятелю в Баттерси, и если теперь нечасто услышишь, что люди отправляются в гости в половине двенадцатого ночи, то в те времена это было в порядке вещей. Не знаю, где была Фей — возможно, у своего нового любовника, индуса, державшего убогую гостиницу, нечто вроде постоялого двора рядом с Паддингтонским вокзалом. Мы с Белл и Козеттой остались одни, и последняя, несмотря на то что едва пробило двенадцать, собралась спать. Она быстро уставала, еще не оправившись от своей не очень серьезной операции.

— Не очень приятная перспектива, — заявила она, смутив меня, — лечь одной в огромную кровать. Иногда я опускаю одну подушку и обнимаю ее.

— Надень платье, — попросила я Белл.

Поначалу она отказывалась. Заявила, что это глупо, что у нее волосы в беспорядке и что у нее нет украшений. Но потом стала рассматривать картину и загорелась этой идеей. Придется повозиться, сказала Белл, чтобы заплести косу и обмотать вокруг головы, — она уйдет и вернется, когда все будет готово. Я дала Белл камею с ее собственным изображением, прикрепив к нити жемчуга, чтобы получилось ожерелье, как у Лукреции.

Пока Белл переодевалась, я спустилась в комнату Козетты. Одетая в ночную кофточку с белыми перьями в стиле голливудских фильмов 30-х годов, Козетта сидела в постели и читала мою книгу, изданную неделю назад. Она уже прочла ее в рукописи и одобрила, но клялась, что теперь смотрит на нее по-другому, потому что я посвятила книгу ей. Пришлось выслушать кучу преувеличенных похвал по поводу — я и тогда это понимала — жалкой макулатуры. Ее слова заставили меня поморщиться — поделом мне.

На кровати лежала груда подушек в шелковых наволочках. На розовых подушках и розовом же стеганом покрывале с белыми кружевами были разбросаны журналы, салфетки, пара очков, белый телефон, телефонные справочники, записная книжка, писчая бумага и авторучка; сама Козетта в оборках и перьях пахла духами Жана Пату и при мягком розовом цвете лампы выглядела гораздо моложе, почти как девочка. После появления Айвора Ситуэлла она перестала наносить на кожу жирный крем и закалывать волосы на ночь, а когда Айвор исчез, так и не вернулась к прежним привычкам. Волосы, теперь серебристо-желтые, ниспадали на полные белые плечи. Морщины на лице были почти не видны, и печальное выражение лица, появившееся после того, как кожа вновь стала отвисать, придавало Козетте задумчивый, а вовсе не старый вид. Мне вспомнились слова, которые кто-то сказал о Клеопатре в конце пьесы: «...искушение для нового Антония, такой небрежной красотой она забылась».^[48] Или я теперь думаю, что должны были вспомниться — разве могла я тогда все предвидеть?

Мы говорили о книге — я с неохотой, поскольку предпочла бы получить деньги и забыть о ней, а Козетта с воодушевлением, — когда открылась дверь и вошла Белл. Или Лукреция Панчатики. Или Милли Тил. Она надела жемчуг и камею и нашла у меня золотую цепочку, а также нитку бус, которую обмотала вокруг уложенной в виде короны косы. Красное платье на ней болталось, но спереди этого не было заметно, поскольку Белл искусно сколола его на спине и талии. Ее кожа отличалась той очень бледной смуглостью, от которой лицо Лукреции словно

светилось. Белл не улыбнулась в ответ на наши восторги — Козетта даже захлопала в ладоши, — а серьезно стояла между китайскими ширмами. Потом она грациозно опустилась в кресло с высокой спинкой и стала неотличима от портрета: левая рука сжимает резной подлокотник, правая придерживает маленькую раскрытую книгу в кожаном переплете, которую Белл принесла с собой.

Козетта захотела ее сфотографировать. Даже встала и принялась бродить по комнате в бесплодных поисках вспышки. Мне кажется, в конечном итоге она сделала какой-то снимок, хотя мы все понимали, что ничего не получится. Вспышку Козетта не нашла, зато обнаружила кольцо с гелиотропом. Она попыталась примерить перстень на руку Белл, но у той были слишком длинные и тонкие пальцы. На безымянном он болтался и подходил только для среднего. Белл сидела, необычно спокойная, и не смеялась над усилиями Козетты — даже не улыбалась. Как будто перевоплотилась в Лукрецию или Милли, которые заразили ее старомодной безмятежностью. Через какое-то время Козетта вернулась в постель, а Белл присоединилась к разговору, неспешной полночной беседе о моде и о том, как неудобно, должно быть, носить такую одежду все время; пока на ней было красное платье, она не курила. Мои сигареты лежали на туалетном столике в стиле артистического фойе, с зеркалом, окруженным электрическими лампочками, но Белл не взяла их.

Уставшая Козетта засыпала, но не решалась прямо сказать об этом и выгнать нас. Она кивала, улыбалась, встряхивалась, но голова у нее снова опускалась на грудь. Мы сжалились над ней и ушли, выключив свет. Белл сняла с пальца кольцо и оставила на туалетном столике.

Ночь была темной, без луны и звезд. Я обратила внимание на необычную тишину в доме, поскольку в этот час, как правило, откуда-нибудь доносилась музыка, слышался шепот или приглушенный смех. В ту ночь дом погрузился в глубокую тишину, и даже никогда не смолкавший гул транспорта вдалеке, казалось, утих. Лампочки на лестнице уже давно следовало заменить — обязанность Перпетуа, только она не знала об этом, поскольку никогда не бывала в доме после наступления темноты. По примеру предков мы взяли свечи, которые освещали нам дорогу в спальню.

Переодевшись в красное платье, Белл спускалась из моей комнаты в темноте, ориентируясь по свету, падавшему из дверей наверху и внизу. На лестнице она взяла меня за руку и повела за собой. Мы шли наверх, и ее длинная жесткая юбка шелестела при каждом шаге. Свет ночника в моей комнате был мягким и тусклым. Нарисованная Лукреция смотрела со стены на живую. Я подумала — не тогда, на следующий день, — каким бы

странным, бесконечно загадочным представлялось бы все это девушке шестнадцатого века, если бы она могла вообразить, сидя перед Бронзино во всей своей красоте и изяществе, что с картины сделают репродукцию и копия, не менее великолепная и правдивая, будет висеть в комнате, куда войдут женщины, одна из которых она сама, упадут в объятия друг друга и займутся любовью.

Белл захлопнула дверь, толкнув ее пальцем ноги, обнаженным пальцем, который раньше не показывался из-под красного шелка. Какая тишина! Ни слов, ни звука дыхания. Наши губы разомкнулись, глаза закрылись, а потом, подобно оглушительному реву, на нас обрушился шелест струящегося шелка, звяканье золота и камней — платье и драгоценности падали на пол. Почувствовав трепет и восторг прикосновений шелковистой кожи, мы передвинулись в круг света, отбрасываемый на кровать одинокой лампой.

Сегодня воскресенье. Я не пишу по воскресеньям, а Белл не нужно на работу в магазин. Это время для разговоров. Кто так решил? К этому выводу мы, похоже, пришли одновременно, как будто вдруг поняли, что время пришло и что нам больше ничего не остается.

Работа в магазине изматывает Белл. Она засыпает, как только приходит домой, и под «домом» я имею в виду мой дом, потому что именно сюда она каждый день возвращается. На второй вечер и на третий часам к десяти она просыпалась, я вызывала такси, и машина отвозила ее в Килбурн, в дом под железнодорожным мостом. Но это казалось жестокостью, возможно, из-за того, что Белл была тихой и покорной, позволяя, чтобы ей помогли вдевать руки в рукава старого черного пальто, которое она носит, велик ожидавшему на улице такси, приподнимали ей голову, чтобы поцеловать в холодную щеку. Поэтому в пятницу я постелила ей в свободной комнате, и она там спала — четырнадцать или пятнадцать часов подряд.

Долгие часы сна, наконец, подействовали и восстановили ее силы настолько, что сегодня утром, спустившись по лестнице со своей первой за день сигаретой, Белл уже не была так похожа на призрак, выглядела свежее и моложе и даже заставила себя улыбнуться. А когда более крупный и ласковый кот прыгнул ей на колени, она не смахнула его с рассеянным видом, а начала гладить. Чуть позже мы посмотрели друг на друга и пришли к одному и тому же решению. Нам нужно разговаривать. Все, о чем умалчивалось столько лет, теперь должно быть произнесено. Это важнее всего остального, что нас разделяет. Я убеждена, что именно звонок Фелисити — помимо всего остального — определил направление нашей беседы. Вчера вечером, довольно рано, когда Белл спала наверху, а я сидела в кабинете и в четвертый или пятый раз перечитывала «Трофеи Пойнтон», [49] она позвонила из своей квартиры где-то на окраине.

Я искренне считала, что больше никогда не услышу ее голоса. Все эти слова насчет встречи в Лондоне и неотвеченных вопросов, которые нужно обсудить, воспринимались мной как пустая болтовня, не заслуживающая внимания. Но нет, Фелисити говорила серьезно. В этот субботний вечер они с Эсмондом приехали в город и собирались поужинать в маленьком французском ресторанчике на углу, и ее вдруг осенило: «Почему бы не пригласить Элизабет? Мы заказали столик на четверых, но шансы, что Миранда и Джереми захотят с нами поужинать, с самого начала были

практически нулевыми».

Предложение Фелисити меня чем-то привлекало. Какой она теперь стала? А он? И, самое главное, как они относятся друг к другу? Я говорила с Фелисити, а сама вспоминала ее крик, когда она увидела Эсмонда, поднимавшегося по лестнице в доме Козетты, вспоминала, как она уткнулась в плечо Харви. Но мне следовало помнить о Белл, которая спала наверху, потому что я была здесь, потому что мое присутствие вселяло в нее уверенность. Я солгала Фелисити, сказала ей, что уже приглашена сегодня на ужин. Мой отказ, похоже, ее не расстроил.

— Значит, в другой раз, — согласилась она, а потом неожиданно прибавила, так что я с трудом удержалась от смеха: — Вообще-то сегодня годовщина нашей свадьбы, и Эсмонду это могло бы не понравиться.

— Думаю, не понравилось бы.

— Я тебе позвоню — так просто ты от меня не отделаешься. Тебе звонила Белл Сэнджер? — К имени бедняжки Белл Фелисити стала прибавлять фамилию. Это как бы отдаляло Белл, исключало из категории друзей, где ей уже не было места.

Зачем я опять солгала? Причина та же, что и у любой лжи. Так проще.

— Нет, — сказала я. — Не звонила.

— Что ей было нужно? — спросила Белл, когда я рассказала ей об этом разговоре. В своем полусне она слышала телефонный звонок — или он ей приснился.

— Чтобы я поужинала с ними.

Белл вскочила, и бедный кот спрыгнул с ее колен.

— Она придет сюда?

— Нет. Не волнуйся. Хотя что тут плохого? Ты же с ней разговаривала.

— Чуть-чуть. Только чтобы узнать о тебе.

Как бы то ни было, имя Фелисити всколыхнуло в памяти Белл те страницы прошлого, о которых я не хотела ничего знать. И утром прозвучали вовсе не те откровения, которые я жаждала услышать. Но, по крайней мере, начало положено. Белл приподняла завесу тайны.

— Фелисити что-нибудь говорила о Сайласе?

— Что именно? — осторожно спросила я.

— Неважно. Упомянула о нем? Я вижу по твоему лицу, что упоминала. Наверное, спрашивала, не приходило ли тебе в голову, что я могу быть виновна в смерти Сайласа?

Какой смысл отрицать? Я кивнула, поджав губы, словно не решалась произнести вслух что-то неприличное и очень страшное.

— Никто об этом не вспоминал на суде, правда? Ты заметила?

Прокурор даже не сказал, что у меня был муж, который покончил с собой. Зато открылась правда о моем детстве. А я забыла об этом, понимаешь? Все забыла, даже не сразу вспомнила, кто такая Сьюзен. Наверное, они говорили о ком-то еще, о другой двенадцатилетней девочке. Но именно поэтому я получила такой большой срок. Ужасно провести в тюрьме столько лет за то, что ты забыл, правда? Они все раскопали, всю грязь, но не догадались о Сайласе или просто не сомневались, что он застрелился, даже несмотря на то, что все про меня знали.

Белл взяла еще одну сигарету, закурила и встряхнула спичку, но слишком медленно, чтобы погасить пламя, а потом уронила ее, горящую, в пепельницу.

— Я его убила, — сказала она. — По-моему, это должно быть очевидно всем.

— Ты сочиняешь, Белл.

— Зачем? Думаешь, мне мало преступлений и дурной славы? Зачем мне сочинять?

— А зачем ты вообще сочиняла? — с горечью спросила я.

— Естественно, чтобы все шло так, как надо, как я хотела. Ты знаешь о русской рулетке?

— Только то, что для нее берут револьвер, заряжают один патрон и крутят барабан. Фелисити нам рассказывала. — Я не хотела об этом говорить. Неприятно сознавать, что ты можешь потворствовать лжи. Чувствуешь себя дураком. — Но мне было не интересно.

— Даже когда мы снова встретились? У тебя не возникли вопросы?

— Я думала, что живу в обществе, где люди могут совершить самоубийство, но не убивают друга.

Белл рассмеялась своим отстраненным, сухим смехом.

— Как ты думаешь, какие шансы в русской рулетке? Давай не делай такое... страдальческое лицо. Ты знаешь обо мне почти все и должна быть сильнее. Теперь для тебя не секрет, что в нашем обществе один человек способен убить другого. Какие шансы, если взять шестизарядный револьвер?

— Наверное, пять к одному.

— А вот и нет. Эту ошибку делают почти все. Понимаешь, если взять хорошо сбалансированный револьвер и зарядить только один патрон, то при вращении барабана патрон под собственным весом обычно опускается вниз. Так что шансы гораздо выше, чем пять к одному, а возможно — если знать, как крутить барабан, — сто к одному.

Кажется, нечто подобное я уже слышала.

— Но какое отношение это имеет к Сайласу?

— Он меня этому научил.

— Полагаю, как и многому другому. В художественной школе. Перед тем, как ты от него забеременела. Вы поженились, а потом у тебя случился выкидыш.

— Это я тебе рассказала?

— Да, Белл, а разве ты не помнишь? — Я поняла, что напрасно упрекаю себя. Ни о какой жестокости не может быть и речи, потому что Белл, похоже, нисколько не страдает и даже как будто радуется моему саркастическому замечанию по поводу ее лжи. Объяснять ей бесполезно и слишком поздно — она никогда не поймет. — Чему именно тебя научил Сайлас?

— Показал, как вращать барабан, и объяснил, что самое тяжелое гнездо опускается вниз. А потом сказал, что если взять свинцовую пулю — просто пулю, без патрона — и вложить в одно из пустых гнезд, то возникнет любопытная ситуация. Потому что теперь при вращении барабана внизу остановится гнездо с пулей, а не с патроном. Вычислив, какое гнездо окажется напротив ствола, когда гнездо с пулей находится внизу, например, через одно слева, можно вставить патрон именно в это гнездо. А если револьвер уже заряжен, то рассчитать, в какое гнездо вложить пулю, чтобы патрон оказался напротив ствола.

— Еще раз, пожалуйста, и помедленнее, — попросила я.

Белл повторила. Потом предложила нарисовать.

— Нет, не стоит. Я и так поняла. Но если исключить ошибки или, скажем, плохую балансировку револьвера, то речь идет уже не о случайности, а о неизбежности.

— Да, — кивнула Белл.

Я посмотрела на нее. Лицо ее было безмятежным, спокойным и невозмутимым, как у Лукреции Панчатики — постаревшей, но все же Лукреции.

— Я не понимаю, что ты сделала.

— Сайлас вставил патрон в одно гнездо барабана, положил револьвер и пошел за выпивкой — ты знаешь, какую дрянь он пил, вино с денатуратом, одна часть лилового денатурата на две части красного вина. Пока его не было, я вложила пулю в гнездо, через одно от патрона.

Белл умолкла. Я тоже молчала. Она взяла еще одну сигарету и несколько секунд держала во рту, не зажигая. Потом потянулась за веджвудской зажигалкой, которую подарила мне Козетта, и вопросительно посмотрела на меня.

— Полиция должна была это обнаружить.

— Я вытащила пулю, когда Сайлас умер, перед тем, как идти в Торнхем-Холл.

Не знаю, верить ей или нет. Откуда мне знать, верны ли все эти рассуждения о сбалансированных револьверах и опускающемся вниз самом тяжелом гнезде барабана? Я не разбираюсь в оружии. И не знаю, у кого спросить. Способен ли человек зарядить револьвер, отложить его и отправиться за выпивкой? Способен, если это Сайлас Сэнджер. Кроме того, он, наверное, уже много выпил. Я не верила рассказу Белл, но допускала, что она способна на такое. Вполне допускала.

— Предположим, ты действительно это сделала, хотя я сомневаюсь. Но зачем?

— Сайлас меня довел. Я устала. Он сводил меня с ума. Женился на мне, чтобы иметь раба, — я и была рабом, чернорабочим, вещью, которой пользуются, слугой. Когда Сайлас на мне женился, я была ему благодарна, думала, что моя жизнь будет в десять раз лучше той, на которую я могла надеяться с таким прошлым. У меня не было ни друзей, ни знакомых, а отец с матерью не подпустили бы меня к себе — мы не виделись семь лет. Я знала только социальных работников и одного или двух человек из детского дома. Тебе все должно быть известно — из протоколов суда. Я думала, что брак с Сайласом — это удача, но мне пришлось пройти суровую школу; за шесть лет жизни с ним я повзрослела и кое-чему научилась.

— На свете существует такая штука, как развод.

Взгляд Белл, уклончивый и расчетливый, вызвал из небытия старое заблуждение — я считала, что деньги для Белл ничего не значат, что материальное ее не интересует. Эта иллюзия давно развеялась, и теперь я лишь с удивлением и отвращением вспоминаю, как верила в чистоту ее помыслов.

— Старый отец Сайласа умирал, помнишь? А он был богат. Конечно, не так богат, как хвастал Сайлас, но его дом кое-что стоил. Я знала, что Сайлас собирался делать с деньгами, он мне часто рассказывал. Уехать на проклятую Яву, жить там и рисовать. Он там был, и ему понравился климат. Вот почему мы торчали в Торнхеме, хотя Эсмонду не терпелось от нас избавиться. Ждали, пока умрет старик, Сайлас сможет загнать дом и уехать на эту проклятую Яву, как какой-то французский художник, о котором он мне все уши прожужжал.

— Гоген, — сказала я. — Только не Ява, а Таити.

Белл проигнорировала мои слова. Она никогда не любила подобные

уточнения, которые называла «скучными ошметками культуры».

— Ему было плевать, поеду я или нет. Но если бы не поехала, он не собирался меня содержать. Сказал, что я могу устроиться на работу. Он шесть лет меня содержал — чего мне еще надо? Поэтому я не показала Сайласу телеграмму о смерти отца. Оставила у себя и вложила в револьвер свинцовую пулю.

— Тебе не могли прислать телеграмму, — сказала я, понимая, что это звучит глупо. Конечно, могли, только она пришла бы не раньше письма. Приносили ли телеграмму в Торнхем? Может, и приносили, но кто теперь вспомнит? — Я тебе не верю, Белл.

— Как знаешь.

— Не могу поверить, что ты желала его смерти.

— Какая разница?

— Большая.

— Я не видела, как застрелился Сайлас. Была наверху, как и говорила. Он не успел ничего понять, а если и понял, в последнюю долю секунды, то должен был подумать, что его время пришло — это неизбежно, когда играешь в русскую рулетку. — Белл взяла к себе маленького кота и принялась гладить так, как он любил; ее длинные ладони с силой прижимались к телу животного. — Все равно печень Сайласа уже сгнила. Долго бы он не прожил. Один стакан той красной дряни валил его с ног. Печень больше не выдерживала, и он весь пожелтел. Боже, как я его ненавидела. — Она опять закурила, и маленький кот моргнул от огонька зажигалки. — Понимаешь, Фелисити видела телеграмму.

— Что ты имеешь в виду, Белл?

Она ответила не сразу:

— Если бы Сайлас умер раньше отца, дом не перешел бы ко мне — ведь я приходилась старику всего лишь невесткой. В любом случае пришлось бы сражаться за наследство. В случае смерти отца дом автоматически доставался Сайласу. Получив его, Сайлас собирался сразу же уехать на Яву. Возможно, он даже не подумал бы взять меня с собой. Зачем? Его тошнило от меня точно так же, как меня от него. — Белл вынула изо рта сигарету и выпустила дым из ноздрей, словно внутри ее головы горел огонь. — После ленча Фелисити поднялась наверх за бумагами для викторины, которые были в ее спальне. Она выглянула из окна и заметила мальчишку, приехавшего на велосипеде. Думаю, Фелисити довольно долго — до моего отъезда, в апреле — не видела связи. Она заговорила со мной о старике и его смерти — я ведь переезжала в его дом. Спросила: «Разве ты не получала депешу за час до того, как это случилось?» Поначалу я ее не

поняла. Ты когда-нибудь слышала, чтобы телеграмму называли депешей?

— Только в книгах.

— Пока я это выясняла, у меня появился шанс подумать. Я ответила, что мальчик ошибся домом, но видела, что Фелисити мне не верит. Забавно — на суде я решила, что ее могут вызвать свидетелем. А потом подумала, что если выкручусь, то мне предъявят еще одно обвинение, в убийстве Сайласа, и тогда Фелисити расскажет о телеграмме. — Она вздохнула и посмотрела на свои пальцы, начинавшие желтеть от никотина. — У тебя все еще есть та картина?

— Какая картина, Белл? — Я знала, разумеется, знала.

— С девушкой в красном платье, о которой кто-то написал книгу.

Слова она произнесла другие, но похожие по смыслу, и они меня потрясли. Я не понимала, как Белл может говорить о картине, зная, какую роль та сыграла.

— В кабинете, — ответила я.

— Я еще там не была, — сказала Белл и прибавила: — Может, прогуляемся? Я бы сходила к реке и в паб. По-моему, тут поблизости есть паб, где какой-то парень написал слова к гимну «Правь, Британия»?

— Джеймс Томсон, а паб называется «Голубка». Откуда ты знаешь?

— Ты мне как-то рассказывала, — ответила Белл.

Друг с другом мы об этом не говорили, но каждая думала. По крайней мере, так мне кажется. Я строила предположения, и, судя по поведению Белл, она тоже, причем примерно такие же. Но мы не обсуждали, почему.

На прямой вопрос я бы ответила, что гетеросексуальна. До того случая у меня были романы только с мужчинами. Но немного. Несколько. Я бы предпочла сказать, что не считала, что мне все равно, но это неправда, поскольку их количество известно всем. Доминика сменил мужчина из издательства, редактор, хотя и не мой, а один раз это был Гэри, всего на одну ночь. И дело не в алкоголе или наркотиках — просто мы оказались одни в доме, разговаривали и вдруг почувствовали взаимную симпатию, дружеские чувства, общность мыслей и все такое; а еще мы были молоды. Нечто подобное, только в сто раз сильнее, бросило нас с Белл в объятия друг друга той тихой ночью.

Меня не влекло к другим женщинам — ни до, ни после Белл. С другой стороны, я не чувствовала, что мы делаем что-то скандальное, неправильное или извращенное. Это казалось естественным. Гомосексуалисты, иногда спавшие с женщинами, рассказывали мне, что это приятно и им нравится, но остается ощущение чего-то ненастоящего.

Кажется, Пруст как-то сказал, что гомосексуалист грешит только тогда, когда спит с женщиной? В общем, потом я была склонна считать любовные отношения с Белл — восхитительные, доставляющие огромное наслаждение — чем-то нереальным. Однако чувства говорили о другом, потому что «восхитительный» и «наслаждение» — не очень подходящие слова, и мне хотелось бы найти другие, до сих пор неизвестные; а что касается реальности, то все это казалось реальнее любой реальной вещи. Я столкнулась с невозможностью выразить свои чувства, свои желания и свое удовлетворение; это можно сравнить с пустотой темной воды, с прудом, в котором плавают слепящие таинственные образы и произнесенные шепотом слова, где я тону, хватаясь за тонкую веточку воспоминаний о любви. Я любила Белл с той пылкой, ревливой страстью, которую девочки десятью годами младше, чем я была тогда, испытывают к кому-то из одноклассников.

Психологи скажут — о, я точно знаю, что они скажут, — что мое сексуальное развитие было остановлено шоком, психологической травмой, связанной с ужасным открытием. В этом нет сомнений, и, возможно, сознание, что я могла унаследовать болезнь Хантингтона, остановило мое развитие на какой-то извращенной фазе. Но я так не считала — думала, что влюблена, и я действительно была влюблена, и, как положено влюбленным, обманывала себя надеждой, что при удачном стечении обстоятельств любовь продлится всю жизнь.

Разумеется, мои ожидания не оправдались. А разве бывает иначе?

Какое-то время все шло великолепно, просто восхитительно. Девушка по имени Одри исчезла, и Белл поселилась в доме в роли «квартирующей девушки». Я до сих пор не знаю, догадывалась ли Козетта, но склонна думать, что нет. К лесбиянкам она относилась примерно так же, как и все люди ее поколения: «Не оставляй меня с ней наедине, дорогая. Что я буду делать, если она начнет ко мне приставать?»

Неужели она думала, что все гетеросексуальные мужчины, с которыми она останется наедине, будут к ней приставать? Наверное, надеялась — бедная Козетта. Целуя ее, я ни разу не замечала даже намека на отвращение, и она не морщилась при виде Белл. Вне всякого сомнения, Козетта видела в нас только «близких подруг», и ее ревность, которую я иногда замечала, была связана только с тем, что Белл отнимала меня у нее, а я, в свою очередь — это кажется невероятным, но разве можно по-настоящему понять других людей? — отнимала у нее Белл.

Тем летом, которое принадлежало нам с Белл, Козетта страдала от одиночества, должна была страдать, хотя я поняла это потом. Когда ты

влюблен — или, по крайней мере, думаешь, что влюблен, — то не замечаешь одиночества других. Я была немного напугана и, к стыду своему, обнаружила в себе такие чувства, как осуждение и презрение, когда поняла, что Козетта иногда спит с Риммоном. Ей было пятьдесят пять, а ему двадцать семь, он был беден, а она богата. Я почти ничего не знала об одиночестве, но еще меньше о том, что в среднем возрасте страсти не обязательно проходят. Поездки с супругами Касл в Глайдборн или прогулки с Тетушкой в Ричмонд-парке Козетте было недостаточно.

Белл не прочла ни одного моего романа. Она вообще не читала книг. Если быть до конца откровенной, следует признать, что в глубине души я даже рада, что она не читала моих книг, которые не похожи на мою речь, не раскрывают моих истинных чувств, не описывают людей так, как о них говорили мы с Белл. Всякий, кто знает меня так же хорошо, как она, после прочтения моих книг обязательно разочаровался бы во мне и посчитал ханжой. Бессмысленно объяснять незнакомым с литературой людям, вроде Белл, разницу между произведениями писателя и его жизнью, или, как выразилась бы она сама, другую такую же чушь.

Она сидела в моей комнате, когда я закончила дневную норму. Это было в конце лета или начале осени, и Белл надела белое марлевое платье, похожее на халат с широкими рукавами, стянутый на талии тонким ремешком из плетеной кожи. Допечатывая последние из обязательных 2000 слов, я слышала разнообразные звуки у себя над головой, отражавшие движения Белл перед тем, как она спустилась ко мне: стук закрывающегося окна, которое так и не оградили решеткой, приглушенные ковром шаги, затем громкий топот индийских сандалий по деревянному полу, хлопок закрывшейся двери и скрип 104-й ступени, когда Белл стала спускаться по лестнице. Я была одержима ею, как это часто происходит с влюбленными.

Я уже говорила, что Белл не читала книг. Но она брала их в руки и внимательно изучала. Это я тоже говорила. Эта картина навсегда отпечаталась в моей памяти. Я по-прежнему собиралась написать исследование о Генри Джеймсе, в перерывах между книгами, — и в конечном итоге написала. Белл взяла с моего стола «Переходный возраст», экземпляр из библиотеки на Порчестер-роуд, и стала с интересом разглядывать его, потрогала обложку, посмотрела количество страниц, прочла название на переплете и, не взглянув на текст, спросила:

— Это про девушку, которая похожа на меня?

— Нет. Та называется «Крылья голубки». — Я нашла томик и дала ей, забрав другую книгу, потом поднесла ее руку к губам и поцеловала. До

Белл было так приятно дотрагиваться — от ее кожи исходил сладкий запах, как от кожи ребенка. На секунду мы замерли, касаясь друг друга бедрами. — Картина похожа на девушку, а ты на картину.

Белл повернулась ко мне, и ее губы оказались у моей щеки. Потом небрежно и немного насмешливо спросила:

— Когда он ее сочинил, тот парень, от которого ты без ума?

— В 1901-м, — наугад сказала я, ошибившись на год.

— Не понимаю, как девушка могла оказаться на картине, написанной, как ты сказала, в тысяча пятьсот каком-то году, если он придумал ее только в 1901-м.

Теперь Белл смотрела на «Крылья голубки», и если какой-то роман и мог отпугнуть того, кто не читал романов, а привык лишь перелистывать журналы и мельком проглядывать новости в газетах, то именно этот. Белл недоверчиво разглядывала страницы текста, почти не разбитые на абзацы и прерываемые диалогами, и на ее лице появилось выражение неподдельного ужаса, так что я, отступив назад, чтобы лучше ее видеть, не смогла удержаться от смеха.

— О чем тут написано? — спросила она. — Какая-то бессмыслица, будто на иностранном языке.

Сидя на полу по-турецки — Белл опустилась рядом со мной, не выпуская книги из рук и с недоверчивым видом переворачивая страницы, — я рассказала сюжет «Крыльев голубки». И больше ничего. Это была даже не первая книга, которую я ей пересказывала, потому что неделей раньше она пригласила меня в кино в «Электрик синема», где показывали «Скитальца», снятого по роману «Большой Мольн», и я тоже составила для нее что-то вроде резюме. Но Милли Тил осталась у нее в памяти — Милли Тил, Мертон Деншер и Кейт Крой, хотя я не помню, чтобы называла их имена. В этом не было необходимости — хватило сюжета, мелодраматической интриги, которую Джеймсу каким-то образом удастся сделать не сенсационной, а тонкой и изящной, как сама жизнь. Думаю, во всем виноват портрет кисти Бронзино, девушка на котором похожа на Белл и на бедную, несчастную Милли.

— Отличная идея, — медленно, с восхищением произнесла Белл.

— Джеймс был умен. Самый умный из писателей.

— Он мог бы меня обмануть своей болтовней, — сказала она, верная себе.

Когда Марк впервые появился на Аркэнджел-плейс, в «Доме с лестницей» жили: Козетта, я, Тетушка, Гэри и Фей, Риммон со своим приятелем Филипино и, конечно, Белл. Осенью 1972-го она ненадолго возвращалась в Харлсден из-за каких-то проблем с матерью. Теперь я знаю — уже много лет знаю, — что у Белл не было овдовевшей матери в Харлсдене, а ее отец и мать жили вдвоем в Саутси, пытаясь по возможности забыть свой неудачный родительский опыт. Но тогда не знала. Я поверила Белл, когда та заявила, что ей нужно «домой», чтобы «решить проблему».

Склонная обманывать себя, я никогда не питала иллюзий относительно переменчивости любви. Сразу же чувствовала, когда страсть ослабевает. Первая крошечная трещина в безраздельном внимании возлюбленного, еще не отторжение, ничего конкретного, скорее сначала просто атмосфера рассеянности, неопределенности, а потом неизбежное болезненное прозрение, что именно тот, другой, всегда первым размыкает объятие, прерывает поцелуй, именно его смех перестает быть тягучим и заговорщическим, а в кончиках пальцев уже не сосредоточена вечность. Самообман начинается с моей способности убеждать себя — несмотря на все эти признаки, — что все временно, и это очередной этап отношений или просто ошибка.

Чувство Белл ко мне, которое — я до сих пор в этом уверена, несмотря на все, что случилось, — было таким же реальным, как и мое к ней, начало ослабевать. Она сделалась рассеянной, отдалилась от меня. Издали мою вторую книгу, на этот раз удостоившуюся внимания прессы; обо мне даже говорили как о претенденте на премию в области приключенческой литературы. Мне предложили контракт на издание книги в Америке, и я была занята всем этим, хотя не настолько, чтобы не замечать отсутствия Белл и того, что у нее появились какие-то дела, неизвестные мне. Что так отдаляло ее от «Дома с лестницей»? Где она была, когда время от времени звонила мне или Козетте, предупреждая, что придет поздно, поскольку ее «задержали». Белл ничего не делала — никогда. В этом смысле она походила на Козетту, впрочем, как и во многом другом. Но какое отношение все это имеет к Марку и ко мне?

У Белл не было ни профессии, ни увлечений, ни интересов. Только интерес к людям. Она любила разглядывать красивые вещи, в магазинах и

на выставках — но не одежду, хотя прогулка по отделу тканей и прикосновение к самым роскошным образцам доставляли ей сильнейшее, почти чувственное наслаждение. Позже Марк рассказал мне, что иногда Белл ходила смотреть на драгоценные камни короны в Тауэре. Может, именно этим она занималась во время своих отлучек? Разглядывала людей и роскошные вещи на Бонд-стрит? Гладила дамасский шелк в «Либертиз»?

[\[50\]](#) Прогуливалась по залам Музея Виктории и Альберта?

Потом Белл вернулась к матери. Помню ужасный вечер, когда мы втроем — Козетта, Тетушка и я — сидели в сером саду, каждая остро ощущая собственное одиночество; вечер был даже не теплым, а влажным и промозглым, пропитанным запахом сажи и эвкалиптовых листьев. Случайный прохожий, заглянувший через высокую стену из кирпича и гальки, принял бы нас за представительниц одной семьи — мать, дочь и бабушку, — но никто на нас не смотрел. Небо напоминало белый мрамор, и до ночи было еще далеко. Я вспоминаю слова Козетты:

— Почему никто больше не приходит?

На губах Тетушки дрожала робкая, немного испуганная улыбка. Похоже, с годами она все меньше и меньше понимала, что происходит вокруг. Ее недоумение было связано со страхом, что в мире уже не осталось искренности и все происходящее — это шутка, которую она не в состоянии понять. В то же время старушка напоминала бедных животных в зоопарке, которые привыкли жить среди сородичей в знакомой среде и вдруг оказались в одиночестве, в чужой обстановке. Я вернулась в дом, вероятно, за свитером, поднялась по лестнице — скрип 104-й ступеньки под моей ногой первый раз болью отозвался в сердце — и вошла в комнату Белл, чтобы прижать к лицу одну из ее темных шалей и вдохнуть ее детский, сладкий запах. «Крылья голубки» — естественно, не прочитанные, Белл их так и не прочтет — лежали на стуле. Я захватила книгу с собой.

Потом, когда Тетушка уже ушла спать, Козетта посмотрела на свое отражение в зеркале гостиной и продекламировала:

И этот образ, простонала она,
восхищает его и днем, и ночью?
А я все просыпаюсь одна,
сплю в забвении, встаю в отчаянии. [\[51\]](#)

Я обняла ее, прижала к себе. Как взбудоражило бы ее это объятие, знай она о нас с Белл! Но Козетта лишь рассмеялась, над Теннисоном и над

собой:

— Правда, ужасно? У Айвора стихи были лучше. Ну, чуть-чуть лучше. «Моя жизнь безотраднa, Он не приходит...»

Он не приходит... Тот, кого нельзя описать словами, идеальный, единственный тот, которого она ждала. Козетта читала «Вашингтон-сквер», [52] естественно, взятый у меня, и отождествляла себя с бедной Кэтрин Слоупер. Женщины обычно стесняются признаваться, что им нужен мужчина. Отрицают эту потребность, отвергают ее, говорят, что без труда найдут себе любовника или мужа, если захотят. Но к чему суетиться? Зачем беспокоиться? Им и так хорошо. Но только не Козетта. Она открыто заявляла, причем практически любому собеседнику, в том числе Перпетуа и Тетушке, что жаждет мужской любви, мужского общества. Моя жизнь безотраднa, Он не приходит...

А через два дня он пришел. Явился как ответ на молитву или как воплощение несбыточной мечты. Как принц, о приходе которого объявляет фея. Он даже не маскировался — по крайней мере, так казалось. И привела его Белл. Не было ни фанфар, ни горнов. Небрежным тоном она сказала Козетте о том, что должно произойти, с характерной для нее бесцеремонностью объявила о событии, которому было суждено стать таким важным в нашей жизни. Белл вновь появилась в «Доме с лестницей» после двух— или трехнедельного отсутствия — почему я так говорю, когда точно знаю, сколько прошло времени, восемнадцать дней? — и неспешно вошла в гостиную, словно никуда и не пропадала. Белое марлевое платье, в руке пачка сигарет и спички. Я ни разу не видела Белл с сумочкой. Она посмотрела на нас троих, Козетту, меня и Тетушку, как на случайных знакомых, к которым она относится с равнодушной доброжелательностью:

— Вечером придет мой брат. Не возражаете?

Козетта обращалась с ней, как с дочерью.

— Зачем ты спрашиваешь, дорогая? Конечно. Мы давно хотели с ним познакомиться.

Как описать Марка? Он просто был самым красивым мужчиной, каких я только встречала, и одним из самых милых. По крайней мере, я долго так думала, хотя в конце концов мое мнение о нем немного изменилось. Марк принадлежал к той категории людей, с которыми сразу же чувствуешь себя легко, «всегда ровных», без тщеславия или, по крайней мере, чувства, что у них есть нечто, чем следует гордиться, умных и насмешливых, но без жестокости, неизменно доброжелательных, неотразимо очаровательных, но без обычных в таких случаях хитрости и сознательной манерности. Перечитывая эти слова, я понимаю, что описала кого-то другого, а не

Марка, потому что самой главной особенностью в общении с ним — я бы даже сказала, самой главной его чертой — была естественность, а все приятные атрибуты красивого молодого человека возникли и собрались вместе по счастливой случайности, и он даже не подозревал о них. Даже его слова казались не результатом расчета, а отражением нежной и мягкой натуры. Марк получился у меня дурачком? Не думаю, что он был глуп; долгое время я считала его умным, но это мнение тоже пришлось пересмотреть. Скажу лишь, что внешне Марк был неотразим, но в интеллектуальном плане не представлял ничего особенного.

Он был на несколько лет старше Белл, и той зимой ему исполнилось тридцать шесть. К тому времени я пришла к выводу, что у них с Белл скандинавские корни, хотя Марк больше походил на славянина: высокие и широкие скулы, абсолютно прямой, но коротковатый для мужчины нос, короткая верхняя губа, полные и в то же время резко очерченные губы. Кожа у него была смуглая, а волосы каштановые, с серебристой прядью, спускавшейся с макушки к одному виску. Как полюбила Козетта эту прядь, как любовалась ею!

В тот вечер она выглядела не лучшим образом. Ее волосы уже нуждались в стрижке, а их корни поседелели. Борьба с лишним весом у Козетты напоминала скорее не проигранную битву, а серию набегов, примерно в половине которых она побеждала. Естественно, вторую половину времени победителем оказывался жир, и в тот период жир наступал, утром подтвердив свою победу на весах. На Козетте был шелковый восточный халат ярко-красного цвета, который ей не очень шел, и она немного переборщила с духами «Радость». Фей, имевшая преимущество в двадцать пять лет, наоборот, выглядела потрясающе. У нее бывали разные периоды: временами она выглядела безучастной и довольно потрепанной, какой-то бесцветной и жилистой, а временами просто потрясающе. Все зависело от внимания, которое она уделяла себе. Вероятно, в последнее время этого внимания было предостаточно, поскольку Фей буквально светилась под своим ярким макияжем — таким же ярким, но более искусным, чем у Фелисити, — а привычные джинсы сменила юбка, открывавшая ноги с изящными лодыжками. С Пердитой — балериной, которую оставил на наше попечение муж, уехавший на какой-то благотворительный концерт, — Козетта соперничать тоже не могла. Та всегда была безупречна, словно экспонат в витрине с куклами для маленькой девочки: восковое лицо, малиновые губы и волосы, словно нарисованные ламповой сажей при помощи тонкой кисти, отточенные жесты и отрететированные позы.

Я говорю о соперничестве, потому что именно так вели себя эти три женщины после прихода Марка. Когда раздался звонок в дверь, Белл вышла на балкон, желая убедиться, что это Марк, а потом сошла вниз, чтобы впустить его. Он оказался единственным мужчиной в компании пяти женщин. Нетрудно представить, какое впечатление он произвел — не только своей красотой, но и грацией. Марк был очень строен и двигался, как танцор — вообразите Нуриева, входящего инкогнито в лондонскую гостиную, — или как актер, кем он, в сущности, и был. Реакцию этих трех женщин можно было бы назвать забавной, не будь все так печально, потому что за несколько секунд до того, как Марк подошел к Козетте и пожал ей руку, она стушеввалась и признала поражение, отказавшись от борьбы. Будто впервые, не обманывая себя, посмотрела на двух других женщин, с болью осознав их красоту, свои пятьдесят пять и свою усталость. Она протянула ему руку со слабой улыбкой, в которой читалась самоирония и признание поражения.

Но сначала он подошел не к ней. Марк не был бы Марком, если бы не уделил внимания старейшей даме. Именно с Тетушкой он поздоровался первым делом, и Тетушка, привыкшая, что никто, кроме Козетты, не обращает на нее внимания — видите, даже теперь я говорю не о шести женщинах, а о пяти, — была так потрясена, что не ответила на его приветствие. Белл нас не представила — в противном случае я бы очень удивилась, — а просто махнула рукой и сказала:

— Это Маркус.

— Нет, Марк... пожалуйста, — поспешно, почти извиняющимся тоном поправил он.

Разумеется, гораздо позже я выяснила, что именно Белл со своей любовью к необычным и пышным именам переименовала его на латинский лад. Козетта назвала нас. Примерно то же самое происходило при первом появлении в доме Уолтера Адмета и Луиса Льяноса. Танцор просто одарил всех очаровательной улыбкой и сказал: «Привет!» — а Адмет обошел всех, старательно произнося имена: «Как поживаете, Гэри?», «Как поживаете, Мими?». Марк задал этот вопрос только Тетушке, а остальные удостоились лишь краткого: «Привет». Я не заметила восхищенного взгляда, остановившегося на Пердите или Фей. Белл тоже наблюдала — с такой же страстью к тончайшим нюансам человеческого поведения.

Марк не рассказывал о себе, я знаю о нем только со слов Белл. У него была роль в каком-то радиосериале, довольно ненадежная работа, поскольку его героя в любой момент могли убить, но все же лучше, чем прошлая, когда он исполнял крошечные роли в телевизионных спектаклях,

подвизался в массовках в кино и работал в захолустных репертуарных театрах в Колчестере и Гейтсхеде. Мне потребовалось довольно времени, чтобы выяснить, где он живет — снимал студию в районе Брук-Грин, — и что он одинок и никогда не был женат. Марк больше слушал, чем говорил; по крайней мере, старался не рассказывать о себе и не высказывать своего мнения, и какое-то время мы знали о нем только то, что он очарователен, интересен и «дополняет наш круг», как выразилась Козетта, пародируя викторианские нравы.

— Почему ты так долго его от нас скрывала, Белл? — спросила Козетта, когда мы все спустились в столовую и принялись за роскошные холодные закуски, исторгнутые холодильником.

В ответ Белл пожала плечами, но в ее взгляде, брошенном на Марка, было удовлетворение человека, который представил на выставке самый великолепный экспонат.

— Он мог прийти и раньше. Он знал, куда.

— Не верьте ей. Она и словом не обмолвилась обо всем этом. — Марк взмахнул рукой, показывая на люстру в стиле модерн, на стены, увешанные фарфором с гравюрами из «Флора Даника»,^[53] пурпурные занавески, не задернутые, а небрежно раздвинутые, чтобы открыть серый сад, который стал желтым и сверкал от света лампы и зимней влаги. Потом Марк говорил, что всегда ненавидел «Дом с лестницей», но тогда я этого не заметила. — И не рассказывала о вас. Я знал только, что у нее тут комната и подруга. — Его взгляд задержался на мне, чарующий и, как мне показалось, восхищенный. — Думал, что это еще один склад барахла, вроде хлева старины Уолтера, где каждый вечер по ковру прыгают кошачьи блохи.

— Наверное, отсюда пошло слово «антраша», — с улыбкой сказала Козетта и посмотрела на танцовщицу, которая ничего не поняла и, как обычно, ответила задумчивым и слегка удивленным взглядом.

Марк рассмеялся. Лицо Козетты расцвело благодарностью. Она сидела не рядом с ним, вероятно, подумав, что было бы эгоистично держать этот приз около себя, но теперь, закончив с едой — хотя на столе еще оставались две только что открытые бутылки вина, — мы последовали одной из сложившихся традиций и пересели, в результате чего Белл, сидевшая между Марком и мной, встала и предложила Козетте свой стул. Я, в свою очередь, поменялась местами с Фей, якобы для того, чтобы оказаться рядом с Гэри, появившемся к началу трапезы, но на самом деле движимая желанием понаблюдать за Козеттой и Марком. Я боялась за нее, уже боялась.

Они обсуждали Уолтера Адмета. Марк бывал в его доме, но по-настоящему не был с ним знаком, хотя лучше Козетты знал его статьи, написанные для журналов «Прайвит ай» и «Нью стейтсмен». Со знанием дела, что редко встречается у актеров, он сообщил Козетте, что считает Адмета хорошим критиком, глубоким и пытливым, не гоняющимся за дешевыми шутками, желая повеселить читателя в ущерб истине. Известно ли Козетте, что Адмет написал роман, не удостоившийся должного внимания? Этот поворот в разговоре, естественно, подтолкнул Козетту к неумеренным похвалам моих бессмертных книг. Я, конечно, смутилась, но затем, к своему удивлению, обнаружила, что Марк знает о моих литературных занятиях, прочел мою первую книгу и единственный доброжелательный отзыв — практически единственный отзыв, — и, в отличие от Айвора Ситуэлла, ограничивавшегося презрительными замечаниями, или Адмета, предпочитавшего не замечать тот факт, что я пишу и публикуюсь, сказал:

— Я всю ночь не спал, чтобы закончить вашу книгу. Хотелось узнать, что там произошло. Вы заслужили ту премию.

Я пробормотала нечто похожее на благодарность:

— Вам Белл рассказала?

Будь это Белл, он бы ответил прямо.

— Белл неграмотна и гордится этим, — сказал Марк. — А я не принадлежу к тем читателям, которые берут вашу книгу в библиотеке, а потом ждут, что в знак благодарности вы станете перед ними на колени.

Замечание было таким точным, что я рассмеялась:

— Вы действительно считаете, что не зря потратили деньги?

— Конечно.

Козетта влюбилась в него в тот же вечер. Все случилось очень быстро. С растерянностью и ужасом я смотрела на Козетту, которая — когда мы вернулись в гостиную, чтобы выпить шампанское, о котором почему-то забыли, — бросила на него взгляд, уже однажды виденный мной, но у другого человека и в других обстоятельствах. Это было во время нашего с Козеттой путешествия в Италию, в кафе в Болонье, куда зашел музыкант с гитарой. За одним из столиков вместе с родителями и старшей сестрой сидела девочка лет восьми. Она влюбилась в гитариста с первого взгляда, с безмолвным восторгом ходила за ним от столика к столику, а за ней с нескрываемым изумлением наблюдали родители и сестра. Заметив ее пристальное внимание, музыкант повернулся и сыграл только для нее, посадив ее одну за свободный столик; он исполнил гротескную, с гитарными переборами, версию «Санта Лючии», с явным удовольствием

ловя восхищенные взгляды слушательницы. У Козетты, годившейся той девочке в бабушки, теперь был точно такой же вид, и когда Марк принес ей бокал шампанского, она посмотрела ему в глаза с таким же откровенным восхищением и обожанием.

«Это пройдет, — подумала я, — это *должно* пройти, это всего лишь „заскок“, временное помешательство, которое вскоре пройдет, превратится в печальные воспоминания: „Помнишь того красивого мужчину, который однажды приходил сюда и был так мил? Я безумно в него влюбилась на целую неделю...“»

Но Козетта не оставила шанса такому развитию событий. Не собиралась отпускать Марка. Белл она справедливо считала несерьезной, ненадежной, склонной «пропадать», и не рассчитывала, что та снова приведет свой «экспонат». Кроме того, Козетта понимала несостоятельность туманного приглашения заглянуть «как-нибудь еще» или «когда будете в наших краях». Марка следовало позвать по какому-то конкретному поводу, и этот повод представился. Вечеринка — она устроит вечеринку. Но в честь чего? По случаю дня рождения Белл, которой исполнялось тридцать. Разумеется, Козетта считала, что это юный возраст, но я сомневаюсь, что Белл разделяла ее точку зрения. Лично меня вряд ли обрадовало бы публичное объявление о переходе этого рубежа.

«Будь мне снова тридцать, я бы стала распутницей и уводила чужих мужей».

Я вспомнила эти слова. Я вспомнила их, когда Козетта пригласила Марка на день рождения Белл — естественно, вместе с Фей и Пердитой. Ее лицо по-прежнему сияло. Как та девочка в Болонье, она не прятала свою радость, словно раньше никогда не видела мужчин, не была замужем, не имела двух или трех любовников, а всю молодость спала в дремучем лесу или прозябала в монастыре и потом, подобно Миранде, воскликнула: «И как хорош тот новый мир, где есть такие люди!»^[54]

Той ночью, лежа в постели рядом с Белл, я сказала ей:

— Козетта влюбится в Марка.

— Уже влюбилась.

— Ты видела? — спросила я.

— А ты разве нет? Конечно, видела.

— Хорошо бы как-то ее остановить.

— Почему? Зачем? Из-за того, что ты за нее боишься? Марк другой, он не похож на того ублюдка Айвора. Марк не обманывает женщин.

— Я имею в виду, что он не сможет ответить ей, не будет испытывать к ней те же чувства, что она к нему.

— Марк будет к ней добр. Это совсем другое дело — ты увидишь. Он будет очень добр.

— Я бы предпочла не давать ему такого шанса.

— Правда? Козетта с тобой не согласится. — Белл отвернулась и отодвинулась от меня. — А теперь я буду спать. Спокойной ночи.

Этим утром мы с Белл вместе пошли в магазин, в супермаркет, где я покупаю корм для кошек. Пока мы стояли в очереди в кассу, я показала ей картинки в блестящих позолоченных рамках, где предлагались товары со скидкой, по 9,95 фунта. На одной картинке был изображен любимый объект Сайласа Сэнджера, пересекающее лесную поляну животное, только здесь это был ретривер в залитой солнцем роще, а Сайлас предпочитал джунгли и хищника с окровавленными клыками.

Белл тоже о нем подумала.

— Сайлас обычно возбуждался, когда видел такие вещи, — сказала она. — Они непристойны, и меня от них тошнит.

— Эти взгляды тебе привили в Лестерском колледже искусств, да? — Я понимала, что не должна отпускать язвительные замечания каждый раз, когда мы приближались к тем эпизодам из прошлой жизни, где она мне лгала, но я ничего не могла с собой поделать. Как бы то ни было, мне следует сдерживаться. Но Белл, похоже, все равно — словно она считает, что я имею право немного поквитаться с ней, и, наверное, такое право у меня действительно есть.

— Ты же знаешь, я никогда там не училась. Просто удивительно, как ты поверила в такую чушь.

— Может, тебя это удивляет, но люди обычно верят тому, что им говорят.

Ее сухой смех был похож на потрескивание лучинок в пламени камина.

Мы заплатили за кошачий корм, вынесли пакеты на улицу и стали ждать такси. В конце концов Белл не справилась с той работой в магазине на Уэстборн-Гроув и переселилась ко мне; теперь она живет у меня. Разумеется, это не было сказано вслух, уж точно не в таких выражениях, и, кроме того, за комнату под железнодорожным мостом по-прежнему вносится арендная плата. Белл сказала, что побудет со мной, но я знала: речь идет о том, чтобы остаться. Ирония ситуации меня очень забавляла, поскольку я вспомнила, как страстно я когда-то желала, чтобы Белл жила со мной, чтобы она хотела жить со мной сильнее, чем я с ней. Но такое положение дел представлялось просто невыносимым, невероятным.

Честно говоря, теперь я этого совсем не хочу. Не хочу, чтобы Белл стала не временным, а постоянным гостем в моем доме. Я слишком устала от нее, от ее прошлого, от того, что она совершила. Я «зациклилась». Но разве могло быть иначе? Все это нервировало меня, вызывало стресс, который всегда выливается — вы уже догадались, правда? — в нервный тик, когда непроизвольно дергаются мышцы. И чем больше я беспокоюсь, тем сильнее тик. Это еще не начало болезни Хантингтона, но мне это не нравится, и я переживаю, потому что еще слишком молода.

Мне исполнилось сорок. Мы с Белл отметили мой день рождения торжественным ужином в ресторане. Мы постоянно, несколько раз в неделю, ходим куда-нибудь вдвоем, нередко в кино, поскольку в последнее время на экран вышло много хороших фильмов, таких как «Мона Лиза», «Комната с видом» и «Навострите ваши уши». Я уже много лет так часто не ходила в кино. На прошлой неделе мы посмотрели «Антония и Клеопатру» Оливье — кое-кто считает его лучшим спектаклем столетия — и поужинали в «Национальном доме кино» у реки. Две довольно симпатичные женщины, только вступившие в средний возраст — так мы выглядели со стороны, — но не сестры, слишком разные для этого, и не соседки из пригорода. Никто бы не принял Белл, плотно упакованную в многослойную черную одежду из разных тканей, за соседку из пригорода. Теперь она ходит только в черном. Словно чеховская Мария, оплакивающая свою жизнь.

— Чуть, — бросает она, когда я говорю ей об этом. — Половина твоих бед из-за того, что ты прочла слишком много книг.

— Ты хочешь сказать, половина *твоих* бед из-за того, что я прочла слишком много книг.

Понимаете, мне нужно, чтобы она заговорила о Козетте и Марке; рано или поздно, если она так и не отреагирует на все мои намеки, я назову эти имена, заговорю о них сама, но пока не хочу этого делать. Нет, неправда. Я просто боюсь упоминать о них. Когда мы вернулись домой, зазвонил телефон, и это оказался Тимоти. Помните Тимоти, мужчину, с которым я ужинала в «Лейтс» на следующий день после того, как увидела Белл? Он не играет большой роли в моей жизни, я в него не влюблена, и он в меня тоже, мы просто дружим, но теперь я не могу с ним увидеться. Я не готова знакомить людей с Белл, представлять ее им. Возможно, они не знают, кто она такая и что совершила, им безразлично, но я-то знаю, и это меня останавливает.

Всю обратную дорогу в такси Белл курила, несмотря на предупреждение: «Спасибо, что не курите». Впервые увидев надпись, Белл

не могла поверить, что это не шутка. Водитель демонстративно кашлял, а когда мы подъехали к дому, сказал:

— Мне следовало высадить вас из машины, но у меня старомодные взгляды на то, как следует обращаться с дамами. Жаль, что другие не столь деликатны.

Я подумала, что Белл огрызнется, однако она промолчала и, похоже, даже не слышала его. Не проронив ни слова, она подошла к парадной двери и ждала, пока я открою, а когда мы вошли в дом, спросила:

— Хочешь, расскажу, как я на самом деле познакомилась с Сайласом?

— Как знаешь.

— Эй, — сказала она. — Это мои слова. Ты крадешь у меня реплики.

Я засмеялась:

— Расскажи, как ты на самом деле познакомилась с Сайласом.

— Это случилось в детском доме. Тот был очень большим и считался каким-то экспериментальным заведением — на самом деле эксперимент получился идиотским. Я имею в виду, что они перемешали старших с младшими и с совсем маленькими. Предполагалось, что получится нечто вроде семьи. Боже... Дай мне сигареты, пожалуйста.

— Меня упекли туда в шестнадцать лет. Ты знаешь, где я была и почему. Все вроде как держалось в тайне — это считалось прогрессивным, в ногу со временем и все такое, и в газетах не появилось ни слова. В 1958 году других средств массовой информации почти что не было. Только газеты. Но им не хватило прогрессивности подумать, что я должна учиться в школе. Поэтому я пошла работать, а жила в детском доме и по вечерам должна была помогать укладывать малышей спать. Абсурд, правда? Мне до смерти хотелось оттуда уехать, но я не знала, когда смогу это сделать — в восемнадцать, в двадцать один или еще когда-нибудь, — смогу ли вообще, и не будет ли это опять что-то вроде тюрьмы. Оказалось, что нет.

— У Сайласа был родственник, ребенка которого поместили в детский дом, но на выходные девочку отпускали домой. Иногда назад ее привозил Сайлас. В то время Фелисити была его подружкой. Она училась в колледже и, думаю, считала, что это очень круто — появляться везде с таким чокнутым алкашом, как Сайлас. Так вот, я увела его от Фелисити и действительно забеременела, и директор детского дома заставил Сайласа на мне жениться. Директор рассказал ему, кто я, причем представили все так, словно Сайлас действительно совершил нечто ужасное, лишь прикоснувшись ко мне, словно я была прокаженной, и теперь у нас обоих проказа, но мы должны болеть вместе. В день свадьбы у меня случился выкидыш. Кровотечение началось в отделе записи актов гражданского

состояния.

— Это правда, Белл?

— Что именно?

— Все.

— Конечно. Ты же сама говорила, что даже лжецы говорят больше правды, чем лжи.

Мышцы на плечах и шее у меня дергались. Я пыталась справиться с тиком, размеренно глубоко дыша.

— А где тогда был Марк? Чем он занимался?

Белл вскочила и выбежала из комнаты, хлопнув дверью.

Марк пришел на вечеринку, устроенную Козеттой в честь дня рождения Белл. По какой-то причине вечеринка получилась гораздо более пристойной, чем та, которую прервал Эсмонд, забравший Фелисити домой. Разумеется, народ напился, как же без этого, а Риммон снова отправился в психоделическое путешествие, ставшее для него уже привычным еженедельным развлечением. Насколько я помню, ни одна пара не укрылась в спальне, как в предыдущий раз Фелисити и Харви. Порой мне казалось, что эта вечеринка меньше напоминала сатурналии исключительно из-за присутствия Марка. Я ни в коем случае не намекаю, что он был ханжой, или в его поведении проскальзывало осуждение или неодобрение. Ничего подобного. Скорее в его присутствии у людей появлялось ощущение, что можно прекрасно провести время, не напиваясь, не дурманя себя наркотиками и никого не лапая, и что беседа и вежливость с другими гостями — это вполне разумная, хотя и устаревшая альтернатива. Конечно, я понимаю, что такая оценка Марка звучит высокопарно, и я могу ошибаться, и вечеринка оказалась такой из-за отсутствия Адмета, Фелисити, Фей и Гэри.

Козетта упрашивала Белл пригласить своих друзей. Настаивала на необходимости позвать мать Белл и Марка и, более того, хотела предупредить ее заранее, чтобы та могла участвовать в подготовке праздника. Белл никого не пригласила. Сейчас я понимаю, почему, но тогда это казалось мне странным. Если не считать Марка, все гости были из старой компании Козетты: неизменные жители Велграта, Оливер и Адель, балетные танцоры, а также Перпетуа с многочисленным семейством, включая Доминика, Мервин с Мими и несколько соседей из переулков в окрестностях Аркэнджел-плейс.

На той вечеринке Козетта подарила Белл перстень с гелиотропом. Сказала, что на руке Белл он смотрится лучше, чем на ее, — и была права.

Белл поблагодарила, посмотрела на кольцо на пальце, потом на Козетту, но не улыбнулась и никак не выказала своей радости. Почти все на ее месте поцеловали бы Козетту — обняли и поцеловали. Я не удивилась, что Белл этого не сделала, но все же расстроилась. Меня также огорчало, что она никогда не носила перстень, по крайней мере при мне. Когда я увидела ее в следующий раз — и всякий раз потом, — на ее пальце ничего не было.

Марк не остался до утра. Ушел домой сразу после полуночи. Козетта настаивала, чтобы он приходил завтра вечером на ужин, где мы обсудим, как прошел день рождения Белл.

— Завтра вряд ли получится, — ответил он.

Его слова не были похожи на прямой отказ, и Козетта ухватилась за это:

— Если вы думаете, что не должны приходить, поскольку уже были тут дважды, это ерунда. Так и знайте. Все остальные являются, когда хотят. У нас без церемоний — приходите, пожалуйста.

Он улыбнулся:

— Завтра все равно не могу.

Я на него рассердилась. Казалось, он набивает себе цену. Зачем соблюдать эти дурацкие правила с богатой женщиной, которая ему в матери годится? Это жестоко. Или Марк сознательно старался выглядеть уклончивым и недоступным, а значит, еще более желанным? Больше он ничего не сказал. Козетта смотрела, как он идет по улице, — на его длинную худую тень.

— Я бы все отдала, чтобы вернуть молодость, — сказала она яростным, возбужденным шепотом. — Пожертвовала будущим и согласилась бы умереть, ради того, чтобы на один год снова стать тридцатилетней.

Увиделись они почти через неделю. Какой была Козетта всю эту неделю? Думаю, печальной, просто печальной. Она не упоминала о нем, ничего не говорила вслух, но догадаться о ее мыслях было нетрудно. «Если бы я была на несколько лет моложе, а он чуть-чуть старше, если бы нас разделяло лишь пять или шесть лет, тогда... И я тут бессильна, я не могу позвонить ему, как Уолтеру или Морису Бейли или любому другому мужчине, не могу этого сделать, поскольку точно знаю, что не переживу унижения, услышав отказ». Так она, наверное, думала. Иногда я ловила ее взгляд, брошенный на Белл, словно та оставалась ее единственной надеждой. Белл была ключом к Марку. На какие вопросы она могла бы ответить, что рассказать, как объяснить его поступки? Но я не спрашивала, и Козетта тоже. Мне казалось — теперь я знаю, что абсолютно

необоснованно, — что у нас с Белл не было тайн друг от друга, а появление Марка все испортило. Я боялась спросить, а она не горела желанием рассказывать, и между нами возник барьер — или так мне казалось. На самом деле барьер действительно существовал, и именно из-за Марка мы стали отдаляться друг от друга, хотя совсем не так, как я предполагала.

Генри Джеймс писал о границе безнаказанности, до которой можно играть с правдой.

Я в этом сомневаюсь. Он не знал Белл, искуснейшего жонглера в цирке жизни. Странно, что выводы мы делаем не по впечатлению, которое на нас хотят произвести, а в соответствии с собственными представлениями. Я считала само собой разумеющимся, что Белл прекрасно осведомлена, опытна и искусна во всех проявлениях любви, знает жизнь. Однако она сама мне этого никогда не говорила. Может, дело в ее поведении, или я все сама придумала? Белл рассказывала, что училась в художественной школе, что у нее были любовники задолго до поступления туда, что она выросла без отца, с эксцентричной матерью, концертной певицей. Девичья фамилия у нее, разумеется, как у Марка — Хенрисон.

Я пришла к выводу: брак с Сайласом сформировал у нее отвращение к мужчинам. Она жила с ним, была за ним замужем, но в любовники выбирала женщин, возможно, многочисленных. А после его смерти стала свободна и могла насладиться однополый любовью. Мне казалось, что именно в этом, а не в необходимости помогать матери заключалась причина ее отлучек, а также исчезновения после нашей встречи в доме Адмета. У нее есть любовница, женщина, к которой она была очень привязана, но с которой рассталась ради меня. Оглядываясь на нашу совместную жизнь и вспоминая множество предметов наших бесед, я не припоминаю ни одного мужчины, за исключением Сайласа; она вообще не говорила о мужчинах, разве что о своем брате Марке, да и то с явной неохотой.

Я думала, что мы его больше не увидим, и удивилась, когда услышала в телефонной трубке его голос. Он меня сразу узнал. Марк не принадлежал к той категории людей, которые вас знают, но в разговоре по телефону обращаются к вам как к секретарю или экономке: «Пригласите, пожалуйста, такого-то». Марк назвал меня по имени, спросил, как дела, и, похоже, смутился, когда я сказала ему, что Белл нет дома.

— Мне нужна вовсе не Белл. Я надеялся, что могу поговорить с Козеттой.

Он позвонил, чтобы пригласить ее на ужин. Нет, это не вечеринка, они будут вдвоем, только она и он, потому что Марк считает, что теперь его очередь, поскольку он уже два раза был ее гостем. Реакция Козетты меня

удивила. И Белл — тоже. Не скажу, что в то время я знала Белл. С учетом того, как меня обманывали, было бы глупо так утверждать, но кое в чем я разбиралась; например, понимала, что значит ее холодный, заинтересованный взгляд. Она мысленно отмечала глупости, которые совершают люди, и оценивала, как далеко они могут зайти. Наблюдая за Козеттой и — позвольте мне быть откровенной — видя ее глупую улыбку, восхищенный взгляд, видя, как она жадно ловит каждое слово Марка, прислушивается к его мнению, Белл ждала очередной глупости. Как это ни странно, я начала догадываться, что Белл недолюбливает Козетту. Понимаете, никто не испытывал неприязни к Козетте, это было практически невозможно, и поэтому я не обращала внимания на признаки, которые уже замечала раньше, помня лишь о доброте и вежливости Белл при первой встрече с Козеттой. Теперь во взгляде Белл я видела легкое презрение и разочарование: услышав приглашение Марка на ужин, Козетта не запаниковала, не зная, что надеть, как причесаться и что делать с лицом, не стала восклицать, как ей хочется быть хоть капельку моложе.

Думаю, Козетта отказалась от борьбы. Вероятно, она долго и внимательно разглядывала свое отражение в зеркале и решила, что все бесполезно. *Этот мужчина слишком важен, и подобные средства тут не годятся.* Одно дело — Айвор Ситуэлл, для которого можно сделать подтяжку лица, сидеть на диете, покупать новую одежду, несмотря на то, что он все равно сбежит. Риммон... Как выражалась Белл, он годился лишь на то, чтобы «перепихнуться» — в качестве суррогата. Был еще один мужчина, кажется, какой-то приятель Адмета, но на одну ночь. Но Марк — это серьезно, и именно поэтому все ухищрения бесполезны. Лучше дружить с ним, завоевать его уважение, наслаждаться его обществом, чем выставить себя на посмешище, чрезмерно надушенную и накрашенную, что вызовет у него лишь презрение.

— Я пытаюсь убедить себя не переживать, если люди в ресторане примут меня за его мать, — сказала мне Козетта. — Нет, даже больше. Я убеждаю себя, что именно этого следует ожидать и что это должно мне понравиться. То есть мне было бы приятно иметь такого сына, как Марк. Представь, как бы все изменилось, будь у меня такой сын.

— Тебе никогда не нравилось, если меня принимали за твою дочь, а он на десять или одиннадцать лет старше меня.

— Теперь понравится. Я меняюсь, должна меняться. И собираюсь стареть благородно.

Самое интересное, что без макияжа и элегантной прически Козетта выглядела гораздо привлекательнее и моложе. Волосы она просто собрала

на затылке неплотным узлом (как теперь носит Белл), слегка коснулась лица светлым тональным кремом и надела простое темно-зеленое платье и нитку жемчуга, последний подарок Дугласа. Вид у нее был красивый и аристократичный, и только очень наблюдательный человек мог бы подумать, что она годится Марку в матери, разве что каким-то непостижимым образом выросла в обществе, где девочки выходят замуж в двенадцать лет.

Марк никогда не был преувеличенно вежливым, как Адмет, подобострастным и почтительным. Он предпочел не заезжать за Козеттой, а ждать в ресторане. Повел он ее в небольшое бистро на Квинсвей, где не могло быть и речи о «высокой кухне». Я не видела, как Козетта уходила или возвращалась. Мы с Белл были приглашены Эльзой на «трэш» — вечеринку по поводу ее развода с мужем, французским католиком. Когда на следующее утро мы спустились в гостиную, довольно поздно, потому что вернулись за полночь, Марк уже был там в обществе Козетты и Тетушки; они с Козеттой сидели за столом, лицом к лицу, и оживлено разговаривали, не отрывая друг от друга взгляда. Я уловила одну или две фразы.

— Я ничего не знаю о Шенберге, ^[55] — сказала Козетта.

— Я тоже, — признался Марк. — Вот и узнаем. Вместе.

При нашем появлении они — по крайней мере, Козетта — не испытали особой радости. Разумеется, Козетта сделала вид, что рада нас видеть, такой уж она была, но я понимала, что это притворство. Вскоре они куда-то уехали, взяв с собой Тетушку. В тот день Козетта должна была вывезти Тетушку на прогулку, и Марк сказал, что составит им компанию. Старушка послушно пошла за ними, словно зомби — у нее почти всегда был такой вид; она просто делала то, что ей приказано, но мне показалось, что вид у нее был не такой растерянный. Марка она могла понять — прилично одет и не использует слов, произносить которые в ее детстве считалось преступлением, не курит непонятных трав, не слушает неблагозвучную музыку. И еще он разговаривал с ней, не делал вид, что ее нет.

Я вышла на балкон, чтобы наблюдать за их отъездом; мне было интересно, сядет ли Марк за руль, но он не сел, по крайней мере в этот раз.

— Наверное, он остался на ночь, — сказала Белл странным, ровным тоном, к которому иногда прибегала.

— Уверена, что нет.

— Почему?

— Просто чувствую. Они были бы другими. Козетта была бы другой.

Как выяснилось, я была права. Белл спросила Гэри. Мне казалось

странным задавать ему подобные вопросы. Гэри мало спал: ложился всегда поздно, а вставал часов в семь. Накануне вечером Марк вернулся с Козеттой около одиннадцати, побыл десять минут и уехал, а вернулся утром в десять. Гэри сам ему открывал дверь.

— Вы похожи на шпиков его жены, — сказал Гэри.

— У него нет жены, — ответила Белл.

— Хотите знать, поцеловал ли он ее на прощание?

— Ради всего святого! — попыталась я прекратить этот разговор. — Речь идет о Козетте. Козетте!

— И что? — довольно неожиданно ответил Гэри. — «Вино, которое она пьет, из гроздьев, как твое». ^[56]

— Возможно, только он вряд ли пил это вино, правда?

— А почему бы и нет, — медленно произнесла Белл. — Не вижу, что ему мешает.

— Козетте уже далеко за пятьдесят. Ей это не нужно, она об этом даже не мечтает.

— Готов поспорить, мечтает, — сказал Гэри.

Марк оставался просто другом. Да и могло ли быть иначе? По крайней мере, его не назовешь любителем дармовщинки. Он часто приглашал Козетту в ресторан или приходил в «Дом с лестницей» уже после ужина. Крайне редко, когда Козетта устраивала ужин для всех, Марк присоединялся к нам, но вел себя довольно скромно, пил мало, заказывал недорогие блюда. Он не курил, не употреблял крепких напитков. В его присутствии чувствовалось, что времена роскоши миновали — времена зеленого шартреза и сожженных купюр.

Я вбила себе в голову, что Белл с Марком очень близки — лишь на том основании, что один раз видела их вместе. И, похоже, ошибалась. Во всяком случае, он приходил явно не для того, чтобы повидаться с сестрой. Они обращали друг на друга не больше внимания, чем на Гэри или балетных танцоров, а на самом деле даже меньше, потому что Марк всегда был вежлив и предупредителен с друзьями Козетты, а Белл казалась единственным человеком, к кому он был безразличен. И не просто безразличен — мог не обратить на нее внимания, когда она входила в комнату. Порой я замечала, как он поднимал голову и, увидев, кто это, отводил взгляд, не сказав ни слова и даже не кивнув. Не знаю почему, но мне казалось, что виновата в этом сама Белл, какой-то ее поступок.

Однажды я спросила Марка, какой она была в детстве.

— Понятия не имею, — улыбнулся он.

— Ты должен знать. Ведь ты ее брат.

В присутствии Козетты — вероятно, чтобы ей угодить, — он часто преувеличивал свой возраст.

— Я гораздо старше Белл. — Это прозвучало так, словно их разделяло не шесть с половиной, а двадцать лет. — И вечно пропадал в школе. — Совершенно очевидно, ему не хотелось об этом говорить.

В тот же день я нашла в телефонной книге фамилию Генрисон. Там был номер Марка, на Брук-Грин в Риверсайде, однако в Харлсдене никакой миссис Генрисон не обнаружилось. А почему ее номер должен там быть? Я ни разу не слышала, чтобы Белл звонила матери; вне всякого сомнения, у нее нет телефона. Я была наивна и доверчива. Верила Белл, путая искренность с честностью.

Искренность заставила ее рассказать мне о Сайласе и их совместной жизни. В своих воспоминаниях мы двинулись дальше. Но не к Козетте и Марку — на их имена она реагировала как животное на звук выстрела, — а к нам самим.

— Нет, до тебя у меня не было женщин, — сказала она. — И если уж на то пошло, после тебя тоже.

— Что ты сказала?

— Я не лесбиянка. Хотя иногда жалела. В тюрьме это обычное дело.

— Тогда почему?..

— Из-за тебя, — просто сказала она.

— У меня не было ни одной женщины до тебя.

Она засмеялась своим сухим, дребезжащим смехом — такой смех называют «грязным», язвительным, самоироничным — и сказала:

— На меня что-то нашло. В ту ночь, когда я надела платье. Подумала, что тебе это должно понравиться. И не ошиблась, правда?

— А тебе разве нет?

— Да, конечно. Мне это нравилось, но казалось несерьезным. У тебя тоже было такое чувство?

— Нет. Я все воспринимала всерьез. Но мне приходилось слышать подобное от других дилетантов.

— Что значит «дилетантов»?

— Голубых, которые пытались стать нормальными, и нормальных, которые пытались стать голубыми.

— Я тебя расстроила, Лиззи?

— Ты меня потрясла.

Глаза бы мои на нее не смотрели. Неужели я ошибалась, думая, что она так же влюблена в меня, как я в нее? Но такое часто случается с

людьми, обнаруживающими, что их любят из жалости или корыстного интереса. С богатыми старухами, богатыми стариками, богатыми уродцами. Но я была молода, бедна и, как считали некоторые, красива...

— Ты меня любила? — Мне потребовался добрый час, чтобы заставить себя задать этот вопрос, и голос мой звучал странно, как-то хрипло и ужасно взволнованно. — Я тебя любила. А ты?

Все-таки она смягчилась — наверное, после всех этих страшных лет в тюрьме Белл изо всех сил старается не слишком меня обидеть.

— Не знаю. Ты мне очень нравилась. И секс тоже. Мне нравилось ощущение, что я делаю что-то... скандальное.

Неужели она всегда была такой, невероятно равнодушной? Даже тогда, когда мы были вместе? Белл протянула руку, коснулась моего плеча, шеи. Я с трудом удержалась, чтобы не отпрянуть и не вскрикнуть — в точности, как говорила Козетта, боявшаяся, что к ней станет приставать женщина. Просто стряхнула ее руку, хотя и не с таким отвращением, как упавшее с дерева насекомое. Так когда-то Белл сбросила мою ладонь со своей руки.

— Еще чего не хватало. Не знаю, на что ты намекаешь, но этого мне не нужно. Даже если бы мы остались последними людьми на земле или оказались на необитаемом острове.

— Тогда все в порядке. Мне тоже. И дело не в тебе. Мне никто не нужен, ни мужчина, ни женщина — от одной мысли об этом меня пробирает дрожь.

Визиты Марка становились все чаще. Обычно он появлялся в доме, и они с Козеттой куда-то уходили вдвоем, проводя много времени вместе, а мы с Белл постепенно отдалялись друг от друга. Вы должны помнить, что тогда я не знала того, что знаю теперь: Белл меня не любила, относилась ко мне — да, это так, и нужно взглянуть правде в глаза — как к некому извращенному удовольствию, партнеру по сомнительной игре. Мне казалось, она меня любила, но любовь прошла, и я наскучила Белл. Возможно, это еще хуже, чем правда. Легче признать, что тебя никогда не любили, чем согласиться, что быстро наскучил возлюбленному.

Мы все меньше разговаривали. Перестали делиться друг с другом наблюдениями за другими обитателями дома: как они себя ведут, что говорят. Конец этому положила Белл. Я пыталась спрашивать у нее, почему Гэри поступил так-то и так-то, что имел в виду Оливер, брат Козетты, но ответом мне было пожатие плечами или небрежное:

— Какая разница?

В тот день, ближе к вечеру, Козетта купила телевизор. Якобы для

Тетушки. Его поставили не в гостиной — Козетта бы этого не позволила, — а в зале на первом этаже, который раньше не имел конкретного назначения, разве что иногда использовался для музыкальных и галлюциногенных ритуалов. Там поставили диван со стульями, а стену Козетта украсила специально купленным огромным зеркалом в золоченой раме. Белл много времени проводила в этой комнате. Словно моим удачливым соперником стал телевизор, отнимавший ее у меня. Белл с Тетушкой — хотя у них не было ничего общего и прежде они почти не разговаривали друг с другом — теперь часто сидели в соседних креслах, изредка перебрасываясь фразами, имевшими отношение исключительно к тому, что происходило на экране.

— Может, переключить на другой канал?

— Да, если хочешь. Сегодня будет наш сериал.

В десять Тетушка, как правило, шла спать. Белл смотрела телевизор до полуночи, а иногда и дольше, если передачи затягивались. А я лежала в постели и ждала ее, слушая, как приходили Козетта и Марк, и тот иногда, но далеко не каждый раз, поднимался на первый этаж, чтобы пропустить стаканчик и пожелать Козетте спокойной ночи, потом звук закрывающейся за ним входной двери и, наконец, шаги Белл, преодолевающей первый пролет, затем второй, минующей мою спальню и поднимающейся все выше и выше, в свою комнату наверху.

Я страдала. Мечтала и строила нелепые планы. Разумеется, наш роман — называйте как хотите — больше не мог продолжаться, и я это понимала, но меня не покидали наивные мысли, что наша связь сохранится и что даже через много лет мы останемся самыми близкими людьми. И возникнет некий ритуал, когда, например, раз в год мы будем встречаться и заниматься любовью; уникальная дружба не угаснет, тайная близость обогатит наши жизни, и между нами возникнет особая симпатия, так что даже на расстоянии мы, словно разлученные близнецы, будем чувствовать радость друг друга или грозящую кому-то опасность.

Но чтобы мои мечты осуществились, должно было произойти событие, которое изменит нашу жизнь, станет причиной расставания. Например, переезд Козетты, моя или ее болезнь, необходимость для Белл присматривать за матерью. Теперь я вижу и другие средства разлучить нас, мимолетные и почти незаметные вещи, которые уничтожали суть, оставляя пустоту. Мы с Белл скрывали свои отношения, словно настоящие лесбиянки. Я заметила, что гомосексуальные пары всегда так себя ведут, за исключением общества себе подобных. В присутствии людей нормальной сексуальной ориентации они не прикасаются друг к другу, не

обмениваются взглядами и даже не садятся рядом. Поэтому наше поведение не изменилось. Никаких прикосновений или ласк в присутствии Козетты и Тетушки. Теперь мы не делали этого и ночью, оставшись наедине. Единственное, что я знала, — у меня нет соперника из числа людей, потому что Белл практически никуда не ходила, ей не звонили, и она никому не звонила сама. Она смотрела телевизор.

Той весной и летом Белл так мало говорила со мной, что я могла неделями не услышать от нее ни слова; запомнилось лишь одно ее замечание, которое показалось важным. Мы встретились на лестнице. Я собиралась к литературному агенту — узнать, что никто не хочет публиковать мою монографию о Генри Джеймсе, — а она поднималась из холла, где подобрала с коврика почту. Не выходящая на улицу Белл стала бледной, и вид у нее был болезненный. Погода стояла теплая, душная и безветренная, но Белл предпочитала сидеть дома, часами валяясь на своей кровати в верхней комнате, с полностью открытым опасным окном. Ее серо-черный наряд напоминал одежду средневековых женщин.

— Я бы сбежала, но мне некуда идти.

— Мы можем поехать куда-нибудь вдвоем, — предложила я и тут же пожалела о своих словах. — Например, отдыхать.

Она пристально посмотрела мне в глаза:

— Я вовсе не это имела в виду.

Сестры могут ревновать к братьям — кто угодно может ревновать к кому угодно, — и я подумала, что она обижается на Марка, который проводит столько времени с Козеттой. Или та их разлучила? А что, если именно это событие изменило их отношения? Я предполагала, что в жизни Марка Козетта могла занять место сестры. Наверное, собственная сестра сделалась равнодушной и безразличной, перестала быть настоящим товарищем, как в прежние годы, и эта роль перешла к Козетте. Я не замечала никаких признаков того, что ее с Марком связывает нечто большее, чем дружба. После первых визитов создалось впечатление, что Марк претендует на место Айвора Ситуэлла, однако он не только не занял это место, но как будто отступил. А Козетта, бросавшая на него столько томных взглядов и, казалось, благоговевшая перед ним, смотрела на него точно так же и говорила тем же тоном, как обычно с Гэри и Луисом. Похоже, держала данное себе слово, что физическая любовь между ними невозможна и что она будет стареть благородно. Наградой ей стала привязанность Марка.

Он любил ее за то, какая она. Козетта стала его близким, закадычным другом. Вполне возможно, Марк стал ей сыном, которого у нее никогда не

было, а она ему — матерью, о которой он всегда мечтал. Многие пришли бы именно к такому выводу. Молодые люди часто дружат с женщинами старше себя и вступают с ними в отношения явно не сексуального характера. Естественно, обобщать невозможно, и это было бы жестоко.

Они ходили на концерты, якобы для знакомства с творчеством Шенберга, как и обещал Марк. Смотрели кино. Возили Тетушку на прогулки. Ужины в ресторанах входили в моду, и обычно они где-нибудь ужинали вдвоем. И только иногда Козетта, побуждаемая чувством вины, что она поступает нечестно по отношению к остальным, собирала нас в кучу и гнала, как овец, в «Марко Поло» или даже в какое-нибудь роскошное заведение вроде «Эку де Франс», причем Марк на этих вечеринках всегда отсутствовал, что вызывало у меня подозрение. Все это было совсем не похоже на жизнь в Велграте, но не в меньшей степени отличалось от первого периода в «Доме с лестницей» — необузданного, декадентского и беспорядочного.

Я вспомнила рассказ Козетты об умирающем Будде: «Все меняется».

Как бы то ни было, Марк никогда не оставался на ночь, даже в свободной комнате на верхнем этаже рядом со спальней Белл. Я была абсолютно уверена — насколько это вообще возможно, — что он не спал с Козеттой и даже не целовал ее, если не считать прикосновение губами к щеке. А может, и этого не делал. Однажды он заговорил со мной о ней. Мы остались вдвоем, что случалось очень редко и длилось недолго. Белл не захотела выходить из дома, Гэри отсутствовал, для Тетушки было уже поздно, но Мервин вернулся, по-прежнему вместе с Мими, хотя они уже привыкли друг к другу, как давно женатая пара. Мы все поужинали в ресторане, и Мервин с Мими пошли танцевать. Козетта встала и отправилась за счетом. Она уже давно научилась тактично оплачивать ужин, как будто счета вообще не существовало. Марк наблюдал за танцорами, а я за — ним. Я уже говорила, что он не обращал внимания на свой внешний вид и был равнодушен к одежде, но всегда одевался соответственно случаю; в тот раз на нем были серые фланелевые брюки и пиджак из какой-то темно-синей неплотной ткани, не новый, но и не поношенный. Тогда мужчины носили длинные прически, однако Марк был пострижен короче, чем того требовала мода. Он был очень худым, что придавало ему особую элегантность. Есть что-то сексуальное в мужской спине, когда она прямая, а кости едва прикрыты плотью. У Марка были необыкновенно привлекательные лопатки. Я убедилась в этом, когда он наклонился над столом, подняв голову. Руки у него были длинные и тонкие, но не женственные, с выступающими костями и суставами.

Он повернул голову и заговорил со мной:

— Просто не верится, что все это время мы с Козеттой жили в Лондоне, но не были знакомы. Столько времени потеряно.

— Теперь вы можете наверстать упущенное. — Я вспомнила, что не так давно у Козетты был муж, которому уж точно не понравилось бы присутствие Марка среди гостей Гарт-Мэнор.

— Мы и наверстываем. — Он торопливо оглянулся. Пытался разглядеть ее в толпе или хотел убедиться, что она не приближается к столику? Глаза у Марка были темно-синие, словно ляпис-лазурь, и чистые, как вода, но эта вода скрывала множество живых существ. — Я еще не встречал таких, как Козетта, — сказал он. — Удивительнейший человек; в ней есть все.

«За исключением юности», — подумала я, и мне показалось, что Марк собирается сказать именно об этом. Сказать с сожалением, прибавив, что если бы она была хоть чуть-чуть, хоть капельку моложе... Он промолчал, а потом продолжил свою мысль:

— Все достоинства, все добродетели. Редко встретишь женщину, в которой нет ни капли стервозности. Козетта никому не завидует. — Тут я бы с ним поспорила. Козетта завидовала всем девушкам, которых знала, но без мстительности. Марк словно прочел мои мысли. — Естественно, ей не чему завидовать.

Козетта вернулась. Мне она показалась усталой и измученной: вечерний макияж потек и смазался, волосы обвисли. И это красное платье — то самое, которое было на ней во время их первой встречи! Но при виде Марка ее лицо засияло, как будто у нее в голове действительно была яркая лампа, включенная его улыбкой.

— Пора домой, ты устала, — с не свойственным ему раздражением сказал Марк. — Пойдем.

— Они же еще танцуют — смотри, Марк, как им нравится...

Козетта никогда не называла его «дорогой». Это слово предназначалось всем остальным. Но ее лицо выдавало чувства — в данном случае рвущуюся наружу любовь, словно протягивавшую свои страждущие руки.

— Они могут поехать с нами или сами доберутся домой, — сказал Марк.

Козетте это явно нравилось; ей нравился властный мужчина, который на первое место ставит ее желания. Ни один из ее мужчин так не поступал, даже Дуглас. Но когда мы вернулись на Аркэнджел-плейс — естественно, с Мервином и Мими, которые были готовы отказаться от любых

удовольствий, лишь бы не платить за автобус или метро, — Марк не прошел дальше холла, где с протiwоестественной официальностью оставил Козетту на мое попечение, в своей обычной вежливой манере попросив проследить, чтобы она немедленно легла спать, иначе не выспится как следует. Утром он позвонит.

Марк всегда выполнял свои обещания. Если говорил, что позвонит, то звонил. Трубку взяла я, но для Козетты это было слишком рано — она еще спала. Действительно, откуда ему знать, когда ложится и встает Козетта? Похоже, Марк удивился и почему-то обрадовался — «до смерти», как говорил мой отец, — когда услышал, что она еще спит. Нет, нет, будить ее ни в коем случае не нужно. Просто передать, что он звонил и спрашивал, как она.

— И передать ей твою любовь?

Пауза.

— Если ты считаешь, что это доставит ей удовольствие.

Козетта всегда слушала радиосериал, в котором играл Марк. Роль была довольно большая, и его персонаж появлялся как минимум три вечера в неделю из пяти. Радиоприемник Козетта купила через неделю после знакомства с Марком. Она сидела в одиночестве и слушала голос Марка, а Белл с Тетушкой оставались внизу, предпочитая телевизор. Однажды я вошла в комнату и услышала, как Марк произносит последнюю фразу эпизода. Это было объяснение с героиней, и меня поразили прозвучавшие слова, которые в данных обстоятельствах выглядели очень странными. Они меня взволновали и немного смутили. Голос Марка вызывал дрожь: «Ты же знаешь, что я тебя люблю. Уже десять лет, с нашей первой встречи...»

Зазвучала музыка, постепенно затихавшая, словно звук морского прибоя — сигнал к окончанию серии. Продолжение завтра, и начнется оно с той же музыки. Козетта выключила транзистор, и наступила полная тишина, в которую постепенно проникало бормотание Тетушкиного телевизора.

Вы должны понять, что Козетта никогда не говорила о себе, не демонстрировала своих чувств. Чужие заботы казались ей важнее, и именно они занимали главное место в ее разговорах. Я уже рассказывала о неопределенной и загадочной улыбке в ответ на вопросы, на которые ей не хотелось отвечать. Она умела искусно переключать внимание с себя на других. Я не сомневаюсь, что Козетта искренне считала, что в нашей компании она — в силу возраста — не может вызывать интерес или пробуждать любопытство. Но в тот вечер, когда мы слушали голос Марка, она внезапно выключила радио, у меня возникло предчувствие, что сейчас

начнутся признания и откровения.

Козетта заговорила — с жаром, словно схватила меня за руку, хотя на самом деле не двинулась с места и нас разделяли несколько ярдов:

— Я так его люблю, что мне кажется, это меня убьет.

— Марка? — Мой вопрос прозвучал довольно глупо. А может, не глупо? Я убедила себя, что они друзья, близкие друзья, но не более того, и что желание ограничиться дружбой обоюдное.

— Я не знала, что такое бывает. Ни к кому не испытывала таких сильных чувств. Даже к Дугласу. И мечтать не могла. Не смотри на меня так, Лиззи. Почему ты на меня так смотришь?

— Прости.

— Я думаю о нем целыми днями. Когда его нет рядом, я думаю о нем, разговариваю с ним. В моей голове происходят долгие воображаемые беседы. Не смотри на меня так, дорогая, не нужно меня жалеть. И сочувствовать тоже. Я не страдаю, я счастлива. Никогда в жизни я не была так счастлива. Что может быть лучше любви? Без нее я просто умерла бы.

Я не стала напоминать, как пять минут назад она утверждала, что любовь ее убьет, а благоразумно призвала к осторожности:

— Ты бы немного притормозила.

— Зачем? Для чего?

Я колебалась. Вспоминала о словах Стендаля, писавшего о желании влюбиться, ощутить блаженство этого состояния. Будь его избранница самой уродливой парижской кухаркой, это не имело бы значения, если бы он любил ее, а она отвечала ему взаимностью.

— Может быть, любовь не так уж хороша, — осторожно сказала я, — если она безответная. То есть если другой не испытывает тех же чувств.

Ее ответ меня потряс, и мне показалось, что пол задрожал у меня под ногами. Голос у Козетты был тихий, но теперь она почти кричала:

— Кто сказал, что он не испытывает тех же чувств?

При виде ее умоляющего лица и протянутых рук я почувствовала озноб и тошноту. Настоящие.

— Козетта...

— Что Козетта? Почему меня нельзя полюбить? Разве я недостойна любви? — Ее лицо уже не выглядело осунувшимся, словно помолодело, как будто сквозь оболочку возраста на мгновение проступила юная Козетта.

— Я не хочу, чтобы ты страдала, — с трудом выдавила из себя я.

— Если бы я была мужчиной, а Марк — женщиной, никого бы не волновало, что я на пятнадцать лет старше. — Ее голос дрожал. Бедная Козетта начала преуменьшать разницу в возрасте. Примерно в том же духе

она упоминала седую прядь в его волосах. — Почему это имеет значение, если я женщина? Мы живем дольше мужчин. Почему мы должны столько времени оставаться старыми?

За прошедшие с тех пор годы эта несправедливость была устранена. Эльза вышла за мужчину, который на одиннадцать лет младше ее, и все считают, что ему здорово повезло.

— Все видят, как он тебя обожает.

— Ненавижу это слово!

Я не знала, что еще сказать, и поэтому просто подошла и обняла ее. Мы крепко обнялись, и теперь мне легче представить и почувствовать то дружеское объятие, чем любое из страстных объятий Белл.

Мы с Белл принимали двоих гостей. Прошло две недели с тех пор, как она у меня поселилась, но до вчерашнего дня никто не приходил. Мы были одни, и каждое утро я шла к себе в кабинет и пыталась писать — то есть сочинять роман, над которым должна была работать, историю с международной интригой и любовными приключениями, с местом действия в Вене и на Маврикии. Я не написала ни слова. Все, что вышло из-под моего пера, — этот рассказ или воспоминания, или как их еще назвать. Я не знаю, чем занимается Белл, пока я тут, но слышу, как она выходит из дома, и предполагаю, что гуляет, бродит по улицам западной части Лондона. С тех пор как Белл поселилась тут, я не слышала от нее презрительных слов о предместьях или жалоб, что мой дом находится слишком далеко к западу.

Вчера приходил мой отец. Дважды в год он приезжает в Лондон на медосмотр. Ему установили кардиостимулятор, и хотя отцу легче и удобнее наблюдаться у кардиолога у себя на южном побережье, он вбил себе в голову, что в Лондоне собрано все лучшее. Особенно в Хаммерсмите, где клиника считается одной из лучших в области сердечных болезней. Для своих семидесяти трех отец бодр и энергичен, но немного теряется в Лондоне с его вечными толпами, так что я всегда встречаю его на вокзале Ватерлоо и везу в клинику. После обследования он приезжает ко мне и остается на ночь.

Может показаться странным, что, несмотря на мою близость с Белл, отец ничего о ней не знал и до вчерашнего дня даже не подозревал о ее существовании. Но меня не вызывали в качестве свидетеля на суде — достаточно было других. Отец не мог не знать о Белл, как и всякий, кто читает газеты или смотрит телевизор, но у него не было оснований связывать мрачную и суровую женщину в траурных одеждах, которую я представила ему просто как Белл, с Кристиной Сэнджер. Я не говорила, что имя Кристабель было одной из ее фантазий, а на самом деле ее звали Кристиной, и что Айвор Ситуэлл случайно угадал, назвав ее этим именем? Теперь говорю.

Отец изменился. Справился с трагедией, которую ему пришлось пережить. Если он и знает, что дочь еще может разделить судьбу жены, то не подает виду. Иногда даже говорит о далеком будущем, моем далеком будущем, и о богатстве, которое меня ждет. У него — уже много лет — есть

подруга, женщина на несколько лет младше его, вдова из того же поселка для пенсионеров, живущая на той же улице в трех домах от него, однако он отказывается жениться во второй раз, чтобы не лишать меня законного наследства. Его домик и несколько тысяч фунтов в доверительном паевом фонде предназначаются мне, и я тщетно убеждаю его, что не нуждаюсь в них, что он может распоряжаться ими по своему усмотрению и, если хочет, оставить жене.

Отец снова свернул на эту тему — что происходит при каждой нашей встрече — во время рекламы по телевизору. Рекламировали коммерческий банк.

— Все есть в моем завещании, все зафиксировано в письменном виде, — сказал он. — Чтобы избавить тебя от хлопот и оформления судебного полномочия на управление наследством.

— До этого еще далеко, — отмахнулась я.

— Тебе легко говорить — в твоем возрасте и с твоим здоровьем. Знаешь, когда я приезжал на обследование, то каждый раз встречал одного парня; по странному совпадению ему назначали на тот же день, но сегодня его не было. Как ты думаешь, почему? Месяц назад упал и умер, когда летел отдыхать на Ибицу, — прямо в магазине беспощинной торговли.

Мы снова обратили свои взоры на экран, причем Белл сделала это гораздо медленнее, чем мы с отцом. Она с удивлением разглядывала его. Я подумала, что ее поразило нежелание отца признавать все еще угрожавшую мне опасность, но возможно, дело совсем в другом — его слова напомнили ей о том вечере, когда она спросила меня о завещании Козетты. Я не стала уточнять. Отец отправился спать, и примерно полчаса мы сидели вдвоем, но я ничего не спрашивала. Была еще не готова вызвать ее на разговор о Козетте и Марке.

Утром я проводила отца до вокзала. Возвращаясь пешком по своей улице, я увидела, что рядом с моим домом останавливается такси и из него выходит какая-то женщина. Смуглая, высокая и плотная, с большим животом, который превратился в такую же выдающуюся часть фигуры, как грудь. Волосы у нее были выкрашены в иссиня-черный цвет, а необыкновенно широкая прическа издали казалась огромной шляпой черного цвета. Она расплатилась с таксистом, повернулась лицом к дому, окинула его внимательным взглядом, от крыши до маленького палисадника — так потенциальный покупатель осматривает выставленный на продажу дом. Потом открыла калитку и пошла по дорожке. Звук моих шагов заставил ее оглянуться. Наверное, я изменилась не меньше, но у нее имелось одно преимущество: она знала, что если я живу в этом доме, то

меня, скорее всего, зовут Элизабет Ветч. Женщина произнесла мое имя, и я сразу узнала голос.

— Фелисити.

Я сидела за пишущей машинкой в своем кабинете в «Доме с лестницей» и прислушивалась к звукам, доносящимся из комнаты Белл наверху; стук закрывающейся двери и скрип 104-й ступеньки причиняли мне боль, поскольку я знала, что произойдет — то же самое, что и всегда. Белл пройдет мимо моей двери, не замедляя шага. Был конец лета, унылое и пыльное время, когда воздух в Лондоне становится спертым и неподвижным. Я подошла к окну — как и теперь — и увидела в сером саду белую хризантему Тетушкиной головы над одним из шезлонгов, а над другим недавно осветленный шиньон Козетты, на который упал серебристый лист эвкалипта, напоминая заколку.

Однако на этот раз, проходя мимо моей двери, Белл замедлила шаг. Потом остановилась. Что она делала, о чем думала? Может, размышляла о чудовищности вопроса, который собиралась задать? Я затаила дыхание. Белл постучала, причинив мне боль, такую сильную, что я не хочу о ней писать. Раньше она никогда не стучала, входя ко мне в комнату. Мой шепот был таким тихим, что пришлось повторить:

— Войдите.

Белл ни капельки не смущалась, если только не считать смущением то, что она остановилась на пороге и закурила. Если она и чувствовала, что нужно как-то объяснить наш разрыв, то никогда этого не показывала. Книжки в мягкой обложке на моем столе были уже не теми, что в прошлый раз. Белл очень давно не заходила в мой кабинет. Она взяла «Что знала Мейзи», ^[57] перевернула и внимательно изучила, словно искала клеймо на серебряной вещи. Потом выглянула из окна — вне всякого сомнения, чтобы убедиться, что Козетта далеко и не может нас услышать.

— Думаю, Козетта оставит все тебе.

— Что?

— Я имею в виду завещание. Ты должна знать, о чем я. Когда она умрет, этот дом и все деньги достанутся тебе.

— Не знаю. Вряд ли у нее есть завещание. Зачем? Она не собирается умирать.

Белл снова подошла к окну. Фрамуга была слегка приоткрыта. Белл закрыла ее и повернулась к окну спиной.

— У нее ведь рак, да?

— С чего ты взяла?

Она не ответила, и ее молчание повергло меня в ужас. Я вскочила:

— Кто тебе сказал? Ты что-то от меня скрываешь?

— Я знаю не больше твоего. Думаю, у нее обнаружили рак, когда делали соскоб или что-то там еще.

— Ничего они не обнаружили — Козетта абсолютно здорова. Потом она проходила осмотр. Все в порядке. Наверное, проживет еще лет тридцать, дольше меня.

— Понятно, — медленно и задумчиво произнесла Белл, словно тщательно что-то взвешивала в уме, перебирая варианты и отбрасывая негодные, а затем повторила: — Понятно.

Именно с этого момента я отсчитываю свою злость на нее, отвращение и ненависть. Эти чувства очень похожи на любовь, правда? Я злилась, потому что ее слова подтвердили давние опасения, что Белл не любит Козетту, и щедрость последней не вызывает у нее благодарности; что, живя за счет Козетты, не платя за квартиру и еду, Белл не испытывает к ней ни любви, ни симпатии.

— Я работала, и мне не хотелось бы прерываться. Уйди, пожалуйста. — Такого тона в отношении Белл я себе еще не позволяла.

Она ушла, но работать я уже не могла. Мысленно повторяла наш разговор, слово в слово, и несмотря на предположение, что Белл действительно думала, что я унаследую состояние Козетты, и хотела этого, ни злость, ни сердечная боль нисколько не ослабли. Я считала, что ее вопрос вызван исключительно заботой о будущем благополучии «подруги», покровительством которой она собирается воспользоваться. Если хозяйкой буду я, то при удачном стечении обстоятельств даже после смерти Козетты ей будет гарантирован здесь кров и стол, причем еще более роскошный. Мне казалось, что меня используют — и с самого начала использовали. Может, Белл подружилась со мной и подстроила нашу длившуюся несколько месяцев связь только потому, что видела во мне приемную дочь и наследницу богатой женщины?

Разумеется, я ошибалась. Льстила себе, преувеличивала свое значение. И даже представить себе не могла, что заставляло Белл задавать эти вопросы. Я слышала ее удаляющиеся шаги на лестнице, потом звук — громче обычного — закрывающейся входной двери. Белл почти хлопнула дверь. Меня всегда разбирало любопытство, куда она ходит — может, просто гуляет или навещает один из уголков Лондона, где выставались красивые вещи, Кенсингтон-Черч-стрит, Кингз-роуд или Камден. Вернулась Белл около шести и уселась перед телевизором вместе с Тетушкой, а этажом выше Козетта слушала Марка в радиосериале, где его герой

женился и только что вернулся из свадебного путешествия.

В тот вечер, час или два спустя, умерла Тетушка.

Я в это время отсутствовала — злость на Белл заставила меня позвонить мужчине, с которым я познакомилась неделю назад на вечеринке и который после этого звонил и оставил для меня сообщение Мервину. Его звали Робин Кэрнс, и через три года я вышла за него замуж, но тогда еще не могла этого предвидеть. Просто использовала его, чтобы не думать о Белл.

Тетушка сидела в кресле рядом с Белл, и они смотрели очередной эпизод сериала о полицейском из Сан-Франциско. В какой-то момент, во время гонки на автомобилях по крутым холмам, с револьверными выстрелами и визгом шин, Тетушка откинулась на спинку кресла и умерла. Ее смерть была похожа на смерть Дугласа. Дай Бог нам всем умереть так тихо и благородно! Белл заметила, что с носа Тетушки свалились очки, но на пол они не упали, потому что были прикреплены к цепочке на шее. Белл практически не обращала внимания на Тетушку и хотя — как мне кажется — отвечала на замечания старушки, сама никогда не выступала инициатором разговора, не заводила речь о программе, не обсуждала актеров.

Марк приехал в девять, но не заглянул в комнату, где сидела Белл, хотя дверь в нее всегда была распахнута. В дом его впустила Мими, и Марк прошел через гостиную прямо в сад, к Козетте. Солнце уже зашло, поскольку в сентябре темнеет рано, но день выдался жарким, как в июле, и воздух еще не остыл от зноя. Вероятно, сад был наполнен терпким ароматом эвкалипта, как всегда бывает в теплые вечера. Я знаю, что светила луна — мы с Робинем наблюдали за ее восходом, — дымчато-красная осенняя луна, большая и яркая, освещавшая нам путь на Кенсингтон-Гор.

О том, что случилось, мне рассказала Мими. Она пошла впереди Марка и вернулась в уголок сада, где они с Мервином расположились на одеяле, расстеленном на брусчатке. Они курили — подумать только! — стручки рожкового дерева. Мервин слышал, что в Филадельфии их используют как галлюциногены, и кто-то привез ему из Америки целую сумку. Подобно Риммону, эти двое курили или жевали все, что, по их мнению, было способно привести к измененному состоянию сознания. Они пробовали даже листья эвкалипта, но безрезультатно. Мими видела, как Марк подошел к Козетте, поцеловал ее в щеку, сел напротив за выкрашенный в белый цвет железный стол, слышала, как он сказал что-то о звездах, которые в тот вечер были особенно хорошо видны — яркие точки на фоне темно-синего неба, которое в Лондоне часто скрывало и прятало

их. Над головами Козетты и Марка ярко сияло какое-то созвездие, и они стали смотреть на него — стулья сдвинуты, плечи соприкасаются, Марк показывает пальцем, вытянув руку — когда в сад вошла в Белл.

Быстрым шагом, хотя и не бегом, она пересекла вымощенную площадку и подошла к Козетте. Я уверена, что в ее действиях не было намеренной жестокости. Белл не испытывала симпатии к Тетушке и, учитывая ее восьмидесятилетний возраст и скромность, почти не считала человеческим существом. А я, наверное, напрасно поделилась с ней своей теорией о том, что Козетта держит Тетушку рядом с собой только для того, чтобы по сравнению с ней выглядеть моложе. Белл подошла к Козетте и сказала:

— Тетушка только что умерла. Она мертва.

Разумеется, для Белл смерть была не в новинку. Она видела и более страшные смерти — например, Сайласа, или еще одну, о которой я еще не рассказывала, но обязательно, обязательно расскажу. По сравнению с ними случай с Тетушкой был совсем скромным, житейское дело, о котором сообщают как о неожиданной телевизионной новости.

Козетта вскрикнула и прикрыла рот ладонью. Марк повернулся к Белл и довольно грубо спросил:

— Что ты имеешь в виду?

— Я же сказала, Тетушка мертва. Откинулась на спинку кресла и умерла, когда мы смотрели телевизор.

— Нужно быть совершенно бесчувственной, чтобы прийти сюда и говорить таким тоном.

По словам Мими, Белл ничего не ответила, просто поморщилась. Потом отступила и, нахмурившись, подняла руки к голове. Я могу представить, как она это делает, ее характерный жест, словно копна ее волос — это шиньон, который она удерживает на сильном ветру. Козетта молча повернулась к Марку. Они оба встали. Его реакция стала для Мими неожиданностью. Она тоже считала Марка и Козетту просто друзьями — названная мать, у которой никогда не было сына, и названный сын, настоящая мать которого оказалась плохой. Марк обнял ее, а Козетта в ответ обвила руками его шею. Они стояли очень близко, ища в объятии утешения и комфорта, а Белл наблюдала за ними.

Когда через два часа я вернулась домой, врач уже ушел, удостоверив смерть Тетушки. Ее убил обширный инсульт. Вместе с Марком они переложили тело Тетушки на диван, на тот случай, если окоченение наступит раньше, чем утром придут из похоронного бюро. Длина дивана не превышала пяти футов, но маленькое, съездившееся тело Тетушки он

вмещал без труда. Козетта выглядела потерянной и печальной, но не плакала, никак не проявляла своего горя, хотя чувство вины, которое вскоре обрушится на нее, уже давало о себе знать. Если последние несколько лет Тетушка заменяла ей мать, то Козетта была хорошей дочерью. Это мы, которые игнорировали Тетушку и относились к ней как к мебели, должны были чувствовать вину, но, разумеется, ничего не чувствовали. И еще Козетта почему-то жалела Белл, что уж было совсем неуместно, и беспокоилась за нее.

— Бедная девочка, — сказала она мне. — Я не должна была этого допустить. Только представь, что она чувствовала, когда обнаружила, что Тетушка умерла. Не следовало оставлять ее одну.

Козетте было бесполезно объяснять, что, во-первых, Тетушка была не одна, а во-вторых, она так обожала телевизор, что смотрела его до полного изнеможения. Я сказала, что последний год, когда у Тетушки был телевизор, вероятно, стал лучшим в ее жизни, но мои слова лишь подлили масла в огонь — Козетта возразила, что нужно было купить телевизор пятью годами раньше.

Потом вошел Марк и стал уговаривать Козетту пойти спать, поскольку до утра больше нет никаких дел. Она должна лечь и попытаться заснуть, а рано утром он вернется. Козетта повернулась к нему и с искренностью невинной маленькой девочки сказала:

— Но ты же не собираешься уходить? Я почему-то надеялась, что ты останешься.

Именно тогда я обратила внимание, как молодо она выглядит, несмотря на потрясение и горе, оставившие на щеках следы слез. То есть гораздо моложе, чем год назад. И вспомнила, что она говорила о любви к Марку, о своем состоянии, о том, что любовь ее убьет, и подумала: может, и убьет, но пока любовь преобразила Козетту, убрав морщинки и тени, заставив сиять глаза и светиться лицо, и — не знаю, как — вернула искорку юности.

— Конечно, останусь, если ты хочешь, — ответил Марк.

Эти слова острой болью отозвались в моей душе. Мне показалось, что он собирается остаться с ней, в ее комнате, в ее постели, и я этого не хотела и боялась. Мне представлялось необходимым подняться вместе с ними по лестнице до двери Козетты, понаблюдать за ними. Кто-то мне сказал — наверное, Мими, — что Белл уже давно ушла в свою комнату. Даже она, как заметил Мервин, не будет смотреть телевизор рядом с мертвым телом Тетушки. Меня задела несправедливость его слов, поскольку его самого никак нельзя было назвать ярким примером альтруизма для обитателей

дома.

Козетта взяла Марка за руку и повела наверх. Но не как пожилая женщина, а скорее, как юная девушка, пережившая сильное потрясение. Меня поразило, что Марк даже не знал, какая из дверей ведет в ее спальню. Козетта открыла дверь, остановилась на пороге и вдруг произнесла:

— Меня не покидает дурацкое чувство, что мы не должны оставлять ее одну — там, внизу.

— Это глупо, — мягко возразил Марк.

— Прости, я такая дура. И не волнуйся за меня — я засну. Мне очень стыдно, но я буду крепко спать.

Она отстранилась и шагнула через порог, все еще не отпуская его руки. На мгновение их пальцы сплелись еще крепче, потом одновременно разжались. Я поняла, что все будет в порядке. Марк повернулся ко мне:

— Наверху есть комната, где можно переночевать, да?

— Рядом с Белл, — кивнула я. — Правая дверь. Комната Белл слева.

Марк не поцеловал Козетту. Они посмотрели друг на друга с какой-то странной торжественностью.

— Доброй ночи, Козетта.

— Доброй ночи, Марк, милый. — Ее голос был едва слышен.

Я испытала огромное облегчение. Марк преодолел еще один лестничный пролет и скрылся из виду. Все в порядке. Козетта спала у себя в комнате, Белл — у себя, а Марк — в соседней спальне, которая когда-то принадлежала Фелисити, — все как полагается. По крайней мере, тогда я так думала.

Лежа в постели, я пыталась представить их будущее, Козетты и Марка. Она всегда будет занимать особое место в его жизни, играть уникальную роль. Разумеется, однажды он женится, и Козетта будет страдать, но привыкнет, приспособится и в конечном счете полюбит и его жену. Я воображала, что она станет крестной матерью его детей, настоящей матроной. Чтобы не выставить себя совсем уж душой, следует признать, что, к чести своей, я также представляла, как поделюсь своими фантазиями с Белл, и как она ответит, что это полная чушь.

На следующее утро пришел гробовщик, потом Перпетуа, разделившая горе Козетты, как никто другой, а потом случилась еще одна неприятность. Марк потерял работу. Если точнее, то персонаж, которого он играл в радиосериале, решили убрать — в конце следующей недели его должны были убить. По словам Белл — Марк никогда сам не вдавался в детали, — игравшая роль его жены актриса подписала контракт в Голливуде, и

продюсер решил, что лучшим выходом из ситуации будет гибель обоих персонажей в авиакатастрофе.

Козетта слушала последнюю серию с его участием. Я слушала вместе с ней. Не особенно заботясь о правдоподобии, сценарист предложил персонажу, которого играл Марк, интересную работу на Дальнем Востоке (слишком заманчивое предложение, чтобы отказаться). В заключительном эпизоде шурин и тесть с тещей провожают его самого и его молодую жену в Хитроу. На следующий день этим родственникам должны сообщить об авиакатастрофе. Мы решили больше не слушать.

— Марк без труда найдет работу, — сказала Козетта, выключив радиоприемник. — Он замечательный актер.

Возможно, но полагаться на ее слова не стоило. Всех своих близких, чем бы они ни зарабатывали на жизнь, Козетта считала первоклассными специалистами. И в каком-то смысле, если речь идет о страстной любви, ближе Марка у нее никого не было. Я не стала спорить, сказала, что надеюсь на это, но особой уверенности не чувствовала.

— Он перейдет на телевидение, — заявила Козетта. — Марк уже готов, и ему нужно сделать следующий шаг. — Она рассуждала так, словно у Марка уже не было неудачного опыта в этой области и словно все зависело только от его решения.

Я предполагала, что Козетта устроит Тетушке необыкновенно пышные похороны — отчасти для того, чтобы заглушить чувство вины. Но у Козетты имелась одна любопытная черта — непредсказуемость. Долгое время она могла выдерживать определенную роль, и создавалось впечатление, что ты знаешь ее как облупленную и можешь предсказать любой ее шаг, а потом она вдруг удивляла всех. На эту особенность Белл обратила мое внимание во время тех долгих бесед, когда мы с ней обсуждали людей и их поведение. Так вот, Козетта не стала объявлять всем домашним о времени и месте заупокойной службы, кремации и поминок, а по секрету сообщила мне и, вне всякого сомнения, Марку. Ни суеты по поводу подходящей одежды, ни обилия цветов. Козетта удивила меня еще больше, попросив:

— Пожалуйста, не говори ничего Белл.

— О том, что похороны сегодня?

— Не думаю, что она захочет прийти, но я... предпочла бы ее там не видеть.

Сказать, что я этого не боялась, значит погрешить против истины. Первый раз Козетта позволила себе намекнуть даже не на то, что она недолгоблывает Белл или считает ее чужой, а скорее на то, что поведение

Белл ее глубоко огорчает. Я пообещала молчать, но думаю, к тому времени Белл — прошло около недели с того вечера, как она обнаружила, что Тетушка мертва, — забыла о старушке. В крематорий я пошла с Козеттой и Марком. Маленький крест из белых хризантем — наверное, их сходство с седыми кудряшками Тетушки было простым совпадением — одиноко лежал на гробе. Больше не было ни цветов, ни людей — да кто мог сюда прийти?

— Весь цирк с Аркэнджел-плейс, — сказал Марк, когда я задала ему этот вопрос. — Козетта поступила очень разумно, что никому ничего не сказала.

Немного нахально с его стороны, подумала я. Кто он такой, чтобы так пренебрежительно отзываться о друзьях Козетты? Всего лишь один из них. Став безработным, Марк несколько упал в моих глазах. Одна из причин, заставлявших меня выделять его из остального «цирка», был тот факт, что он трудился, сам себя обеспечивал. Но прошла неделя, другая, а Марк все не находил работу, отказываясь — по словам Козетты, которая с жаром отвергала предположения, что ему следовало согласиться, — от любых предложений, не связанных с актерской профессией, и я обнаружила, что смотрю на него с подозрением. Я ждала, когда он займет у Козетты денег (хотя вовсе не обязательно мне станет об этом известно), выступит инициатором возрождения вечеринок в ресторане, в которых станет принимать участие и платить за которые, естественно, будет Козетта, и в конечном счете начнет спать с ней.

Той осенью Козетта неожиданно стала еще богаче.

Я подробно не рассказывала о доходах Козетты и ее состоянии, и, наверное, создалось впечатление, что у нее много денег. Но это не совсем так. Дуглас оставил ей разнообразные активы, в том числе уже не существующих компаний, акции которых, как ни странно, еще продавались на бирже, а также какое-то количество никому не нужной недвижимости. Я имею в виду участки земли в дальних пригородах Лондона с заброшенными промышленными зданиями. Одна из компаний уже была выкуплена — покупателю требовалась котировка на бирже, и он заплатил примерно полпенса за акцию. Это случилось незадолго до перехода на десятичную монетную систему в начале 1971 года. Разумеется, продажа компании не принесла Козетте большого дохода — в отличие от участка земли. Она совсем забыла об этих нескольких акрах на южной окраине Лондона. Имуществом Козетты управляла бухгалтерская фирма, которая с радостью сообщила ей о невероятно выгодном предложении от компании, владевшей сетью гаражей и бензоколонок. Рядом с участком земли,

принадлежавшим Козетте, планировали проложить новую дорогу.

Точная цифра мне неизвестна. Возможно, Козетта ее сама не знала. Скрытность была ей не свойственна, и все гости дома узнавали об этом «неожиданном подарке», как она его называла.

— Сотни тысяч фунтов, — говорила она, не вдаваясь в подробности. — Я стала настоящей миллионершей.

Белл присутствовала при этом разговоре, и Марк тоже, естественно. Я посмотрела на Белл, ожидая, что она отведет взгляд, подсчитывая выгоду от дружеских отношений со мной, но она не смотрела в мою сторону. Белл смотрела на Козетту. И до меня вдруг дошло: для человека, гордившегося своей наблюдательностью, Белл совершила странную ошибку, подумав, что человек, который выглядит так, как Козетта, может умирать от рака. Разумеется, Козетта страдала, мучилась чувством вины и действительно скорбела по Тетушке и переживала ее утрату, как переживают смерть матери, но в то же время была безумно счастлива, и счастье сделало ее красивой. Влюбленные люди обычно забывают о еде, и Козетта похудела, не прилагая никаких усилий. Кожа у нее сияла, волосы блестели. Я не предполагала, что счастье способно укрепить лицевые мускулы, но именно такое создавалось впечатление. У меня нет сомнений, что Марк не ходил с ней по магазинам, но после знакомства с ним ее вкус явно улучшился. Я удивилась, какие у нее красивые ноги, впервые увидев ее в очень тонких чулках и строгих туфлях на высоких каблуках. Она купила несколько простых платьев из шелка и тонкой шерсти и надевала с ними драгоценности, когда-то вызывавшие зависть у нас с Эльзой. Она стала элегантной — определение, которое в отношении Козетты раньше никому и в голову бы не пришло. Но из всех обитателей «Дома с лестницей» одна я помнила плотную, коренастую женщину с волосами стального цвета в тон сшитым на заказ костюмам.

Белл, молча смотревшая на Козетту, в то время как Мервин робко заметил, что неплохо бы отпраздновать, вдруг встала, запустила пальцы в свои спутанные, похожие на птичье гнездо волосы и объявила, что праздники проведет у Фелисити. Уезжать она собралась на следующий день. Козетта, словно хотевшая нейтрализовать ее холодный тон теплотой собственного голоса, сказала:

— О, дорогая, мы будем по тебе скучать. Ты уже привыкла ездить туда на Рождество, правда?

Белл молча посмотрела на Козетту, вскинув сначала брови, потом плечи; лицо у нее осталось отчужденным. Как будто ее посетил призрак из прошлого. Или она почувствовала, что едет туда в последний раз?

Как бы то ни было, в это утро Фелисити приехала вовсе не затем, чтобы пригласить кого-то или нас обеих на Рождество. Даже для нее июль — это слишком рано. И Белл она больше не захочет у себя видеть, как бы к ней ни относилась. Фелисити была поражена, увидев Белл, буквально подпрыгнула от удивления, хотя узнала ее сразу же, без труда. Прежде чем войти в гостиную, где, как я справедливо полагала, должна сидеть Белл, я попыталась прошептать предостережение, два слова, которых было бы достаточно: «Здесь Белл!» — но Фелисити, ставшая еще более повелительной и властной, не дала мне шанса, быстро шагая впереди меня и громко рассуждая, какими милыми бывают эти маленькие дома, какой у меня восхитительный дом, и какие чудеса можно сотворить со старыми коттеджами ремесленников. Пути к отступлению у Белл не осталось — образ жизни ремесленника не предполагал два выхода из гостиной.

Будучи практически несовместимой, как выражался Генри Джеймс, с печатным словом, Белл смотрела телевизор, какую-то отвратительную дневную передачу. Маленький кот лежал у нее на коленях, наблюдая за большим, который развалился на телевизоре, или за львом на экране, медленно подкрадывавшемся к антилопе гну. Белл сохранила свое завидное самообладание. Не вскочила, даже не сделала попытки встать. Ее взгляд не оставлял сомнений, что она узнала гостью.

— Бог мой, — пробормотала Фелисити. — Вот это сюрприз. — Уже тогда я почему-то не сомневалась, что она не произнесет имя Белл, чего бы ей это не стоило.

— Почему? — возразила Белл. — Я говорила с тобой по телефону. И ты знаешь, что я хотела найти Элизабет.

— Да, да, конечно. — У Фелисити вырвался неприятный смешок, которого я не помню по прошлым временам. — Когда я сказала «сюрприз», то имела в виду Элизабет, а не тебя. — Именно эту вкрадчивую язвительность так ненавидела Козетта, заразив меня своей ненавистью. Фелисити села; юбка у нее задралась, открыв толстое бедро и верх черного чулка. Это ужасно. Она совсем не похожа на Козетту, никогда и не была похожа, но манера одеваться, ярко, нелепо и жеманно, напоминает мне усилия Козетты в период после переселения с Велграг-авеню и до появления Марка. — Я обедаю с подругой в Барнсе. — Фелисити обращалась ко мне: — Такси проезжало практически мимо твоей двери, и я подумала: почему бы и нет? Мы так и не увидимся, если я буду ждать твоего звонка.

Странный маршрут выбрал таксист, чтобы доехать от Глиб-плейс до

Барнса. Но я промолчала. Хорошо еще она не собирается обедать у нас.

— Я знала, что застаю тебя, потому что в этот час ты работаешь. — В ее голосе проступало простодушное восхищение самодисциплиной писателя.

— Но ты ошиблась, правда? — впервые подала голос Белл, звучащий холодно и презрительно. — В смысле работы.

Я объяснила насчет отца. Надо же было что-то сказать. Я не знала, о чем говорить в их присутствии: Белл, похоже, уже махнула на себя рукой и не следила за своими словами, безразличная к последствиям, а Фелисити жаждала мщенья, и ее приводило в ярость само существование Белл. Я боялась, что Фелисити заговорит о Козетте — совершенно очевидно, она должна была это сделать, — но сомневалась, что она пойдет слишком далеко и упомянет Марка. И тут я впервые заметила, что вместе с черной лакированной сумочкой и парой нелепых белых перчаток Фелисити держит в руках утренний выпуск ежедневной газеты «Стандард», появившийся на улицах пару часов назад. Я уже видела газету на вокзале — передовая статья в ней была посвящена убийству ребенка, совершенному ребенком. С замиранием сердца я смотрела, как она кладет сумочку на стол, рядом с ней перчатки, и газета, по-прежнему сложенная, остается одна на некрасивых толстых коленях; видны только два слова жирного шрифта заголовка, но два самых важных слова: «ребенок» и «убит».

Наверное, Белл тоже их видела. Не знаю.

— А нельзя ли выключить телевизор? — попросила Фелисити.

Захватив маленького кота, висевшего у нее на сгибе локтя, словно меховая муфта, Белл встала и отреагировала на просьбу самым оскорбительным образом, оскорбительнее отказа. Приглушила звук до едва слышного бормотания. Фелисити разворачивала газету — я не знала, зачем, не могла представить, что она собирается сказать или сделать. Прочсть статью? Своим, не терпящим возражений тоном (она всегда поучала, словно вспоминая о профессии, от которой отказалась) спросить, что об этом думает Белл? Привести список — я уверена, что Фелисити по-прежнему живет в мире викторин — маленьких монстров, убийц из числа детей и подростков?

Но Белл ее опередила. Она по-прежнему стояла, и кот свисал у нее с руки, словно был без костей, эластичная резиновая петля, обтянутая собольим мехом.

— Сдается мне, ты проделала длинный путь после того, как паразитировала на Козетте, а тот бородатый альфонс пудрил тебе мозги.

Я была потрясена — не самими словами, а скорее тем, что Белл

произнесла имя Козетты. Белл вступила на опасную территорию, отчаянно прыгнула в бурную реку. Это было видно по ее лицу, по широко раскрытым глазам и по тому, как она в страхе отпрянула, словно эти слова произнес кто-то другой, а не она сама. Естественно, Фелисити жутко обиделась. Но не встала и не ушла, кипя от возмущения. Думаю, люди редко ведут себя подобным образом. Предпочитают, чтобы последнее слово оставалось за ними. Фелисити даже сумела выдавить из себя придушенный, протестующий смех.

— Паразитировала! — воскликнула она. — Боже, что за выражение! Как будто некоторые, не будем указывать пальцем, не паразитировали на мне столько лет. Ничего не поделаешь, это удел всех, кто возвышается над толпой.

Потом Фелисити встала, стараясь продемонстрировать нам первую страницу газеты с заголовком: «Жертва из Тинсайда убита 10-летним ребенком».

— Нет, нет, оставьте себе, — любезно ответила она, когда я напомнила о газете.

Вообще-то мне нравилась Фелисити, ее энтузиазм, бунтарство, эффектность, страсть. Но теперь, похоже, от всего этого не осталось и следа. Вне всякого сомнения, если она собиралась оставаться в Торнхеме с Эсмондом и получать хоть какое-то удовлетворение от жизни, обо всем следовало забыть. Возможно, выбор у нее был невелик: забыть или свихнуться. Кто знает? Я проводила ее, и она сдержанно и старательно попрощалась, естественно, не выразив надежды на дальнейшие встречи.

Я боялась возвращаться — на самом деле боялась. Но нельзя же всю оставшуюся жизнь не входить в собственную гостиную. Собравшись с духом, я открыла дверь. Газета лежала на полу рядом с креслом Белл. Маленький кот сидел на ее краю и мыл мордочку. Белл уронила голову на руки, запустив пальцы в серые, жесткие, похожие на проволоку волосы. Я не знала, что делать. Поэтому просто села и молча ждала, вспоминая тихую, мирную, размеренную жизнь, которую вела до того, как Белл вышла из тюрьмы и я ее разыскала. Наконец, она опустила руки, посмотрела на меня и вполне обычным голосом произнесла:

— Думаешь, я психопатка? Наверное. Все так говорили. Но я этого не замечаю, просто как будто становлюсь кем-то другим. — Вероятно, собственные слова показались ей нелепыми или пустыми, и она поправила себя: — Во всяком случае, мне так кажется.

С тех пор как Белл живет в моем доме, у меня появилась привычка смотреть на людей и гадать, есть ли среди них такие же, как она. Я имею в виду, что они тоже кого-то убили, попали в тюрьму, отсидели срок и вышли на волю. Это новое явление, раньше убийц вешали.

Теперь их освобождают, и они снова живут среди нас. Или существуют. Я смотрю на людей и задаю себе этот вопрос. Через десять лет — Белл получила гораздо больший срок, и на то имелась особая причина — преступников (так утверждает полиция) выпускают, и они становятся обычными людьми, похожими на всех остальных, работают и, возможно, даже живут по соседству. Женщина, сидящая напротив меня в вагоне метро, могла застрелить любовника. А тот мужчина с мрачным лицом и скрещенными на мускулистой груди руками, прислонившийся к стене дома на углу, мог кого-то зарезать в уличной драке. Сколько людей задушили младенца в колыбельке или помогли находившемуся на их попечении старику отправиться в мир иной? Такие, как я, Фелисити или Эльза, знакомы с ними, нам приходится жить рядом и как-то приспособливаться. Тем не менее убийство — это такой поступок, к которому невозможно привыкнуть, который невозможно оправдать.

Белл спросила меня, считаю ли я ее психопаткой? Она задала этот вопрос, наверное, даже сама того не ожидая. В ответ я лишь покачала головой и сказала, что не знаю. Мне всегда казалось, что психопаты любят мучить животных. Белл отвернулась и позвала кота. Тот прыгнул ей на колени, и Белл принялась гладить его так, как он любит, длинными, сильными движениями ладоней, заставляя его приседать. Затем, когда животное свернулось клубком в черных складках юбки у нее на коленях, она стала гладить его нежнее, слегка касаясь лоснящейся кошачьей спины. Я никогда не ассоциировала Белл с нежностью. Чувственность, страсть, некое трагическое благородство — что угодно, но только не нежность. Однако Белл была нежна с моими котами, как некоторые женщины с детьми, и как будто понимала их.

— У меня никогда не было животных, — сказала она, словно читая мои мысли. — Я даже не знала, что люблю их.

— У Адмета жил кот, — возразила я. — Блохастый. — Мне вспомнилась язвительная шутка Марка и Козетты насчет «антраша». — А в Торнхеме — собаки.

— Большие, громкие и назойливые, как их сука-хозяйка. Не будь меня тут, она пригласила бы тебя в гости.

— Я бы не поехала. Расскажи, как все было — в то последнее Рождество?

— Точно так же, только без викторины. Как и в предыдущем году. Ничего никогда не менялось. Я не знаю, зачем поехала.

— Неужели?

В ее взгляде сквозило бесстрастное упрямство. Зачем говорить, если я не хочу, вероятно, думала она, зачем объяснять?

— Ты поехала, чтобы не видеть их вдвоем, — сказала я. — Чтобы *это* произошло не при тебе.

— Ты ничуть не лучше меня. — Белл ухмылялась. — Тоже не можешь произнести их имена. Только я могу, могу. Марк и Козетта — вот!

— Отлично, — сказала я. — Но кричать не обязательно.

— Когда *это* произошло... Ты выражаешься как старая ханжа, вроде ее Тетушки. Почему бы тебе прямо не сказать, что я не хотела присутствовать в доме, когда он будет первый раз трахать ее? Как будто мне было не все равно. Я хотела одного — чтобы он скорее принимался за дело. Господи, он так медлил, словно парень из тех старинных книг, что ты читаешь. Я думала, без меня дело пойдет быстрее.

— Ты же знаешь, что твое присутствие или отсутствие ничего не меняло.

Белл пожала плечами:

— Теперь мне уже все равно. Абсолютно.

— Я хочу кое-что знать. Если тебе все равно, то можно спросить.

— Спрашивай. — Она с улыбкой посмотрела на меня. — Отвечать-то я не обязана.

— Ты, — я тщательно подбирала слова, — хотела убить Козетту? То есть планировала с самого начала?

— Я вбила себе в голову, что она умрет естественной смертью.

— А после того, как узнала, что не умрет?

Белл не скрывала презрительной усмешки:

— Планировала? То есть составляла план? Ты прекрасно знаешь, что нет.

— Но Белл, — возразила я, — разве все твое пребывание в «Доме с лестницей» не было планом?

— Я имею в виду убийство. Я это делаю, — в ее словах звучала гордость, словно речь шла о добытом тяжелым трудом навыке, — под влиянием минуты. Даже Сайласа... Я часто думала об этом, но

планировала не больше пяти минут. Только когда становится совсем уж невыносимо, или я... чего-то очень, очень хочу.

Она встала, подхватив маленького кота. Большого, который по-прежнему лежал на телевизоре, Белл взяла по дороге, перекинув через вторую руку. Это уже вошло у нее в привычку, когда она удалялась к себе в комнату — на ночь или отдохнуть.

— Обедать не хочу. Пойду, прилягу.

В черной одежде, с пучком пепельных волос, с двумя котами в руках, похожими на живые боа, она выглядела очень странно, и если бы не трагическая худоба, то можно было бы сказать, даже комично.

Здесь, в доме на Макдуф-стрит, ее комната тоже находится над моим кабинетом. Так уж вышло, что именно там осталась свободная комната. Разница — не единственная — состоит в том, что к ней ведут шестнадцать ступенек, а не сто шесть. Сидя за письменным столом, я слышу лишь негромкий скрип пружин под тяжестью Белл, звук, похожий на тяжелый вздох. Коты некоторое время побудут с ней, а после того, как она заснет, вылезут в окно, спрыгнут на шиферную крышу кухни и начнут охотиться на скворцов. Просыпаясь, она никогда не находит их в комнате.

В то последнее Рождество я скучала без звуков над головой, без скрипа 104-й ступеньки под ногами Белл, спускавшейся по лестнице, даже без бормотания телевизора, который теперь, после смерти Тетушки, Белл смотрела одна. Дом был полон народа. Появилась Диана Касл с новым бойфрендом; Бригитта, которая хотя и попала в неприятную историю, вернулась не одна, а с парнем, представив его своим двоюродным братом. Танцоры и Уолтер Адмет уходили домой только на ночь. Гэри, Фей, Мервин, Мими и Риммон по-прежнему жили в доме. Козетта не позволила гостям занять спальню Белл, считая, что так поступать не подобает, и поэтому ее племяннице, дочери Леонардо, пришлось спать на диване в телевизионной комнате. Пытавшийся соблазнить племянницу Риммон рассказал ей, что на диван положили мертвую Тетушку, но добился лишь того, что девушка сбежала из дома.

Однако времена грандиозных вечеринок и многолюдных пирушек в ресторане миновали. Если Козетта и Марк шли куда-нибудь ужинать, то исключительно одни. Без каких-либо признаков сатурналий, без вечеринок, больше похожих на оргии, в доме воцарилась атмосфера возвышенной любви. Вопреки распространенному мнению, зима более сексуальный сезон, чем лето, время спален с зашторенными окнами, мягких диванов и искусственного тепла, когда холод остается снаружи, а тепло удерживается внутри; время увядающих, укорачивающихся дней и долгих, долгих ночей.

Все это чувствуется острее, если у тебя никого нет, а тогда Робин еще не принадлежал мне — по крайней мере только мне. Наверное, в «Доме с лестницей» еще никогда не было столько любовников одновременно.

Представьте, как это выглядело. Во-первых, между Гэри и Фей, которые долгое время были просто соседями по дому, вспыхнул бурный роман. Они каждый раз расставались навсегда, а потом чудесным образом воссоединялись. Диана и Патрик, чья любовь только расцвела, проходили стадию прикосновений и страстных взглядов и, похоже, были не в силах выносить расставание, случавшееся каждый раз, когда плоть разъединялась с плотью. Бригитта и ее «кузен», смешливая парочка, выглядели сущими младенцами, которым объятия были нужны не меньше секса. Мервин и Мими обладали редким для пар качеством — для них все остальные люди значили вполтину меньше, чем партнер. Из всех любовников, которых я тогда знала, только они до сих пор вместе. Я видела их пару месяцев назад: они шли по Норт-Энд-роуд, держась за руки; другой рукой Мими держала мальчика лет восьми, а Мервин — девочку лет шести. Я помахала им, но они меня не видели.

И разумеется, Марк и Козетта. Увидев их вместе, вы бы ни на секунду не усомнились, что они влюблены, причем он не меньше, чем она. Марк и Козетта вели себя гораздо пристойнее остальных пар. Не прятались по углам, почти до боли прижимаясь друг к другу, когда кости вонзаются в плоть, губы жадно впиваются в такие же страждущие губы и язык, пальцы вгрызаются, словно пытаясь найти и понять сущность, вызывающую желания и рождающую любовь. Я замечала лишь прикосновения рук или пальца к щеке. В их возрасте труднее сохранять достоинство, к чему они, казалось, стремились изо всех сил. В их возрасте? Марк был всего на год старше Патрика, возлюбленного Дианы. Но если Козетта словно молодела, чтобы приблизиться к нему, он становился старше, догоняя ее. И дело не во внешности — Марк сохранил свою славянскую красоту, стройную и прямую фигуру, — а в манере держать себя, не утратив грации. Теперь он казался более степенным и рассудительным.

Они не были любовниками в том смысле, в котором мы употребляем этот термин. По крайней мере, я так думаю. Конечно, Козетта куда-то ходила с ним; они отсутствовали по несколько часов и, вполне возможно, бывали совсем не в кино, театрах или ресторанах. Например, в квартире Марка в Брук-Грин. Но я убеждена — и тогда тоже не сомневалась, — что ничего подобного не происходило. У себя, в «Доме с лестницей», Козетта до известной степени находилась под присмотром. Естественно, я не говорю, что кто-то вмешивался в ее жизнь, например, пытался остановить

ее, но скрыть что-либо было невозможно, все бы сразу узнали. Странная ситуация. Дом был полон влюбленных, и по ночам в одиночестве оставалась только я, любовь пропитывала атмосферу, словно всепроникающий аромат духов, томный, нежный и почему-то лишающий сил, но Козетта, влюбленная сильнее, чем все остальные, буквально умиравшая от любви, оставалась неудовлетворенной, будто вернув себе девственность.

Я размышляла об этом — и не могла понять, почему. Она с готовностью ложилась в постель с Айвором и, если уж на то пошло, с Риммоном, с мужчинами, которые ей были почти безразличны, которых она воспринимала как временных. Но каждый жест, каждое слово, произнесенное в присутствии Марка или в его отсутствие, свидетельствовали о ее любви к нему. Ее нельзя было назвать ни холодной женщиной, ни моралисткой, строго следующей предрассудкам своей юности; довольно часто она повторяла, что любовь для нее — нечто такое, что нужно употреблять как можно быстрее. Или это Марк медлил? Но если ему нужна была не она, то что? Я осталась в одиночестве, ни для кого не была главным человеком на свете и утешала себя тем, что наблюдала за ними, за их отношением друг к другу — надеюсь, скрытно. Естественно, я ревновала к Марку. В сердце Козетты он занял мое место, что не удавалось ни одному из его предшественников. Вот ответ тем, кто убежден, что я сама была в него влюблена...

Долгое время я убеждала себя, что Марк ухаживает за Козеттой не из-за денег. Просто так получилось, что у нее есть деньги, много денег, однако Марк любит ее и хочет быть с ней независимо от того, богата она или бедна. Так я думала. Но кто платил за все съеденные ими ужины, за все спектакли, которые они посмотрели? У него по-прежнему не было работы и перспектив ее найти. Я помню, как Айвор просил денег в ресторане и однажды передал чек Риммону — на наркотики. Казалось, Марк был выше всего этого; он отличался непривычной щепетильностью, держался независимо, избегал щекотливых ситуаций.

Затем все изменилось, причем откровенно и публично, как в старину, когда во время первой брачной ночи жених, подчиняясь освященным веками правилам, на глазах гостей вел невесту в спальню. Это случилось через несколько дней после Рождества. Воздух был холодным и влажным, и в четвертом часу уже начинало темнеть. После роскошного пира, устроенного несколько дней назад, мы вели праздную жизнь, ленились и поздно вставали. Меня разбудил Уолтер Адмет, позвонив в дверь в двенадцать дня. Он приглашал нас к себе на импровизированную

вечеринку, где всех ждал ящик шампанского из Испании, доставшийся ему по случаю. Адмет жил где-то в Фулеме, в переделанном каретном сарае, и снова сошелся с Эвой Фолкнер. Я не захотела идти, представляла, какая это будет вечеринка, и знала, что одной там делать нечего; до позднего вечера я работала над книгой, Гэри и Фей отправились веселиться, но Козетта и Марк, которые должны были стать главным «угощением» Адмета, отказались, заявив, что идут ужинать вдвоем.

Вернулись они очень поздно. Мы все сидели в гостиной. Те из нас, кто не забылся в объятиях возлюбленного — я сама, Мервин, Мими и Риммон, — сидели за столом Козетты и пили вино. Вероятно, в те дни воздух был густым от сигаретного дыма, только никто этого не замечал — или не обращал внимания. Диана и Патрик, чьи переплетенные тела напоминали фрагменты пазла, занимали диван; их объятие было серьезным, беззвучным и почти неподвижным. Бригитта и Могенс лежали рядом, обняв друг друга за шею, время от времени соприкасаясь губами и перешептываясь. Иногда Мервин брал в руки принадлежавшую Гэри окарину, аккомпанируя проигрывателю. Я никогда не слышала, как он играет, и очень удивилась. Мервин оказался настоящим мастером. Немного погодя он поставил пластинку с «Кармен», и когда зазвучала подходящая музыка, Пердита — она в тот вечер была без мужа и молча сидела в бархатном кресле Тетушки — вдруг встала и, ни слова не говоря, начала танцевать сегидилью.

Она редко танцевала для нас, и, думаю, в такие моменты мы чувствовали себя избранными, потому что нам выпадал шанс видеть эту некогда великую танцовщицу, которая ради любви — или, если хотите, из-за безумия любви — загубила свою карьеру, спустилась с сияющих вершин успеха. Думаю, она танцевала фламенко. Точно не знаю, но все это — музыка, танец, одинокая лампа и мерцание свечей, вино, теплый воздух, влюбленные пары — было необыкновенно романтичным.

Крошечная женщина, яркая, словно пламя, и черноволосая, какой должна быть Кармен, в платье с юбкой, украшенной пышными красными оборками. Она хотела, чтобы мы хлопали в такт музыке, но мы не решались, словно боялись разрушить особую атмосферу, отстраненность, непохожесть на нас. Старинные формализованные па, стилизованные движения, медленные повороты следовали друг за другом в неизменном порядке, подчиняясь музыке; инструмент Мервина издавал странный, будоражащий звук; пламя свечей мерцало. В эту атмосферу, неслышно открыв дверь, попали Марк и Козетта; они замерли на пороге, боясь помешать. Хотя на самом деле не помешали, потому что танец

продолжался. Они стояли рядом, смотрели и почти незаметно придвигались друг к другу, пока их тела не соприкоснулись, и Марк не обнял Козетту за талию.

Когда музыка смолкла, мы все стали аплодировать. Я налила вино Марку и Козетте, и она — редкий случай — не стала отказываться. Все молчали. Для «Дома с лестницей» это было не таким уж странным, потому что тут все знали друг друга, и в светских разговорах не было нужды. Но в тот вечер молчание казалось необычным, словно общение осуществлялось иными способами, прикосновениями, взглядами и музыкой. Влюбленные были поглощены друг другом, каждый из нас троих, одиноких, погрузился в свой внутренний мир. Риммон уже начинал соскальзывать в жуткие наркотические фантазии, из которых он так до конца и не сможет выбраться, танцовщица, наверное, погрузилась в воспоминания и размышления о своей жертве, а я думала о Белл, вспоминая слова Фелисити о том, что Сайласу, подобно Кармен, было некуда идти и нечем заняться, и оставалось только умереть.

Музыка сменилась — теперь зазвучало что-то из Массне. В дверь позвонил таксист, приехавший за Пердитой. Я подумала, что Марк уйдет одновременно с ней, однако он лишь спустился, чтобы посадить ее в машину; в его манерах не было ничего собственнического, однако он впервые — я в этом уверена — повел себя как хозяин. Потом Марк вернулся в гостиную, но не на свое место. Присел на подлокотник кресла Козетты, ласково погладил ее золотистые волосы и обнял за плечи. Она посмотрела на него, но без улыбки; то, к чему они приближались, было слишком серьезным. Музыка стала нежной, обольстительной и чарующей. Марк не ответил на долгий, восхищенный взгляд, а обвел глазами просторную, теплую, освещенную пламенем свечей комнату, переплетенные, словно пазл, тела влюбленной пары на диване, целующуюся парочку на ковре и сидящих за столом Мервина и Мими — она склонила ему голову на плечо, он обнимает ее за плечи. Свет отражался от серебристой пряди в волосах Марка. Он повернул голову и посмотрел в глаза Козетте. Я готова поклясться, что в это мгновение разница в возрасте между ними исчезла. Готова поклясться, что это была любовь, причем взаимная.

Марк наклонился и поцеловал Козетту в губы, но не отстранился сразу, а продлил поцелуй. Я была потрясена; наверное, вы не поверите, но следует помнить, что они в первый целовались у меня на глазах. Сначала я смотрела во все глаза, потом отвела взгляд, радуясь легкому опьянению от выпитого вина, притупившему остроту восприятия. Когда поцелуй

прервался, Козетта густо покраснела. Потом, улыбнувшись, произнесла лишь его имя:

— Марк...

— Пора. — Он протянул ей руку и легко поднял с кресла.

Я думала, что Марк собрался домой. Козетта проводит его до входной двери, если он позволит, что бывало не каждый раз. Иногда Марк качал головой и движением руки приказывал не вставать с кресла. Она всегда его слушалась. Но в тот вечер Козетта взяла его за руку, словно они собрались на неспешную прогулку. Мне показалось — а может, я теперь так думаю, оглядываясь назад, — что на ее лице промелькнула тень смущения и неуверенности.

Но когда Козетта обратилась ко мне, ее голос звучал ровно.

— Проследи, чтобы потушили весь свет, дорогая, — сказала она в своей рассеянной манере и прибавила: — Я имею в виду свечи. Ты же знаешь, как я волнуюсь из-за свечей.

Такое впечатление, что ее больше ничего на свете не волнует. Она уткнулась лицом Марку в шею, и он поцеловал ее — совсем как Паола и Франческа на картине.

— Спокойной ночи, — сказала Козетта.

— Спокойной ночи, — повторил Марк.

Они не закрыли за собой дверь. В «Доме с лестницей» закрывали только двери в спальни. Я предполагала — совершенно искренне, — что услышу, как они вдвоем спускаются по лестнице, а поднимается только один из них. Козетта с Марком пошли наверх. Мы все молчали, забыв даже о любви и желании, прислушивались, снедаемые жаждой *знать*. Дверь в комнату Козетты закрылась, но никто не спустился. Затаившая дыхание, Мими судорожно выдохнула.

Наверное, мы сошли с ума? Это была всего лишь влюбленная пара, сделавшая первый шаг, преодолевшая неловкость и восторг первой ночи, еще больше преисполненной благоговением от того, что так долго откладывалась. Безумием было придавать этому такое значение. Но я рассказываю, как все выглядело — словно первая брачная ночь монарха. Мысль о Белл вызвала у меня дрожь; я стала бояться за Козетту.

Страх, трепет, неловкость — все это развеялось появлением Гэри и Фей, которые постучали в дверь минут через пять после ухода Козетты и Марка. Они преодолели первый лестничный пролет, отчаянно ругаясь, выкрикивая оскорбления и проклятия, но когда ввалились в гостиную, мы шикнули на них, прижав пальцы к губам, как будто наверху были дети, которых, наконец, удалось усыпить с помощью колыбельной.

Мне казалось, что необходимо перехватить Белл и предупредить до того, как она все увидит сама. Я точно не знала, когда приезжает Белл, но понимала, что не стоит надеяться, что она нам сообщит. Когда посчитает нужным, просто войдет в дом, поднимется по лестнице, преодолев все 106 ступенек — устало, а возможно, бодро, не останавливаясь на площадках, — и закроется в своей комнате. О ее возвращении я узнаю только по звукам над головой.

Я перехватила ее совершенно случайно. Утром, когда все еще спали. Я спустилась за почтой, ожидая письмо от издателя. Белл была не в ладах со временем и вела беспорядочную жизнь — возможно, потому, что никогда не работала, а возможно, по другим причинам. В то утро ей, чтобы попасть сюда к девяти, пришлось уехать из Торнхема часов в семь. Было холодно — все-таки начало января, — и Белл принесла с собой в дом вихрь студеного воздуха. Ее портплед — такие тогда ввели в моду хиппи — был потрепанным и выцветшим, а поверх своей многослойной черно-коричневой одежды она надела шубу из искусственного лисьего меха, когда-то принадлежавшую Фелисити. Я догадалась, что произошло. Белл объявилась в Торнхеме с обычным гардеробом из хлопковых юбок и купленных на распродаже джемперов, но теплых вещей у нее с собой не было, если не считать шали, которая послужила саваном Сайласу.

Я читала письмо у стола в холле. Мы посмотрели друг на друга, и Белл, вероятно, хватаясь за вечную соломинку, помогающую преодолеть неловкость, сказала:

— Господи, какой холод.

Теперь, когда время пришло, я оказалась не готова. Судорожно искала подходящие слова. Белл опустила на пол портплед, размотала длинный серый шарф, обернутый вокруг головы, и запустила пальцы в свои светлые, спутанные, вьющиеся волосы. У Белл было благородное лицо, как у Лукреции Панчатики, аристократичное, безмятежное, с маленьким прямым носом и полными губами, большими глазами и высоким лбом — почти идеальное. Неужели у таких людей может быть благородное лицо?

Она подняла руки:

— Ну, как?

— Шуба? Тебе ее дала Фелисити?

— Мне же нужно было что-то надеть. У нее так много вещей, что она

даже не заметит. Фелисити сама сказала, этими же словами. Ужасно, правда? Но нищим не приходится выбирать. Меха и вполнину не такой теплый, как настоящий.

— Думаю, Фелисити никогда бы не надела настоящий, — сказала я и прибавила, видимо, все еще на что-то надеясь, на любовь или дружбу: — Хочешь, я куплю тебе шубу, Белл.

— Нет, — отказалась она. — Нет, спасибо. — А потом пояснила: — Если я не могу иметь красивые и шикарные вещи, например снежного барса, который тебе не по карману, уж лучше обноски миссис Тиннесе.

— Откровенно.

— Да. А какой смысл притворяться? Я очень бедна — разве ты не знаешь? Сомневаюсь, что ты об этом не думала. Деньги, которые я выручила за дом отца Сайласа, уже не те, что пять лет назад. Не приносят прежнего дохода. Я говорила об этом с Эсмондом. Он считает, что все дело в переходе на десятичную монетную систему, что это только начало, и через несколько лет станет еще хуже.

Белл излагала немного путанно, но я начинала догадываться, куда она клонит.

— Разговоры бесполезны. Я часто думаю, что говорить о чем-то вообще не имеет смысла. — Она подхватила сумку, прошла мимо меня к лестнице и начала подниматься; в пальто, с сумкой в руках подъем предстоял медленный и нелегкий. Я последовала за ней:

— Белл...

— Что?

— Мне кажется, тебе нужно знать, то есть я не хочу, чтобы это стало для тебя большим... сюрпризом. — Я едва не сказала, потрясением. — Марк там, наверху. В комнате Козетты.

Не знаю, чего я ждала, но только не этого: довольной улыбки, первой за все время после ее прихода, выражения искренней радости, словно она узнала об удаче или скором замужестве близкой подруги.

— С каких пор?

— Около недели.

— Давно пора.

Мы стали вместе подниматься по лестнице. Белл сняла искусственную шубу и отдала мне.

— Расскажи мне.

— Что рассказать?

— Как это случилось, что они делали, как ты узнала — все. Ну, ты понимаешь.

Словно вернулись былые времена, когда мы разговаривали и делились друг с другом мыслями и суждениями, о которых не знали другие. Но мы проходили мимо двери Козетты, и я прижала палец к губам, точно так же, как в ту первую ночь мы призывали не шуметь Гэри и Фей. Белл позвала меня к себе. В доме было тихо и спокойно, как в других домах по ночам. Спал даже Гэри, всегда встававший ни свет ни заря. Мы поднялись на самый верх. У двери в комнату Белл я рассказала, что Козетта никому не позволила спать тут в ее отсутствие, хотя дом был переполнен гостями, но Белл ответила, что это очень мило, но она сама не возражала бы. С чего бы? А потом мы вошли, и я подумала: действительно, с чего бы ей возражать? Пустая комната никак не отражала личности хозяйки, если не считать таким отражением повернутые к стене картины Сайласа. Ни фотографий, ни книг, ни журналов, ни безделушек, ни разбросанной одежды, только кровать, стул и прикроватная тумбочка с огромной, как супница — в прошлом это действительно была супница, — пепельницей, пустой, но по-прежнему пахнувшей пеплом. Воздух спертый и затхлый, но на улице было слишком холодно, чтобы открывать окно. С моего места из окна виднелось только небо, белое с серыми прожилками, с которого сыпалась мелкая морось, то ли дождь, то ли снег.

Я рассказала Белл о вечере с сегидильей, и она слушала меня с довольным видом и иногда смеялась, причем в тех местах, где, на мой взгляд, не было ничего смешного. Она распаковывала портплед, разбрасывая свою темную одежду неопределенного фасона, мятую и выцветшую. Потом заперла дверь. Села на кровать рядом со мной. Легла.

— Все это очень хорошо, правда?

— Для них?

— Для всех!

Она обняла меня. В первый раз за несколько месяцев — и в последний.

Марк жил в «Доме с лестницей», хотя я не сомневалась, что он сохранил за собой квартиру. В феврале, худшем времени для подобного рода путешествий — хотя, наверное, в медовый месяц на такие мелочи не обращаешь внимания, — они с Козеттой уехали на пару недель в Париж. Разумеется, платила за все Козетта, а останавливались они в отеле «Георг V». Я не переставала размышлять о материальной стороне дела, всегда помнила о ней: Марк, подобно остальным, перешел на ее содержание, хотя всегда намекал, правда, не говорил прямо, что не собирается этого делать.

Кстати, об «остальных». Вскоре после их возвращения объявился Айвор Ситуэлл. Просто однажды вечером пришел без предупреждения.

Козетта была слишком счастлива, чтобы предъявлять обвинения. Он унижал ее, а потом предал, но какая теперь разница, когда у нее есть Марк? Айвор изменил ей с Фей, но с ней Козетта уже давно помирилась. Она даже как будто обрадовалась Айвору и вскоре пригласила всех на ужин в ресторане. Проведя пять минут в их обществе, любой, даже такой бесчувственный человек, как Айвор, должен был понять, что Марк любовник Козетты. Посторонний мог часами наблюдать за ней с Айвором и ни о чем не догадаться, но теперь все изменилось. Причина не в том, как она смотрела на Марка, а в том, как Марк смотрел на нее. Даже я, подозревая его в продажности, алчности и беспринципности, была вынуждена признать, что он смотрел на нее так, словно деньги тут ни при чем, словно он на самом деле страстно влюблен.

Пришли сигнальные экземпляры моей книги, и Козетта как раз читала ее, когда пришел Айвор. В ответ на ее неумеренные похвалы Айвор взял книгу, заметив, что я «по-прежнему штамую их». Он не утратил своего высокомерия, хотя в этот раз не упоминал о Ситуэллах. Вне всякого сомнения, его быстро раскусили, и не только Белл. В ресторане он пытался флиртовать с ней, но нетрудно представить, как далеко ему удалось продвинуться. За все время, пока Айвор жил с Козеттой, он никогда не был так любезен с ней, как после того, когда увидел ее с другим любовником.

Компания собралась довольно большая, одиннадцать человек, и мне не повезло — за столом я оказалась рядом с Айвором. По другую сторону от него сидела Белл, рядом с ней Марк, потом Козетта. Когда Белл с характерной бесцеремонностью («Отвали!») оборвала его комплименты и осторожные ухаживания, он повернулся ко мне и сказал, как хорошо, что у Козетты такой очаровательный «возлюбленный».

— Ему тоже хорошо, — заметила я.

— Конечно. Я в этом не сомневаюсь. Чем он занимается?

Я рассказала. Айвор сказал, что, наверное, слышал его голос, но не по телевизору, так ведь?

— Полагаю, в настоящее время у него перерыв?

Мы немного поговорили. Выбора у меня не оставалось. В отличие от Белл, которая просто не отвечала ему. Она сидела одинокая, ела, пила довольно много вина и не разговаривала, поскольку ей было не с кем: Айвора она отвергла, а ее саму отверг Марк — по крайней мере временно. Смотрел он только на Козетту и общался только с ней. Закончив с едой, Марк повернулся к Козетте и что-то говорил ей тихим, ласковым, проникновенным голосом, чуть громче шепота. Помню, я подумала, что они с Белл похожи, и их можно даже принять за родственников. Разумеется,

Козетта была старше и не такой красивой — причем не только из-за возраста, — но обе принадлежали к одному типу, с той же светлой, северной красотой, с лицом, как у богини из Валгаллы, Фрейи или Брунгильды. Ее правая рука лежала на скатерти, пухлая белая рука, не похожая на руку Белл, и Марк накрыл ее своей ладонью. Она что-то сказала ему, и его ответ — исполненный благодарности, нежности и страсти — наверное, слышали все:

— Дорогая!

Айвор повернулся ко мне:

— Конечно, он актер.

Это было жестоко, но ничего другого мне не приходило в голову. И все же... Когда я в школе читала «Эсмонда» Теккерея, то всегда удивлялась, как леди Каслвуд, «старая» и с оспинами на лице, вдруг превратилась в красавицу. Козетта тоже стала красивой — вне всякого сомнения, по той же причине. Она оплатила счет, и Марк не протестовал. Выбора у него все равно не было. Чуть позже Козетта рассказала мне, что его приглашали на собеседование на телевидение, но он оказался не очень фотогеничным. Скорее не киногоеничным, что удивительно с такими скулами и ртом.

— Марк слишком красив, — сказала Козетта. — Понимаешь, главную роль ему не дадут, он же не звезда, а для второстепенных он слишком красив. Отвлекает внимание от звезд.

Возможно, это правда. Похоже на вердикт Голливуда тридцатых годов. Скорее всего, Марк просто был не очень хорошим актером, и, насколько мне известно, он так и не нашел себе работу. Тем не менее его интересы были достаточно широки: он читал, ходил на прогулки, занимался в спортзале еще до того, как это вошло в моду, страстно любил театр и водил Козетту на дневные спектакли и в экспериментальные театры, он готовил, причем так, что дорогие деликатесы остались в прошлом. Похоже, у него не было друзей, что казалось странным, а если и были, то никогда не появлялись в «Доме с лестницей». Тем не менее он сделался хозяином дома — роль, к которой Айвор и Риммон даже не приблизились.

Нельзя сказать, что Марк стал деспотичным или даже властным, не начал вдруг командовать другими или указывать Козетте, что она должна делать. Ничего подобного. Просто когда нужно было принимать решение, он его принимал. И давал понять, что не все обитатели «Дома с лестницей» тут желанные гости. Например, Гэри и Фей.

— Он спросил, мыл ли я когда-нибудь машину Козетты, — пожаловался мне Гэри. — Сказал, что таким было условие, когда я тут поселился.

— Дело не в том, что Гэри обижается, — уточнила Фей. — А в том, кто это говорит. Он бы не обиделся, если бы услышал это от Козетты.

— Если не считать, что Козетта так никогда не скажет. Может, я иногда бы и мыл этот тарантас, только Козетта все время меня отговаривала.

С Бригиттой и Могенсом трудностей не возникло. Не знаю, как Марк это сделал — наверное, просто предложил съехать. Они были очень молоды, а Могенс принадлежал к числу тех немногих датчан, которые не знают английского. Идти им было некуда, и Бригитта плакала, покидая дом; Марк их сопровождал. Сцена напомнила мне картину «Изгнание из рая»: подавленный Адам, плачущая Ева и ангел мщения, который гонит их перед собой. Козетта ничего не знала, он скрывал от нее, а когда узнала, то очень расстроилась. Марк сказал, что ничего с ними не случится и что они могут обратиться за помощью к датскому консулу.

— Все хорошее рано или поздно кончается, — сказал он.

Козетта с тревогой взглянула на него:

— Не говори так!

— Я имел в виду их, а не нас.

Мервин и Мими съехали еще раньше — они возвращались только на длинные рождественские каникулы. Риммон был болен. Он не пристрастился к какому-то определенному наркотику, а просто отравил организм всем, что за последние два или три года проглотил и ввел себе в вены. Он очень похудел, страдал отсутствием аппетита, слонялся по дому, тощий, с ввалившимися глазами, и абсолютно ничего не делал. Марк отказывался называть его Риммоном и упорно употреблял настоящее имя, Питер. Риммона расстраивало почти все, даже намек на критику, и когда Марк заявил ему, что так больше продолжаться не может и нужно обратиться к психиатру, он заплакал. Разумеется, Марк никогда не повышал голоса и ни в коем случае не проявлял агрессии, он неизменно был мягок и всегда тщательно обдумывал свои слова, но Риммон все равно плакал и не мог остановиться; слезы текли ручьем. В конце концов Марк показал его врачу — естественно, у Козетты был личный врач, — и бедняга Риммон оказался в психиатрической лечебнице, навсегда исчезнув из поля зрения, по крайней мере моего.

Я стала гадать, кто будет следующим. Гэри и Фей были еще здесь, но уже поняли, что их всего лишь терпят из милости; им явно намекали, что пора съезжать, и чем скорее они найдут себе комнату или квартиру, тем лучше. На друзей Козетты, не живших в доме, Марк реагировал иначе, радушно принимая Адмета и Эву Фолкнер, которые через несколько месяцев поженились, а также Пердиту с Луисом, супругов Касл и братьев

Козетты. Все они были более или менее уважаемыми людьми, работали или, по крайней мере, имели профессию, не принимали наркотиков, не веселились до утра, не покупали одежду на распродаже подержанных вещей, не занимались прилюдно любовью. Иногда я видела, как задумчивый взгляд Марка останавливался на Белл, когда она лежала на диване Козетты и непрерывно курила, или удалялась в комнату с телевизором, или когда он встречал ее на лестнице, поднимающуюся к себе в комнату, закутанную в искусственную шубу Фелисити. И задавала себе вопрос: не будет ли самонадеянностью предположить, что дни Белл в «Доме с лестницей» сочтены?

— Они поженятся, — как-то вечером сказала мне Белл, когда мы остались с ней в гостиной одни. Марк с Козеттой отправились в театр, куда-то в пригород. — Вот увидишь.

— Думаю, именно этого она хочет.

— Оба хотят. Ты знаешь, что я думаю о браке. Это экономическое соглашение. Ты и сама бы поняла, если бы не твоя сентиментальность.

— Хочешь сказать, — уточнила я, — что ей нужен он, а ему ее деньги?

— С такой прямоотой обычно выражаюсь я. Да, конечно, именно так. Знаешь, что я тебе скажу: он будет с ней мил, будет с ней хорошо обращаться.

— Козетта на девятнадцать лет старше его. Когда ей будет семьдесят, ему — всего лишь чуть больше пятидесяти.

Белл как-то странно посмотрела на меня. Словно я произнесла нечто невообразимое, словно речь шла о случайности, не просто маловероятной, но находящейся за гранью возможного. Я подумала, что она имела в виду нечто совсем другое:

— Ты имеешь в виду, что это не имеет значения, поскольку у него будет другая женщина?

— Маловероятно, что он останется верен ей до конца жизни, правда?

— Это ее убьет.

— Человека не так легко убить, — сказала Белл таким тоном, словно сожалела об этом. — Насколько было бы проще, если бы люди умирали от ревности или от того, что их отвергли. Что-то вроде смертельной болезни. «У нее конечная стадия ревности» или «теперь, когда его отвергли, он долго не протянет».

Я не стала спрашивать, что имеет в виду Белл. Думала, что она намекает на Сайласа или даже Эсмонда Тиннесе. Но когда два часа спустя вернулись Марк и Козетта, я не исключала, что они объявят о будущей свадьбе. Я бы нисколько не удивилась, если бы кто-то из них объявил, что

им нужно нам кое-что сказать, и пригласил в следующее воскресенье в Кенсингтонский отдел записи актов гражданского состояния. Или — поскольку Козетта была романтической натурой, а в характере Марка проглядывала некая строгость и чопорность — на венчание согласно англиканскому обряду в церковь Св. Архангела Михаила на Аркэнджел-плейс.

Мои ожидания не оправдались. Комната была полна дыма от наших сигарет, и Марк открыл окна, выходящие на балкон. Холодный апрельский ветер шевелил красные бархатные занавески, надувал их парусом. Сегодня такой поступок показался бы естественным, но в те времена проветривание прокуренной комнаты выглядело странным — все в доме курили, за исключением Марка. Более того, он взмахом ладони отогнал от себя дым, что воспринималось как осуждение, — и с неприязнью посмотрел на Белл, как будто знал, что большинство сигарет выкурено именно ей. Он посмотрел на нее так, словно хотел, чтобы она исчезла.

Белл ответила своим обычным взглядом, дерзким и вызывающим. Как будто хотела сказать: я тебя сюда привела, именно мне ты обязан своей удачей и должен об этом помнить, и ты не избавишься от меня так же, как от Бригитты. Конечно, все это я только воображала, причем ошибочно. Взгляд Белл говорил о многом — но совсем не о том, что я себе представляла.

Вскоре после прихода Марка с Козеттой Белл вышла из комнаты. Я заметила, что ей не нравится их общество, и даже спросила, почему теперь она не любит Козетту.

— Все нет, — ответила Белл. — Она мне безразлична.

В ответ я должна была поинтересоваться, как в таком случае у нее хватает наглости жить за счет Козетты, но промолчала. Потому, что любила ее, нуждалась в ней; я хотела видеть ее, изредка разговаривать, поддерживая иллюзию, что Белл по-прежнему моя близкая подруга. И еще я начала опасаться, что она уедет, либо по собственной воле, либо подчиняясь обстоятельствам. Марк ее выгонит; я очень этого боялась.

Вскоре Марк пригласил меня на ужин. Он выбрал вечер, когда Козетта должна была присутствовать на свадьбе племянницы. Той самой, которая жила в «Доме с лестницей», и Риммон сказал ей, что она спит на диване, где умерла Тетушка. Это была пышная свадьба в Кенте, а вечером устраивалась дискотека, и Козетта обещала остаться хотя бы ненадолго. Марка не пригласили. Леонард с женой были знакомы с Марком, встречались с ним в «Доме с лестницей», и Марк всегда относился к ним с

глубоким уважением, но мне кажется, они считали всю ситуацию немного неловкой. Им не хотелось отвечать на вопросы о том, кто он такой: приятель Козетты, платный сопровождающий, «жених» или кто-то еще. Как бы то ни было, на свадьбу его не пригласили. Я очень удивилась, что в первый же вечер без Козетты Марк пригласил меня на ужин. Я вспомнила слова Белл насчет того, что он вряд ли останется верен Козетте всю жизнь. Но не видела себя в роли кандидатки и не сомневалась, что привлекаю его не больше, чем он меня.

Затем мне, конечно, пришло в голову, что он устраивает вечеринку.

— А Белл ты позвал? — спросила я.

Не знаю, придумала я это, или в те дни одно лишь упоминание о Белл действительно заставляло его если не морщиться, то как бы отстраняться, внутренне собираться и заставлять себя отвечать.

— Мы будем только вдвоем. Мне нужно тебе кое-что сказать.

Похоже на ультиматум. Я была следующей в списке на выселение. За изысканным обедом на деньги Козетты меня спросят — с особым очарованием и тактом, потому что я занимала особое место среди ее привязанностей, — не кажется ли мне, что пора освободить две чудесные комнаты и поискать себе другое жилье?

Я почти возненавидела Марка. Он представлял для меня угрозу — вор, укравший любовь Козетты, разлучивший меня с ней. Я все понимала неправильно, чего они и добивались.

Мы жили в одном доме, но не пошли в ресторан вместе. Встретились прямо там, в бистро неподалеку от Паддингтонского вокзала, не особенно роскошном, но и не обшарпанном. По какой-то причине я не сказала Белл, что ужинаю с Марком, — вероятно, потому, что просто не имела такой возможности, не видела Белл, — и впоследствии не пожалела об этом. Я несколько не сомневалась, что Козетта не знает о нашей встрече, и очень удивилась его первым словам.

— Это была идея Козетты — поговорить не дома. Ты же знаешь, там никогда нельзя быть уверенным, что тебя не подслушивают.

Улыбка и поднятые брови Марка были грустными. Все эти люди, словно намекал он, прячутся за дверью, подслушивают, живут за чужой счет. И у его намека имелись основания: Гэри и Фей еще не съехали, и кроме того, к его неудовольствию, внезапно появилась Диана Касл со своим бойфрендом и стала умолять Козетту пустить их всего на неделю, не больше, и Козетта, естественно, согласилась. Но слова об «идее Козетты» меня насторожили. Я не могла поверить, что она поручила Марку выгнать меня, однако влияние Марка на нее было очень велико и росло с каждым днем. Она попадала к нему в рабство — и это еще мягко сказано.

— Что ты хотел мне сказать, Марк?

— На самом деле несколько вещей.

Марк медлил. Обычно четко формулировавший свои мысли, теперь он словно растерялся, и моя тревога росла. Мне казалось, что его взгляд стал почти грозным, как у посланника, принесшего плохую весть. За эти секунды мои ожидания изменились, и, несмотря на утверждение Марка, что нашу встречу предложила Козетта, у меня сложилось впечатление, что он собирается объявить о разрыве с ней, о связи с кем-то еще, даже о предстоящем браке с другой женщиной. Я больше не могла выдержать его тяжелого молчания и, наклонившись вперед, голосом, способным вывести человека из транса, спросила:

— В чем дело, Марк?

Он улыбнулся и покачал головой:

— Нет, нет, ничего страшного, чтобы делать такое лицо. Как выяснилось, кое о чем трудно говорить, вот и все.

А потом он сказал. Это потрясло меня больше, чем известие, что Марк покидает «Дом с лестницей» и больше никогда не вернется, уезжает на

край земли. Говорил он быстро, почти торопливо:

— Думаю, теперь ты уже понимаешь, как сильно я люблю Козетту.

Я просто смотрела на него. Молча.

— Поначалу все выглядело иначе. Конечно, она мне нравилась, очень нравилась. Потом... я полюбил. — Марк усмехнулся. — Поначалу мне самому не верилось. Это казалось... невероятным. — Почему? Потому что она гораздо старше? Потому что ему не свойственно влюбляться. Марк не объяснил, но отбросил сдержанность, которая могла быть просто смущением. — Я пытался себя остановить. Говорил, что это абсурд. Ничего не помогло. Конечно, теперь я уже не хочу останавливаться — сама мысль об этом невозможна и смешна. Кажется, ты удивлена. Не замечала? Я думал, это читается в каждом моем слове, в каждом взгляде.

Все так. Он был захвачен страстью не меньше, чем сама Козетта, которая сказала, что так его любит, что может умереть от любви. Марк наклонился ко мне через стол, устремив на меня пылкий взгляд, и подошедший официант, наверное, подумал, что этот взгляд предназначен мне. Я была так потрясена, что смогла лишь покачать головой. Когда кто-то говорит, что любит, мы сразу же понимаем, что он имеет в виду, даже если с трудом можем выразить это словами. Это совсем не то, что «влюблен»; дело не в степени, а в сути, это гораздо сильнее и глубже, чем пышные «обожаю» или «схожу с ума». Любовь всепоглощающее чувство. Она включает в себя рабскую зависимость, слепоту, полное одобрение, абсолютную преданность. И дарит безопасность. Внешний мир не может в нее проникнуть. Поверив Марку, я испытала огромное облегчение. Из-за Козетты, из-за того, что ей ничего не угрожает.

— На самом деле, — сказал он, — я не хотел показывать свои чувства. — Важное признание, которое я оценила впоследствии.

— Вот почему ты назвал это смешным?

«Потому что она старая, — подумала я, — потому что она была легкой добычей». Однако, как потом выяснилось, Марк имел в виду совсем другое, но, похоже, забыл о своих словах.

— Я так сказал? Это смешно в моем возрасте.

А в ее?

— Зачем ты мне все рассказываешь?

— Потому что ты не просто ее друг. Ты почти приемная дочь.

Мы приступили к еде. Его слова меня поразили и обрадовали, но аппетит почему-то пропал. Я ковырялась в тарелке и пила вино.

— Я намерен кое-что сделать, — сказал он. — А кое-чего делать не собираюсь. И подумал, что нужно тебе рассказать. Остальные могу

подумать, что это не важно. Во-первых, я не собираюсь жениться.

Белл ошиблась, подумала я.

— Может показаться, что это абсолютно естественный шаг, когда испытываешь такие чувства — публичное признание отношений. Причина, по которой я не хочу этого делать, состоит в том, что Козетта... — он умолк подбирая слова, — очень богата. Не думаю, что было бы благородно с моей стороны на ней жениться.

Я едва удержалась от смеха. Среди моих знакомых было много людей старшего возраста, например мой отец и братья Козетты, которые считали, что единственный благородный поступок мужчины по отношению к женщине — жениться на ней. Мужчина должен жениться на своей любовнице, чтобы сделать ее, как они выражались, «честной женщиной». А Марк заявляет мне, что, по его мнению, неблагородно жениться на богатой. Но я понимала, что он имеет в виду. Даже считала его взгляды достойными восхищения, видела в нем умного, порядочного человека.

— Кое-кто подумает, что ты женишься на ней из-за денег, — сказала я.

— Грубо говоря. — Ему явно не понравилась моя формулировка. — Конечно, если я буду с ней жить — а я собираюсь с ней жить, пока она этого хочет, надеюсь, всю жизнь, — ее богатство неизбежно распространится и на меня. Никуда не денешься. Но я не хочу... не имею права. — Марк рассуждал так, словно не был принят закон о собственности замужних женщин, но я понимала, что он имеет в виду.

Подошел официант, и Марк заказал еще одну бутылку вина. Мы жадно пили, наверное, чтобы приглушить эмоции. Марк посмотрел на меня и, потрянув головой, сбросил с себя помпезность, как сбрасывают капюшон плаща.

— Я счастлив, — просто сказал он. — Я никогда не был так счастлив.

— Вижу.

— И еще я хотел сказать, что мы не собираемся жить в теперешнем доме Козетты. — Марк никогда не называл его «Домом с лестницей». Я вдруг в первый раз поняла это. — Мне с самого начала не понравился дом номер пятнадцать на Аркэнджел-плейс. — Он произнес адрес с театральной нарочитостью. Восхищение, проявленное при первом визите, вероятно, уже забылось. — Он очень неудобен. И обходится Козетте весьма дорого, в основном ради других людей — я не имею в виду тебя, Элизабет. Черт возьми, это же просто огромная лестница с отходящими от нее комнатами. Глупо.

— Козетта его любит.

— Вопрос в том, почему она его купила. Дом стал средством против

одинокства, а главное правило заключалось в том, что свободные комнаты должны быть заполнены. И они заполнялись. Теперь Козетта хочет быть со мной, а я — благодарение Богу — с ней.

— Только с тобой? — Я вспомнила о Белл, однако Марк, естественно, подумал, что речь идет обо мне.

— В нашем доме, Элизабет, для тебя всегда найдется место, — поспешно ответил он банальностью, которой трудно найти альтернативу.

Похоже, мне предназначалась роль Тетушки. Я была не в восторге от перспективы жить с этими голубками.

— Куда вы переедете?

— Думаем, в маленький дом где-нибудь в тихом переулке.

Там не предусмотрено комнаты для Белл. И я навсегда ее потеряю. Разрыв, расставание без надежды на новую встречу — я это чувствовала.

— Белл будет за тебя рада, — сказала я. — Она думала, что вы поженитесь, и в общем-то оказалась права, хотя и не до конца.

По его лицу пробежала тень. Словно штора, заслонившая свет. Его взгляд словно позволял заглянуть в комнату с веселыми и счастливыми людьми, а потом дверь вдруг закрылась.

— Можно тебя попросить, чтобы ты пока ничего не говорила Белл?

— О переезде?

— Обо всем. Она думает, что мы поженимся, но это не имеет значения. Я не удивляюсь.

— Хочешь сказать, она из тех, кто считает, что ты женишься из-за денег?

Выпитое вино ослабило самоконтроль, и я выразилась довольно резко. Марку это не понравилось:

— Я же сказал: меня не интересует, что думают другие люди.

— Ты не хочешь, чтобы я говорила Белл, что ты любишь Козетту и собираешься жить с ней, но не намерен жениться, и что вы хотите уехать из «Дома с лестницей»?

Он был вынужден согласиться, но ему это не понравилось. Я считала Марка сильным — из-за того, как он говорил, его внятной дикции, кажущейся уверенности, из-за того, что он принимал решения, когда Козетта колебалась, но теперь поняла, что ошибалась. Марк был слабым человеком. Сила его проявлялась только там, где не было необходимости напрягаться, преодолевать препятствия. Козетта оказалась гораздо сильнее его. У меня мелькнула странная мысль. Может быть, любовь Козетты, в которую она вложила всю себя, тело и душу, была настолько сильна, что разожгла ответный огонь страсти из маленькой искорки? Марк выглядел

слабым, юным, испуганным и необычно задумчивым, словно нашел то, что искал всю жизнь, и теперь очень боялся потерять. Конечно, Козетта была ему матерью, а он ей сыном — но это было лишь частью сложной картины, важной, но все же частью. Страх и нерешительность исчезли с его лица, и оно явно стало тверже.

Марк улыбнулся:

— Разумеется, мы скажем Белл, когда придет время. Просто просили бы пока не говорить. Собственно говоря, Козетта считает, что должна как-то помочь Белл. Она думает, не купить ли ей квартиру... то есть студию. Ты понимаешь, о чем я.

Я ничего не ответила. Думаю, мы больше вообще об этом не говорили. Мы с Марком всегда с трудом находили темы для разговора. Из вежливости — я так думаю — Марк продолжал играть роль хозяина, пока мы ели сыр и приканчивали третью бутылку вина. Он не привык много пить, и его язык слегка заплетался, когда он рассказывал историю о знакомых актерах, с которыми вместе был на гастролях, и о том, как автору пришлось сократить одну сцену, чтобы не задеть чувства жителей Мидлсбро. Вместе с сыром бри и пресными лепешками я переваривала его слова о том, что Козетта компенсирует Белл потерю комнаты, купив ей квартиру. Поначалу это показалось мне почти невероятным.

В Козетте я не сомневалась. Это в ее стиле — именно так она поступала, если считала, что объект ее опеки в чем-то нуждается. Достаточно вспомнить Тетушку. Но сначала эту мысль ей нужно было подсказать. Почему она посчитала своей обязанностью компенсировать потерю комнаты молодой, здоровой женщине, которая ничего для нее не значила и даже недолюбливала ее, той комнаты, за которую та не платила ни пенни? Может, Марк попросил? Я почувствовала прилив благодарности за то, что хотя бы мне не предложили временного жилья.

Итак, Белл ничего не следовало рассказывать, даже то, что ее предположение о свадьбе оказалось неверным. Пусть остается в заблуждении. Но когда «Дом с лестницей» буден продан, Белл поставят в известность, а затем от нее отделаются при помощи студии с кухней и ванной в северном Кенсингтоне. Не желая получать указания от Марка, я решила расспросить Козетту. Возвращаясь домой в такси — Марк поехал на какой-то вокзал, Виктории или Ватерлоо, чтобы встретить поезд Козетты, — я обнаружила, что строю диковатые планы купить собственный дом и пригласить к себе Белл. Она, конечно, откажется. Я представила, как она опять исчезает, однажды уходит и не возвращается, а через десять лет появляется на какой-нибудь вечеринке после слов, похожих на объявление

Айвора Ситуэлл, что сейчас войдет самая красивая женщина, которую ему приходилось видеть...

Тут я ошиблась. Как, впрочем, и насчет Козетты с Марком, когда рисовала себе картину их будущей совместной жизни. Я даже придумала, на какой улице они поселятся, в тихом переулке с домиками, похожими на деревенские коттеджи, к северу от Уэстборн-Гроув; один из этих домов им бы прекрасно подошел — возможно, тот, во дворе которого растет дерево с великолепными желтыми цветами. С тех пор — потом, после паузы в несколько лет — я иногда представляла, как могла бы сложиться их жизнь.

Они жили бы вместе и никогда бы не расстались — я в этом уверена. И Марк женился бы на ней, даже просто потому, что ей бы этого очень захотелось. Он никогда не мог ей отказать. Марк посвятил бы свою жизнь тому, чтобы сделать Козетту счастливой — уже начал. Думаю, это была бы уединенная жизнь, союз, о котором обычно говорят, что супруги «души друг в друге не чают». Разумеется, не было бы никаких бесплатных жильцов, нахлебников, гостей, которые приходят на ночь и остаются на год. И вообще гостей было бы немного: я сама, конечно, Белл, Луис Льянос и Пердита Рид, возможно, Уолтер и Эва Адмет, братья Козетты, друзья Марка, о которых он иногда упоминал, но которых мы не видели. Иногда они, Марк и Козетта, ходили бы в ресторан, поужинать вдвоем в каком-нибудь шикарном месте, возможно, «Коннот» или «Ле Гаврош», отпраздновать какую-нибудь годовщину — первой встречи, первой проведенной вместе ночи, свадьбы, — не замечая никого вокруг, восторженно глядя друг другу в глаза, переплетя пальцы поверх скатерти. И платить будет, конечно, Марк — подпишет чек или протянет кредитную карту. Потому что к тому времени Козетта уже привыкнет перекладывать на него все житейские дела, надеяться на него, и они уже почти забудут, чьи это деньги.

— Ты действительно собираешься купить Белл квартиру? — спросила я Козетту.

— Лучше тебе, дорогая.

— Я и сама могу. Спасибо, конечно, но это правда. Мне будет полезно, как говорят, стоять на собственных ногах. Пора уже. Ты серьезно — насчет Белл?

— Понимаешь, — произнесла она, — Марк, кажется, считает, что это смягчит удар.

— Какой удар?

— Марк думает, ей не понравится, что мы продаем дом и переезжаем. По крайней мере, я предполагаю, что именно это он имеет в виду. Точно не

знаю. Кажется, Марк очень смущен. Похоже, думает, что если Белл... получит компенсацию, то не будет так страдать.

— А почему она должна страдать?

— Она лишится дома, правда? Марк убежден, что Белл любит наш дом. Мне понятны ее чувства, я тоже его люблю, но это просто очередной этап в моей жизни, нечто такое, что я должна была сделать, но теперь пора двигаться дальше. Вроде мечты, которая осуществилась, а теперь я мечтаю жить с Марком в маленьком домике, где мы всегда будем вместе, потому что там мало места и просто невозможно расстаться. Считаешь меня безумной? Понимаешь, он думает точно так же, но не можем же мы оба сойти с ума, правда? Неужели я говорила, что так сильно его люблю, что могу умереть от любви? Нет, я так его люблю, что хочу жить. Мне так повезло, Элизабет, что иногда даже не верится. Я не могу поверить, что кто-то может быть так счастлив, что это все не кончается, а Марк чувствует то же, что и я.

Любовь изменила Козетту, редко говорившую о себе, всегда ставившую на первое место других, и теперь любой разговор она переводила на свои чувства и, естественно, чувства Марка. Она забыла о Белл.

Мне было несложно выполнить просьбу Марка, поскольку я почти не видела Белл. Только слышала — монотонное бормотание телевизора в комнате на первом этаже, скрип 104-й ступеньки, шаги у меня над головой. Она избегала меня — наверное, не только меня. Я занялась подготовкой к покупке собственного дома. Я могла купить дом в любом районе, поскольку неплохо зарабатывала писательским трудом, гораздо больше, чем если бы осталась верна полученной профессии и работала учителем, даже больше, чем получает завуч в школе или преподаватель в университете. Проведя много времени перед окнами агентств по продаже недвижимости, я, наконец, решила позволить им присылать мне предложения.

«Дом с лестницей» превратился в тихое, даже приличное место. В былые времена, когда я удалялась в свой кабинет и пыталась писать, мне иногда очень мешали шум, музыка, шаги на лестнице, громкие голоса, хлопанье дверей. Но теперь я по ним скучала — таковы странности человеческой природы. Одиночество толкнуло меня к Робину (в романе я написала бы, что одиночество толкнуло меня в его объятия), причем гораздо ближе, чем можно было бы предположить, учитывая наши несовместимые темпераменты. А потом приехала Эльза.

Наверное, я предпочитаю общество женщин.

В начале семидесятых в таких вещах обычно не признавались. Если вы говорили, что любите женскую компанию, это воспринималось как вынужденная добродетель, то есть вы терпите женщин, потому что не можете найти мужчину. Разумеется, сегодня все изменилось, теперь это приемлемо, и предпочтение женского общества признается вполне разумным и даже интеллигентным. Я очень обрадовалась приезду Эльзы. Она всегда была моей лучшей подругой — и остается до сих пор. В первый раз за все время я проявила инициативу, воспользовалась своим статусом хозяйской дочери и пригласила жильца, не спросив сначала Козетту. В любом случае невозможно было представить, что Козетта откажет.

Эльза снимала квартиру, пока длилась процедура покупки собственного дома. Жизнь менялась, но разведенной женщине приобрести дом по ипотеке все же было гораздо сложнее, чем теперь. Оформление затягивалось, трехмесячная аренда квартиры подошла к концу, а продлить ее не было никакой возможности.

— Это может затянуться на месяц или даже больше, — сказала она в ответ на мое приглашение.

— Козетта будет надеяться, что дольше — вот увидишь.

Но не Марк. Он был не очень доволен. Но понимаете, он думал, что довольно скоро все это закончится, неизбежно закончится, когда у них в доме не будет свободных комнат. То есть я это видела, но Белл, похоже, нет. Словно она ждала, когда что-нибудь произойдет, словно тянула время. Белл наблюдала за Марком, однако он теперь даже не смотрел в ее сторону.

Мы отдали Эльзе комнату Тетушки. Все Тетушкины вещи остались на месте: салфетки на спинках кресел, радиоприемник в фанерном корпусе. Эльза попросила их не трогать, сказала, что они ей нравятся; Перпетуа сняла только липучку от мух. Мне было интересно, что происходит в «Доме с лестницей», я хотела все это обсудить, но Эльза не похожа на Белл, и ее не особенно интересуют поступки и мотивы людей.

— Какая разница, правда? — отвечала она, когда ее спрашивали, почему человек что-то сказал или сделал. — Думаю, у него были на то причины.

Белл давала ясно понять, что больше не желает со мной знаться. Как будто я удовлетворила минутную потребность, исполнила свое предназначение, а теперь ее потребности изменились, и я больше не нужна. Встречаясь со мной на лестнице, она небрежно бросала: «Привет!» За большим столом в столовой передавала тарелку и спрашивала, не нужно ли мне чего-нибудь. Отвечала, если я к ней обращалась. И все. Моим

утешением — если можно считать это утешением — было то, что все остальные удостаивались не большего внимания, чем я. Когда мы собирались в гостиной, что иногда все же происходило, ее никогда не было среди нас. Однажды она вошла в гостиную, где мы с Эльзой, Козеттой и Марком пили кофе, который Перпетуа сварила и принесла нам после ленча.

— Можно я заберу телевизор к себе? — спросила она Козетту.

Внизу, в той комнате, где умерла Тетушка, его никто больше не смотрел. Козетта, похоже, обрадовалась просьбе. Думаю, радость объяснялась тем, что Белл заговорила с ней. Общаясь с холодными, сдержанными людьми, испытываешь почти ликование даже от намека на дружелюбие, от обычного замечания.

— Конечно, дорогая, если он там будет работать. Как ты думаешь, Марк?

— Понятия не имею, — ответил он.

— Только не пытайся поднять его наверх сама, — предупредила Козетта. — Марк тебе поможет.

Он не отказался, но и не согласился. Его голос звучал напряженно:

— Если тебе требуется телевизор, Белл, почему ты не купишь собственный?

— Мне нужно с тобой поговорить, — сказала она. — Наедине.

Я думала, Марк ответит, что нет ничего такого, что нельзя было бы сказать в присутствии Козетты, однако он промолчал. Конечно, тут были и мы с Эльзой. Он колебался, но потом встал и вышел из комнаты вместе с Белл.

— Это насчет ключа от ее комнаты, — объяснила Козетта. Я была уверена, что она ошибается. — Белл его вчера потеряла.

Эльза помогла ей затащить телевизор на все 106 ступенек. В тот же вечер я наткнулась на Белл в кухне, когда она рылась в ящиках буфета — вероятно, искала ключ от комнаты.

— Зачем так волноваться? Я не войду.

Я впервые увидела, как Белл краснеет. Оставив ящик открытым, она вышла из кухни и громко хлопнула дверью. Теперь, работая, я слышала над головой телевизор. Он был включен все время, независимо от расписания программ — мне еще повезло, что в те времена их было гораздо меньше. Однажды, сидя в моем кабинете и прислушиваясь к щебету и крикам детского мультфильма, доносившимся сверху, Эльза заметила:

— Марк слабый человек, правда?

Обычно она не обсуждала людей.

— Почему ты так решила?

— Прежде всего, он боится Белл. Завтра придут оценивать дом, и Марк не хочет, чтобы она об этом знала. Попросил меня куда-нибудь ее увести на то время, когда придет оценщик. Говорит, только я могу это сделать, потому что только у меня с ней хорошие отношения.

— Рано или поздно ей придется сказать.

— Тут что-то другое, — сказала Эльза. — Не знаю что, но чувствую. Вчера она спросила меня, не в курсе ли я насчет свадьбы, но я честно призналась, что понятия не имею о том, что они собираются пожениться.

— Хотелось бы мне знать, что происходит, — произнесла я.

Эльза пожала плечами:

— Погоди немного, сказал терновник.

Белл наполовину угадала. По крайней мере, поняла: что-то не получается. Хорошо разбираясь в людях, она не могла не знать, что Марк слаб, лишен внутреннего стержня, и именно поэтому он не мог сопротивляться ей. Должна была догадаться, что именно слабость мешает ему сделать какое-то важное признание. Об этом она хотела с ним поговорить, и я уверена, что он опять оробел и стал убеждать, что все хорошо и нужно еще немного потерпеть. Я не могу у нее об этом спросить. Не могу. Думаю, Белл догадалась — но лишь о том, что Марк не собирается жениться. Только думала, что он не способен убедить Козетту выйти за него. Возможно, в том разговоре наедине Марк даже сам убеждал ее подождать (как терновник), пока он испытает силу своего убеждения.

Нетрудно представить, что чувствовал бедный Марк, вынужденный говорить и делать все это, всем сердцем любя Козетту.

— Что стало с картинами Сайласа? — спросила я.

Было утро, и мы с Белл сидели в ее комнате в Килбурне под железнодорожным мостом.

— Когда меня отправили в тюрьму, адвокат спросил, что делать с моими вещами. Я сказала: сжечь, и он сжег. То есть пообещал и, надеюсь, сдержал слово. Все равно картины ничего не стоили.

— Я могла бы их сохранить.

Белл улыбнулась. Иногда она смотрит на меня как на эксцентричного ребенка, который отпускает безыскусные и очаровательно невинные замечания. Когда ее поместили в тюрьму, я выписала себе месячный пропуск и навещала ее, однако вскоре Белл попросила больше не приходить. Но все изменилось, и теперь она другая. Я ей нужна. Какая горькая ирония — теперь я ей нужна. Мы освобождаем комнату Белл, складываем ее немногочисленные и, можно сказать, жалкие пожитки в мой чемодан. Она переселяется. Белл сообщила сотруднику службы пробации, что переезжает ко мне, причем не на неделю или две, не на несколько месяцев, а навсегда. Потому что хочет, а я не знаю, как ей отказать. Прошлое не позволяет мне сказать «нет»; отказ был бы актом насилия над прошлым, моими прежними чувствами и клятвами.

Нельзя сказать, что я пребываю в радостном ожидании. Если бы я могла себе это позволить, то купила бы дом побольше, и нам не пришлось бы, как говорят, вариться в одном котле. Но мне это не по карману. Нам с Белл придется жить бок о бок в четырех комнатах. У нее ничего нет, и она полностью зависит от меня. Я еще не давала ей наличности, карманных денег на сигареты, но не сомневаюсь, что все еще впереди. Получает ли она социальное пособие? Я не спрашивала — как и о том, что стало с деньгами, вырученными от продажи дома, принадлежавшего отцу Сайласа. Она сама рассказала:

— Я все потратила на адвокатов. Мне не предоставили бесплатную юридическую помощь, когда выяснилось, что у меня есть личный доход.

Мы принялись складывать ее вещи в чемодан. Среди них я узнала ожерелье, когда-то подаренное Козеттой, — длинную нитку янтарных бус. Сомневаюсь, что это настоящий янтарь, скорее просто цвет похож, и я ни разу не видела, чтобы Белл надевала его. Ожерелье лежало в длинном блестящем футляре черного цвета (кажется, его называют «лаковым»), в

котором когда-то хранились длинные перчатки. Вне всякого сомнения, Козетта подарила бусы вместе с этим футляром. Здесь же, завернутый в тряпочку, лежал перстень с гелиотропом.

Темно-зеленый халцедон с красными вкраплениями яшмы. Этот драгоценный камень любили средневековые живописцы, используя в сценах бичевания, где он символизировал кровь святых мучеников. Похоже, я рассуждаю, как Фелисити, — наверное, у нее научилась. Положив перстень на ладонь, я впервые стала внимательно рассматривать его. Сам перстень состоит из множества золотых нитей: на кольце они идут параллельно, а вокруг камня скручиваются и переплетаются. Я пыталась представить, откуда он взялся — возможно, передавался в нашей семье от одного больного к другому, пока не попал к матери Дугласа, которая приходилась теткой моей матери. Я вспомнила, как Козетта подарила его Белл на тридцатилетие, на той вечеринке, когда Марк впервые пришел в «Дом с лестницей», и Белл взяла подарок с безразличным видом, даже не поблагодарив.

— Ты его когда-нибудь надевала? — спросила я.

Она не ответила на вопрос, а вместо этого сказала:

— Можешь взять себе. Хочешь?

— Давай, — ответила я. Наверное, это прозвучало не очень прилично, но я воспринимала перстень как подарок Козетты, а не Белл.

Ее слова и поступок удивили меня. Белл надела кольцо с гелиотропом мне на палец.

— С этим кольцом я беру тебя в жены, — произнесла она и рассмеялась своим сухим смехом.

Я ее не поняла; я очень часто не понимаю, что она хочет. Белл все еще способна меня удивить. Так, например, я всегда удивлялась, как мало личных вещей ей нужно. Мы заполнили чемодан и один полиэтиленовый пакет, и комната опустела.

— Представь, сколько барахла у таких, как Фелисити, — заметила я. — Огромный дом, забитый вещами, и еще квартира, где их, наверное, не меньше.

— Я не могу иметь то, что хочу, — сказала Белл, — и поскольку не могу себе их позволить, то лучше у меня не будет ничего.

Я уже слышала это от нее. Но тогда не знала того, что знаю теперь. По спине пробежал неприятный холодок, но Белл смотрела на меня так, словно забыла, что уже произносила эти слова. Она обвела комнату безразличным взглядом — не сомневаюсь, что с таким же безразличием она относилась ко всем домам, где жила. Значит, Марк ошибался, пытаясь

убедить меня, что она любит «Дом с лестницей» и не хочет его покидать. Мы спустились на улицу и стали ловить такси. В определенный час такси проезжают тут из района Криклвуд в Уэст-Энд. Но машин не было, и мы пошли на юг по Килбурн-Хай-роуд; я несла чемодан, а Белл сумку, но они были не тяжелыми, а день выдался теплый и влажный, с густым воздухом и заслонявшей солнце дымкой. Если не подвернется такси, можно спуститься на станцию метро Килбурн-парк. Однако Белл, окинувшая взглядом длинный спуск Мейда-Вейл, вспомнила о нашей подруге:

— Раз уж мы тут, можно зайти к Эльзе.

Предложить это должна была скорее я, а не она. До сегодняшнего для Белл не изъявляла желания видеть кого-то из прошлого, а с явившейся без предупреждения Фелисити была почти груба. Она ни о ком не спрашивала, и ее охватывал ужас, когда я произносила имена Козетты и Марка — и я могу это понять. Но Адмет? Эва? Разве ей не любопытно, что стало с Айвором Ситуэллом, Гэри и танцорами? Я не ответила, и тогда она произнесла, явно сдерживая себя:

— Не стоило выходить оттуда, из тюрьмы. Там мне было лучше всего. Там я могла приспособиться. Наверное, мне нужно вернуться.

На это нечего ответить. Банальности и слова успокоения раньше давались мне без труда, но теперь у меня не было настроения. Вместо этого я махнула рукой в сторону Карлтон-Вейл:

— Эльза живет там. Хочешь сначала позвонить?

— Зачем, если мы уже у порога? Если она не хочет нас видеть, то может солгать в лицо точно так же, как по телефону.

— Эльза не станет мне лгать. — Я расстроилась, но была даже рада этому, рада почувствовать хоть что-нибудь, кроме тупого безразличия. Чемодан вдруг показался мне тяжелым. — Твоя очередь, — сказала я и протянула Белл чемодан. — Дай мне сумку.

Эльза держит меня в курсе событий и рассказывает о людях. О тех, с кем я больше не встречаюсь, в отличие от нее, и это мой единственный источник информации. Она моя лучшая подруга, хотя мы не виделись уже несколько месяцев. После появления в моей жизни Белл я даже не звонила Эльзе. Не думаю, чтобы кто-то, кроме меня, еще называл ее так, как в школе, Львицей. Одну из своих книг, о парке сафари, я посвятила ей: «Любимой Львице».

Эльза похожа на львицу, сильная, гибкая, мускулистая, с желтыми кошачьими глазами и приподнятыми уголками рта. Естественно, она должна знать, что Белл у меня, — Фелисити ей обязательно сказала, потому что Фелисити ее двоюродная сестра. Или Эсмонд, который как-то раз со

всей серьезностью заявил: «Сестра жены — моя сестра. Муж и жена — одна плоть». Эльза взяла трубку домофона и на мои объяснения кратко ответила:

— Входите.

Она ждала нас на площадке первого этажа с полотенцем в руках и мокрой после мытья оранжево-желтой гривой волос. Белл не стала ждать, пока она скажет хоть слово.

— Я вижу, ты меня не узнаешь — так сильно я изменилась. Неприглядное зрелище, да?

Мне почему-то захотелось ее ударить. Накричать. Какое-то новое для меня чувство, опустошающее. Разумеется, я ничего не сделала — то есть промолчала, а только встретилась взглядом с Эльзой и опустила глаза, потому что от ненависти к Белл у меня все дрожало внутри, хотя внешне я оставалась абсолютно невозмутимой и спокойной, напряженной и холодной.

— Рада видеть тебя, Белл, — любезно отвечала Эльза, как настоящая кузина Эсмонда. — Надеюсь, вы с Элизабет пообедаете со мной.

Таким милым тоном она разговаривала с женщиной, которая совершила убийство и которую считали бы парией в любом цивилизованном обществе. Потом уверенной походкой повела нас за собой в квартиру.

Это другая квартира, не та, которую она ждала, поселившись в «Доме с лестницей». Та была далеко, в Челси, практически в Фулеме, еще дальше, чем пристанище семьи Тиннесе. С тех пор Эльза еще раз вышла замуж, а теперь ждет нового развода. Тогда ее больше интересовали не мотивы людей, а их сексуальные отношения. И еще она любила Козетту, радовалась ее счастью.

— Похоже, у него нет собственных друзей, — говорила мне Эльза.

— Если и есть, сюда они не приходят.

На первый взгляд у Белл тоже не было друзей, но это не совсем верно. Ее друзьями были Тиннесе и Адмет — по крайней мере, она с ними общалась, — а также я сама и Эльза. Но у Марка, похоже, друзей не было совсем, я не могу вспомнить, чтобы в разговоре звучали их имена, только туманные упоминания о знакомых. Он также не распространялся о своем прошлом. Мы ничего о нем не знали, как будто Марк родился два года назад, уже тридцатилетним, или представлял собой творение Пигмалиона — Белл, — в которое вдохнули жизнь специально для того, чтобы я увидела его в «Глобальном опыте». Я испытала шок — правда,

приятный, — когда однажды сидела в Британской библиотеке, листая (с какой-то другой целью) старую подшивку «Радио таймс», и наткнулась на его имя в списке исполнителей пьесы, которую слышала пять лет назад. «Росмерсхольм» Ибсена, и Марк Хенрисон играл Педера Мортенсгора.

Он не рассказывал мне о своем прошлом — да и с чего бы это? Наверное, Козетте рассказывал. Скорее всего, она знала его жизнь, с детских лет и до настоящего дня. Понятия не имею. Я практически не оставалась с ней наедине; рядом всегда был Марк.

Эльза отказалась поддержать план Марка по удалению Белл из дома на время визита оценщика, поскольку была по-настоящему честной и искренней. Она могла — как сегодня предположила Белл — один или два раз прибегнуть ко «лжи во спасение», но никогда бы не согласилась обманывать подругу с недостойной целью. Так же, как и я, Эльза не верила, что Белл чрезвычайно привязана к «Дому с лестницей» и не перенесет мысли о расставании с ним. Думаю, к тому времени Эльза уже поняла, что Марк не хотел, чтобы она жила в доме, даже две или три недели, несмотря на то, что принадлежала к числу тех немногих гостей Козетты, которые покупали еду, заботились о пополнении винного погреба и сами сдавали свои вещи в прачечную. Более проникательная, чем я, видевшая ситуацию со стороны, она подозревала Марка и поэтому любезным тоном ответила, стараясь смягчить сарказм:

— Придется тебе самому делать грязную работу.

В конечном итоге ничего делать не пришлось, поскольку оценщик не захотел осматривать каждую комнату, а Белл сидела у себя с включенным телевизором. Через три дня пришел представитель риелторской компании — то ли еще будет! — чтобы взглянуть на дом. Марку повезло, что как раз в это время Белл отправилась на одну из своих долгих прогулок, первую за несколько недель. До ее возвращения Марк и Козетта уехали подыскивать себе дом; по крайней мере, я так думала. Они делали из этого тайну, поскольку Белл ничего не должна была знать.

— Не представляю, как они выпутаются, — сказала я Эльзе. — Разве что убьют ее. — Я как раз писала роман, в котором от одного из персонажей должны были избавиться с помощью убийства. Иначе сюжетная линия заходила в тупик. Наверное, именно книга натолкнула меня на такую мысль.

— Сомневаюсь, — ответила Эльза.

В тот вечер нас всех пригласили на ужин танцоры. Раз в год они развлекали Козетту, как бы в ответ за все, что получали от нее. Она угощала их ужином как минимум один раз в неделю, а также брала с собой на

концерты, спектакли и в кино, и поэтому ни о какой компенсации не могло быть и речи, но я подозреваю, что это немного успокаивало их совесть. Им приходилось терпеть общество всех жильцов дома, потому что Козетта умудрялась, очень мягко и тактично, отклонять их приглашение, если не могла взять с собой «свиту», как со свойственной ему грубостью выражался Айвор.

Я это помню, но не помню ресторана, в который мы ходили. Наверное, где-то в Сохо или на Шарлотта-стрит. Луису и Пердите повезло — гостей было всего пять, хотя в прошлом могло бы набраться и с десятков. Белл тоже пришла, чем меня очень удивила. Странно, что она поставила себя в положение «третьего лишнего», превратившись буквально в «призрак на балу». Мы естественным образом разбились на пары: Козетта и Марк, Луис и Пердита, мы с Эльзой — и Белл осталась в одиночестве. Наверное, она была самой плохо одетой женщиной в ресторане — и уж явно в нашей компании, похожая на перевязанный бечевкой пакет из нескольких слоев коричневой бумаги, — но все провожали взглядом именно ее. Как всегда. Все дело в ее походке, высоко поднятой голове, почти идеальной осанке, копне растрепанных светлых волос, бесстрастном лице и похожем на камею профиле.

Нужно рассказать, как мы сидели. Три столика были составлены вместе, и Луис устроился во главе длинного стола, Козетта — слева от него, Белл — справа. Марк сидел рядом с Козеттой — они всегда так садились, чтобы не разлучаться, — а за ним Эльза. На другой стороне между мной и Белл сидела Пердита, так что мы с Эльзой оказались друг напротив друга.

В тот вечер мы ничего не ели — никто еще не успел проголодаться. Кажется, Луис отщипнул несколько кусочков булки, и все мы пили разные напитки. Белл заказала бренди. Странно, что я отчетливо это помню. Все остальные пили херес или вино, а Козетта, разумеется, апельсиновый сок, но Белл попросила бренди, двойную порцию, и в ее голосе сквозило отчаяние, словно без спиртного она просто умрет. В новом платье из светло-желтого батиста с редким узором из белых ромашек, Козетта была очень мила; лицо ее светилось покоем и счастьем. Неяркий свет в ресторане льстил ей. В тот день она сделала прическу, и ее волосы блестели почти так же, как у Белл. В кои-то веки Козетта разговаривала не с Марком — они часто вели себя так, словно вокруг никого нет, — а вступила в спор с Луисом (кто бы мог подумать!) о том, нужно ли отдавать Гибралтар Испании.

Когда подошел официант, чтобы принять заказ, Луис как раз закончил рассказывать шутку о генерале Франко, сказавшем, что Британия может

оставить себе Гибралтар, если вернет ему Торремолинос. В этот момент к Марку сзади подошла женщина и тронула его за плечо. Ей было около сорока — смуглая, привлекательная, одетая проще и строже, чем большинство из нас. Он оглянулся и тут же встал, отодвинув стул, а женщина поцеловала его в щеку.

Мне почему-то доставляет удовольствие сказать, что Марк побледнел. В романе я написала бы, что кровь отхлынула от его лица или что он «густо» покраснел. Нет, Марк просто побледнел.

— Привет, Шейла, — поздоровался он, потом медленно и монотонно произнес наши имена, как будто с трудом оправлялся от шока: — Козетта, Эльза, Элизабет, Пердита...

— С Белл мы, конечно, знакомы, — перебила она его.

Женщина с улыбкой взглянула на Белл, которая держала в ладонях бокал с бренди и смотрела прямо перед собой. К этому времени уже стало ясно: что-то случилось или в ближайшее время должно случиться. Это понимали все, кто сидел за столом, но не женщина по имени Шейла, которая вертела головой, говорила «привет», «здравствуйте», потом произнесла:

— Я Шейла Хенрисон, невестка Марка.

Она повернулась и кивком указала на мужчину, сидевшего в компании, почти такой же большой, как наша. Тот встал, извинившись перед соседкой. Лицом мужчина не был похож на Марка и выглядел гораздо массивнее, но с первого взгляда становилось ясно, что они братья. Но это значит, что он приходится братом и Белл.

Наверное, Шейла Хенрисон была очень невнимательной женщиной. Молчание за нашим столом стало почти осязаемым, однако она как будто ничего не замечала. Ее муж подошел к нам, что-то сказал Марку и похлопал по плечу. Разве не странно, что я не запомнила имя брата Марка? Потом Шейла пустилась в объяснения. Они жили за границей, в Эр-Рияде, Бахрейне или где-то там еще, приехали домой на несколько недель в отпуск, пытались написать, а затем позвонить Марку, но не «имели удовольствия» — как она выразилась — пообщаться с ним, что неудивительно, поскольку Марк теперь не возвращался домой в Брук-Грин. Шейла предложила объединить компании и сесть всем вместе — персонал как-нибудь это устроит, — потому что они пришли сюда с друзьями, которые знают Марка и которым будет приятно снова его увидеть...

Первой подала голос Козетта. Она выглядела растерянной. Не несчастной, вовсе нет, просто озадаченной. Прервав поток слов Шейлы Хенрисон, что было ей не свойственно, она спросила брата Марка:

— Значит, Белл ваша сестра?

— Нет, — ответил он. — Почему вы так решили?

Я слышала, как Белл вскрикнула. Не от испуга, а скорее от отчаяния. Козетта не побледнела и не залилась краской, но на ее лице проступил возраст — она постарела прямо на наших глазах. Козетта протянула руку, словно хотела коснуться Марка. Он по-прежнему стоял, напрягшись и устремив взгляд в одну точку в дальнем конце ресторана. Застыл между невесткой и братом, как преступник, которого вот-вот арестуют. Брат Марка нервно засмеялся:

— Кажется, я сказал что-то лишнее.

В эту секунду подошел официант с тарелками в обеих руках, первыми из заказанных нами закусок. Козетта посмотрела на тарелку с артишоками, которую поставили перед ней, прикрыла рот ладонью и вышла из ресторана. Она шла быстро и неуверенно, как слепая, натываясь на людей и отодвигая с дороги стулья; сначала не могла открыть дверь, а потом отпустила, позволив той с грохотом захлопнуться за собой.

Все разом заговорили: Луис и Пердита спрашивали, что случилось, Эльза закатила глаза и сказала мне, что жалеет, что пришла, Белл в ярости стучала кулаками по столу, повторяя: «Черт, черт, черт, черт... о, черт!»

— Ради всего святого, что я такого сделал? — спросил брат Марка.

Марк не ответил. Он пошел за Козеттой. Иногда я задаю себе вопрос: заплатили ли бедные Луис и Пердита за еду, к которой, похоже, никто не притронулся? До меня донесся голос Луиса, сообщавшего официанту о неприятностях и о невозможности остаться. Пердиту я больше не видела — в отличие от ее мужа, но это уже другая история. Пробормотав, что нам очень жаль и мы тоже должны идти, я оставила их с братом Марка и его женой, которые пытались выяснить, что случилось, и последовала за Эльзой и Белл. Козетта исчезла, Марк тоже. Эльза спросила то, что не решалась произнести я:

— Почему ты сказала, что он твой брат?

Белл демонстративно пожала плечами. Потом ткнула в меня пальцем:

— Это была ее идея. Она спросила, не брат ли он мне, и я подумала: почему бы и нет? Мне показалось, что так будет лучше, и ничего бы не случилось, если бы эта глупая сука не открыла рот.

— Что значит «так будет лучше»?

Белл молчала.

— Он мой любовник, — наконец сказала она.

Кажется, я вскрикнула.

— Давно? — У меня был свой интерес, почти как у Козетты.

— Много лет.

Значит, мы с Козеттой в одной лодке. Когда я впервые увидела их вместе в «Глобальном опыте»? Три года назад...

— Он больше не твой любовник, — с жаром заявила я.

— Нам был нужен... — Белл умолкла, подыскивая слова, но выбрала самые неподходящие, — временный перерыв.

Мы шли по улице, не помню какой. Погода была теплой и влажной, темнеть еще не начало — ранний летний вечер. Такого рода потрясение причиняет боль, вроде колики, которая возникает после быстрого бега. Я чувствовала себя как после бега. Мне захотелось сесть, и я села. На ступеньки крыльца. Эльза остановилась и посмотрела на меня; ее лицо выражало сочувствие, но в то же время выглядело удивленным, Белл стояла чуть поодаль. Если бы меня попросили ее описать, я бы сказала, что она выглядела смущенной — очень необычное для нее состояние.

— Я не могу объяснить, — сказала она.

Эльза посмотрела на нее так, словно хотела ударить:

— Почему бы тебе не свалить?

Что Белл и сделала. Просто ушла от нас, высоко подняв голову. Дошла до перекрестка и повернула направо, скрывшись из виду. Мы с Эльзой еще немного посидели на ступеньках, пока я размышляла, что это — то есть, что Марк любовник Белл, — значит для меня и для Козетты, а потом поймали такси и поехали домой. Дом казался пустым. Я вышла на улицу, чтобы проверить, где машина Козетты. По-прежнему «Вольво», но не та, в которой мы переезжали сюда, а уже вторая по счету после нее. Найти место для машины на Аркэнджел-плейс становилось все труднее, но переулки еще оставались свободными. Я окинула взглядом улицу, заглянула в переулки, но «Вольво» не обнаружила, и от этого мне стало немного легче — я подумала, что Козетта и Марк могли куда-то поехать вместе. В любом случае я уже меньше волновалась за Козетту.

Мы с Эльзой вышли из дома, чтобы поесть, а потом стали ждать. Она ни о чем меня не спрашивала, а взяла со стола Козетты один из новых романов и принялась читать. Я убеждена, Эльза считала, что моя эмоциональная связь с Белл отличается от нашей с ней дружбы. Но тогда мне было все равно, и я даже этого не скрывала. Читать я не могла, а просто лежала в кресле, разглядывая украшенный лепниной потолок и похожую на паутину люстру, думала и страдала. Время приближалось к полуночи.

— У меня такое чувство, что мы больше не увидим Белл, — сказала я.

— Не все ли равно?

Я не ответила. Эльза прекрасно знала, что мне не все равно.

— Она сюда не вернется, — сказала я. — И за своими вещами тоже, они ей безразличны. Пойдет к кому-то еще, например к матери.

— А ты уверена, что у нее есть мать?

— Нет, не уверена. Я думала, у нее есть брат.

— Давным-давно, когда мы встретились в Торнхеме, Белл говорила мне, что у нее нет родителей, что она лишилась их в двенадцать лет. Так что твои слова о матери кажутся мне подозрительными.

— Точно так же она могла соврать и тебе.

— Совершенно верно, только оба утверждения одновременно не могут быть правдой.

— Интересно, что случилось, когда Белл было двенадцать? Она говорила, что ее родители стали жертвой несчастного случая или что-то в этом роде? А с ней что произошло?

— Она сказала мне только, что лишилась родителей, и ее поместили в какое-то заведение.

— Хочешь сказать, детский дом?

Эльза как-то странно посмотрела на меня:

— Не думаю, что это был детский дом, по крайней мере вначале. Потом — да. Я не знаю, что это.

Пока она говорила — неохотно, с сомнением, словно из нее приходилось вытягивать слова, — мы услышали, как внизу открылась входная дверь. Мы сидели в гостиной, и, как мне кажется, обе подумали, что это Козетта или Марк, а хорошо бы, Козетта и Марк. Кто-то — один — преодолел первый пролет, миновал нашу дверь и стал подниматься выше. Наверное, Белл. Мы слышали, как она, тяжело ступая, взбиралась по лестнице. Именно поэтому мы не были уверены, что это Белл, и вышли на площадку, прислушиваясь. Стояли, будто персонажи сказки о привидениях, услышавшие странные звуки и незнакомые шаги, держали друга за руки и смотрели вверх. Нелепый, истеричный поступок, но мы затаили дыхание, словно присутствовали при развязке драмы. Скрип 104-й ступеньки был слышен даже с нашей площадки. Дверь в спальню Белл закрылась.

Эльза улыбнулась своей кривой, ироничной улыбкой, а затем разрядила атмосферу, заметив:

— У нее нет матери.

Мы вернулись в гостиную, но спать совсем не хотелось, хотя шел уже второй час. Мы открыли стеклянную дверь и вышли на балкон. Ночь выдалась теплой и очень тихой. Но если прислушаться, можно было услышать музыку, две разные мелодии, а также другие звуки, тихий гул

транспорта и ритмичное постукивание, словно кто-то, проработав весь день, решил ночью повесить на стену полки и шкафчики. Листва была густой, как на деревенской улице, кроны деревьев неподвижно застыли. Дом напротив был увит виноградом, бледно-зеленые листья которого блестели в свете уличного фонаря.

Я с удивлением увидела «Вольво». Машина стояла на том месте, которое было пустым, когда мы с Эльзой выходили из дома. Мы видели только крышу автомобиля и понятия не имели, как долго он тут стоит. Мне пришло в голову, что нужно вернуться в комнату и выключить свет. Не могу сказать, сработала ли эта уловка, или погашенный свет остался незамеченным, но через пару секунд открылась водительская дверца, и из машины вышел Марк. Я едва удержалась от крика и почувствовала, как у меня перехватило дыхание. Что стало с Козеттой? Где она? Не может быть, что Марк ее не нашел и вернулся для того, чтобы взять машину и поехать на поиски.

Он обошел вокруг «Вольво» и открыл дверцу со стороны пассажира. Я вспомнила его неизменную вежливость. Козетта вышла сама, не опираясь на предложенную руку. Тем не менее они были вместе, вернулись вместе. Марк захлопнул дверцу, и они стояли, глядя друг на друга, а затем, прямо на улице, где все могли их видеть, безразличные к тому, наблюдают за ними или нет, заключили друг друга в объятия и замерли, щека к щеке.

Марк обнял Козетту за талию и повел к двери. Они скрылись из виду.

Эльза вежлива и дружелюбна с Белл, словно та всего лишь проехала без билета в метро. Помнит ли она тот ужин, бегство Белл и мои страдания? Мы все благополучно выдержали экзамен среднего возраста. После ленча, за кофе, я наблюдала за Белл, такой величественной и благородной, невозмутимой и... безопасной. Ее слова Эльзе о неприглядном зрелище казались нелепостью. Возможно, она так сказала потому, что с того дня, когда я гналась за ней в метро или когда пришла в ее комнату в Килбурне, она словно сбросила много лет. Белл снова молодела, ожила. Я видела, как Эльза переводит взгляд с ее лица на мое. Наверное, у меня просто разыгралось воображение, но мне казалось, что Эльза сравнивает нас, недоумевая, почему Белл, на долю которой досталось столько страданий, выглядит лучше Элизабет, почти не страдавшей?

Конечно, она ничего не сказала и, возможно, даже ничего такого не думала. Мы болтали о безобидных пустяках, и прошло уже часа два, а я все еще не задала Эльзе вопрос, обязательный для наших встреч — других способов получить ответ у меня не было. Эльза рассказала нам о своей

новой работе, новом мужчине, которого, возможно, ждала всю жизнь, хотя замуж за него не собирается, потому что больше никогда не выйдет замуж. Мы поведали о своем утреннем занятии, о дальнейших планах и намерении где-нибудь отдохнуть вместе. Я упомянула об отце и его приезде. А потом Белл встала и спросила, где у Эльзы ванная.

— У тебя есть ванная? — Вопрос прозвучал именно так, словно кому-то могло прийти в голову, что хозяйка этой очаровательной и со вкусом обставленной квартиры пользуется общественным туалетом и банями.

Когда Белл вышла, Эльза улыбнулась мне, и я поняла, что мы подумали об одном и том же. Может, Белл в чем-то и изменилась, но осталась такой же бестактной, невнимательной и абсолютно безразличной к правилам приличия. Я поспешно задала свой вопрос.

Эльза, похоже, меня поняла. Ее взгляд уперся в закрытую дверь.

— Полагаю, хорошо. Мы разговаривали по телефону пару недель назад.

— Я рада. Очень рада. Не думаю, — как часто я произносила эти слова, но всегда робко! — что речь заходила обо мне?

Такая конструкция предложения чрезвычайно удобна, правда? Можно обходиться без имен — на случай, если кто-то подслушивает под дверью.

— Нет, Лиззи, мне очень жаль. — Я кивнула. — У меня создалось впечатление, что даже упоминание о тебе причиняет ей сильную боль.

— Белл не спрашивала, — сказала я. — А сама я ничего не хочу говорить, пока она не спросит.

Я слышала, что Белл возвращается, слышала, как она остановилась у двери, прежде чем взяться за ручку. Она может подслушивать. Мы с Эльзой умолкли и переглянулись, ожидая, пока войдет Белл, охваченные страхом, зная, что она стоит по ту сторону двери, надеясь услышать тайны, не предназначенные для ее ушей.

Когда мы вернулись ко мне, в доме звонил телефон. Это было три дня назад, но кажется, что прошла вечность. Вдова, которую любил мой отец, но на которой не женился, не желая лишать меня наследства, позвонила, чтобы сообщить о его болезни; с ним случился удар. Белл вела себя странно. После возвращения от Эльзы она была тиха и задумчива. Услышав, что мой отец болен и я немедленно еду к нему в больницу в Уортинг, она спросила:

— Он умрет?

— Наверное.

— Я тут останусь одна, — сказала она. — Буду одна в доме. Не знаю, справлюсь ли.

— У тебя будут коты, — ответила я.

Я остановилась в доме отца, в поселке, где средний возраст жителей, как говорят, приближается к семидесяти. Я уже привыкла к этому, потому что каждый год приезжаю сюда на неделю, но в прошлом старалась выбирать время, когда проводится Арундельский фестиваль или в Чичестер приезжает хороший театр, чтобы мне было чем заняться. А однажды, четырнадцать лет назад, когда отец только купил дом, я провела тут целый месяц, захватив с собой пишущую машинку, — пыталась писать, пыталась казаться нормальной. Бедняга, он, наверное, думал, что должен заботиться обо мне на протяжении долгих лет, всю жизнь. Я не могла ему объяснить, что лишилась дома, друзей, что моя жизнь кончена, но сочинила достаточно убедительную версию для самой себя — нежелание жить в доме, где совершено убийство.

Почти все эти дни я провела в больнице у постели частично парализованного отца, который лежал с нелепо перекошенным лицом. Вне всякого сомнения, подобные чувства испытывает каждый, у кого умирает отец. Никогда раньше у меня не было такой глубокой депрессии, вплоть до физического недомогания. На меня навалилась невероятная усталость, как у Белл после выхода из тюрьмы, и я много спала. Засыпала на стуле у постели отца, а вернувшись вечером в его дом, дремала в кресле у телевизора. А ночью я спала плохо. Лежала с раскалывающейся от боли головой и думала. Наблюдала, как из темноты проступают фигуры и тени — независимо от того, закрыты или открыты у меня глаза, я вижу мужчин и женщин, которых раньше не встречала, странные лица, подобные лицам

незнакомцев, которых мы видим во сне. Мне всегда казалось, что одна из самых странных вещей на свете — это способность мозга придумывать людей для наших снов. Или они не придуманы? Может быть, мы их уже где-то видели, и их образ, словно фотография, запечатлелся у нас в сознании? Из толпы чужих лиц иногда выплывает лицо Козетты, а иногда Марка, но всегда по отдельности, разделенные множеством незнакомцев.

В ту ночь, четырнадцать лет назад, я быстро заснула — с облегчением. Но утром поняла, что если у Козетты, возможно, все хорошо, то у меня нет. Она сохранила Марка, но я потеряла Белл. Он был любовником Белл. Когда, спрашивала я себя, это было в последний раз? Когда Марк в последний раз занимался любовью с Белл? И вдруг поняла, когда. Той ночью, когда умерла Тетушка. Козетта умоляла Марка остаться, и я, святая наивность, направила его наверх, в комнату рядом со спальней Белл.

Другой ночью, после сцены в ресторане, когда они с Козеттой катались на машине — ехали, останавливались, снова ехали, выходили, чтобы прогуляться, сидели на скамейках в парке, — Марк ей все рассказал, был вынужден, потому что ничего другого ему не оставалось. Все выложил: план Белл и то, как он, сопротивляясь все больше и больше, пытался его осуществить. И Козетта его простила. Почему бы и нет? Трудно отказать в прощении человеку, любовь которого к тебе удержала от подлости. Но кто-то должен быть виноват. Не малодушный пылкий любовник, а козел отпущения. За эти долгие часы объяснений и оправданий Марк был обязан (ничего другого ему не оставалось) переложить вину на кого-то другого, убедить, что он лишь исполнитель, а стратегия и оригинальный замысел принадлежат не ему.

Не в привычках Козетты было посылать за кем-то, требовать объяснений. Она страдала, но молча. Козетта страдала, но у нее был Марк, который мог ослабить любые страдания, смягчить любой удар. Тогда я была невинна и не знала, что могла быть виновата в несчастьях Козетты. И даже чувствовала себя лишней в этом доме. Мне даже не приходило в голову, что Козетта может испытывать ко мне какие-либо чувства, кроме нежности, как у матери к ребенку, когда на первый план выходят ее собственные заботы. Я думала лишь о том, что при следующей встрече крепко обниму ее и прижму к себе.

На следующий день после полудня я встретила ее на лестнице. Лестница была такой большой, с таким огромным количеством ступенек по сравнению с размерами дома, что когда дом был полон жильцов, поднимаясь или спускаясь по лестнице, ты обязательно кого-нибудь

встречал. Теперь нас осталось пятеро, а Белл, вернувшись домой посреди ночи, не выходила из своей комнаты. Эльза ушла на работу, и в доме стало тихо и спокойно. Я спускалась из кабинета, довольно поздно выполнив утреннюю норму, а Козетта поднималась к себе в спальню из гостиной. На ней был халат, зеленое японское кимоно с белыми цветами, а светлые блестящие волосы ниспадали на плечи. Лицо бледное и осунувшееся, со следами слез, но пролились они еще до сна.

Она прошла бы мимо меня, не проронив ни слова, даже не бросив укоризненного взгляда, который сам по себе предполагает возможность прощения. Я взяла ее под локоть. Вы должны понимать, что тогда я понятия не имела, что меня можно в чем-то обвинить. Если я в чем-то и виновата, то лишь в том, что вместе с остальными стала свидетелем вчерашней сцены. Козетта прошла бы мимо меня, даже не взглянув, но она устала, чувства ее истощились, а когда вы так близки, как были мы с ней, живете вместе, словно мать с дочерью, разве можно обойтись без приветствий, вопросов, знаков? Любовь, в отличие от «влюбленности», воспринимается как нечто само собой разумеющееся.

— Как ты, Козетта?

Она остановилась и посмотрела на меня. За ее головой висел ветвистый канделябр с бусинами из муранского стекла, который так ярко сиял той ночью, когда Эсмонд включил свет. Козетта стряхнула мою руку, брезгливо, словно пиявку. Она смотрела мне в глаза, но как-то вяло, без чувства, без внимания. Я бы даже сказала, безразлично — если такое определение можно использовать в отношении Козетты.

Я сформулировала вопрос по-другому:

— Что случилось, Козетта? В чем дело?

Это очень странно, но когда человек, которого ты любишь, произносит твое имя, ты понимаешь, что все хорошо. Понимаешь, что все будет в порядке. Козетта не назвала меня по имени — и больше никогда не называла.

— Ты привела сюда эту женщину, — сказала она.

— Белл? — Я похолодела от страха. — Но я же не знала. — Даже тогда мне не хотелось говорить о лжи Белл. — Меня обманули точно так же, как тебя.

Козетта передернула плечами. Крепко держась за перила, она скользнула взглядом по винтовой лестнице, на самый верх. Голос ее остался тихим — этого она изменить не могла.

— Это была твоя идея представить Марка ее братом. — Я покачала головой, но она продолжала: — Ты дала ей какую-то книгу.

— Белл? Она за всю жизнь не прочла ни одной книги.

— Ей не обязательно было читать, — с горечью сказала Козетта. — Ты рассказала сюжет. Подкинула великолепную идею. Думаю, ты ей указала на сходство ситуации. Только я не молода и не красива, и я не умираю.

Это было настолько невероятно, что прошло несколько секунд, прежде чем до меня начал доходить смысл ее слов. Пока я стояла и смотрела на Козетту, она опустила взгляд с уходящей вверх винтовой лестницы на свои белые руки, стиснувшие перила, и тут из приоткрытой двери спальни послышался голос Марка:

— Козетта, где ты?

Она побежала к нему, захлопнув за собой дверь. Я замерла на мгновение, потом стала медленно спускаться. Я была потрясена и считала себя жертвой величайшей несправедливости. Наверное, именно поэтому даже тогда не сомневалась — как быстро мы собираемся с силами! — что смогу объяснить, смогу все исправить. Погоди немного, как сказала бы Эльза, погоди немного.

В кухне, куда я спустилась, чтобы приготовить себе поздний завтрак, я села за стол и задумалась над словами Козетты. Аппетит у меня пропал, но я налила себе немного ледяного белого вина, открытого накануне; из бутылки отпили бокал, а остальное поставили в холодильник. Залпом выпила вино, налила второй бокал и подумала, что начинаю понимать, почему люди пьют. Марк, конечно, меня выдал... нет, не так, ведь для того, чтобы тебя выдали, нужно совершить что-то нехорошее. Правильнее будет сказать, что он меня подставил, лжесвидетельствовал против меня, продал с потрохами. То есть заявил Козетте, что именно я посоветовала Белл взять пример с заговорщиков из «Крыльев голубки», именно я подсказала им план действий. Потягивая вино, я вспоминала, как Белл взяла книгу в моем кабинете и спросила, о чем она, вспоминала свой ответ.

«Мужчина и женщина помолвлены, но не могут пожениться, потому что у них нет денег, а девушка по имени Милли Тил смертельно больна и очень богата. Джеймс прямо не говорит, что с ней, но намекает, что это не туберкулез — первое приходит в голову. Я всегда считала, что имеется в виду лейкемия. Невеста предлагает своему жениху жениться на Милли. Когда Милли умрет, все деньги достанутся им, и они смогут пожениться».

Белл думала, что у Козетты рак. Марк женится на Козетте, которая умрет и оставит ему деньги. И Марк с Белл будут на них жить. Теперь я поняла фразу Белл о том, что, если красивые вещи ей недоступны, лучше не иметь ничего. Не иметь сейчас. Неудивительно, подумала я, что Белл явно хотела, чтобы Марк спал с Козеттой, раздражалась из-за того, что он

тянул время, ждала, что он быстро женится. Интересно, изменился ли ее план в тот день, когда она узнала, что Козетта не больна раком? Вряд ли. Вне всякого сомнения, Белл считала, что останется любовницей Марка и после его свадьбы (во всяком случае, их отношения возобновятся), и в этой роли сможет вместе с ним наслаждаться щедростью Козетты. Возможно, именно таким был ее план. Или она собиралась избавиться от Козетты?

Об этом я тогда не подумала. Эти мысли пришли мне в голову гораздо позже, когда я узнала, кто такая Белл, когда всплыли факты о ее сестре Сьюзен и возникли сомнения в самоубийстве Сайласа. В тот летний день в «Доме с лестницей» я думала только о том, что Марк и Белл пытались воплотить в жизнь сюжет романа и потерпели неудачу — точно так же, как провалился заговор в «Крыльях голубки».

Я не сказала, что день был очень жарким? Наверное, нет. Самым прохладным местом в доме оказалась кухня на первом этаже. Я открыла окна, но ничего не изменилось. Такое впечатление, что горячий и душный воздух с улицы просто сменил горячий и душный воздух внутри. Стеклопакеты на балконе были распахнуты настежь, но занавески не шевелились от ветра, оставались абсолютно неподвижными. На противоположной стороне улицы на плоскую крышу портика вышли мужчина и две девушки, расстелили одеяло, легли и стали пить вино. Держа в одной руке бутылку вина, а в другой — бокал, я поднималась по лестнице, останавливаясь у каждого открытого окна, наливала себе вино и выпивала — со мной такое случалось крайне редко. Когда живешь под дамокловым мечом хореи Хантингтона, обычно избегаешь всего, что делает тебя вялым или неловким, приводит к потере координации. От вина начала болеть голова и появилась сухость во рту, но мне хотелось еще, и я подумала, что нужно открыть другую бутылку и напиться до бесчувствия.

Козетта и Марк вышли из дома в половине четвертого — вместе. Вряд ли они меня видели. Я наблюдала за ними с балкона гостиной, где в конечном итоге устроилась со стаканом воды. Солнце казалось близким и каким-то мутным, сверкало, словно драгоценный камень сквозь серую вуаль. Козетта надела просторное платье без рукавов из полупрозрачной светлой ткани. На Марке были джинсы, но с пиджаком и галстуком. Они сели в машину, Марк, как обычно, за руль. Наверное, внутри было настоящее пекло, потому что Козетта несколько раз открывала и закрывала пассажирскую дверь, прежде чем машина тронулась с места. Потом я узнала, что они ездили в регистрационное бюро, договаривались о дате бракосочетания. Марк был так слаб и неуверен в себе, что даже не мог

сдержат смелое и благородное обещание отказаться от брака, чтобы никто не подумал, что он женится из-за денег.

Немного погодя я вышла в сад за домом, жаркий, пыльный, пропитанный запахом эвкалипта, и посмотрела на окно спальни Белл. Оно было открыто — обе фрамуги подняты до самого конца. Я хотела окликнуть ее, но потом передумала. Сама пошла наверх. Теперь мне в голову пришла мысль, что единственный способ смягчить сердце Козетты — заставить Белл объяснить, что это не моя вина и я не имею отношения к заговору. Наверное, я была пьяна, если рассчитывала, что Белл согласится. Я окликнула ее из-за двери и услышала какие-то звуки, словно Белл лежала на кровати, а потом спустила ноги на пол, однако она не ответила и дверь не открыла. Я пошла вниз. Интересно, сколько раз в тот день я поднималась и спускалась по ступенькам «Дома с лестницей»? Сколько раз выходила в сад и возвращалась в гостиную? Когда я волнуюсь, то не могу сидеть без движения: ерзаю, сажусь, встаю, расхаживаю по комнате, выглядываю из окон.

На балконе гостиной с решеткой Ланира, куда выходил новый жилец из красно-белой части переделанной комнаты, я остановилась и посмотрела вниз, сквозь поблекшие от жары листья платана и ракитника, сикомора и ивы, на пыльную дорогу, на крыши машин, отражавшие яркое солнце, на пожелтевшую траву, пробивавшуюся из трещин на тротуаре. Жара толстой, мягкой тканью окутывала мои руки.

Помните тот эпизод из Ветхого Завета, когда для Иисуса Навина остановилось солнце? Солнце остановилось над Гаваоном, а луна — над долиной. Я не видела солнца, расплавленный источник жары — оно словно растворилось в белом облаке собственного зноя, — но время остановилось, как оно останавливается, когда хочешь его поторопить. Я вернулась в дом, где было ни прохладнее, ни жарче, чем на улице, зачем-то спустилась по лестнице и прошла в сад, который казался мне серым, как плесень. Там я села за каменный стол, где когда-то — те дни казались далекими и ушедшими навсегда — сидела с Козеттой и Тетушкой, и Козетта, словно Мариана,^[58] жалобно спрашивала, почему никто не приходит.

Сидя там, я кое-что поняла. Поняла, что потеря Козетты будет худшей из возможных потерь, с которой не сравнится ни расставание с Белл, ни смерть моей бедной матери, ни разрыв с любовником или подругой. Я даже не могу подобрать этому определение. Квинтэссенция одиночества. Я любила только Козетту, какие бы глупости ни говорила о Белл, именно Козетта олицетворяла для меня дом; она была моим домом, моей избранной матерью.

Я не могла ее потерять. Должен существовать какой-то способ ей все объяснить, заставить ее понять. Но меня охватила паника, примитивный страх, тесно связанный с инстинктом самосохранения. Как будто без Козетты я не смогу сохранить себя, остаться собой. Как будто она моя настоящая мать, и я не могу ее потерять, потому что мать всегда можно найти, позвать, вернуть, несмотря на оскорбления, предательство, обиды и пренебрежение. Матери всегда прощают. Мой ужас объяснялся тем, что Козетта — хоть я и выбрала, любила ее больше, чем мать, — все же не была мне родной матерью, и между нами не существовало кровной связи, как у родителей с детьми. Камень гелиотроп, передаваемый в семье Дугласа, не перешел ко мне от нее.

Понимаете, я впадала в истерику. Возвращалась в дом, снова шла в сад, поднималась по лестнице в гостиную и выходила на балкон, а Марк с Козеттой все не возвращались, Белл не спускалась, Эльза не приходила с работы. Я оставалась на балконе, несмотря на жару, и — не знаю, что стало тому причиной, — пот ручейками стекал по моей коже, словно я только что вышла из ванной.

Подъехало такси. Машина остановилась у дома, и из нее вышел Луис Льянос. На нем были белые брюки в обтяжку и свободная белая рубашка из очень тонкой прозрачной ткани с вышивкой, и выглядел он очень стильно. Настоящий тореадор — для полной картины не хватало только черной шляпы. Расплатившись с таксистом, он поднял голову и помахал мне рукой, небрежно и беззаботно. Конечно, я понимала, что Луис ничего не знает, даже не подозревает, что близится конец света.

Я впустила его в дом.

Два дня назад в девять часов утра умер мой отец. Я выполнила обязательные формальности: зарегистрировала смерть, позвонила в похоронное бюро, встретила с поверенным отца. И необязательные тоже — утешила вдову, которая теперь хотела бы считаться его вдовой, и позвонила Белл.

Я с трудом представляю, какие слова сочувствия можно услышать от Белл. Что она скажет? Этого я никогда не узнаю, потому что мне уже некого терять, и случая для соболезнования больше не представится. Вчера днем на мое сообщение о смерти отца она отреагировала так:

— Хорошо, что он не мучился. — Потом прибавила: — Когда ты возвращаешься?

Когда-то я бы очень обрадовалась, услышав от нее такой вопрос, теперь же испытала легкое отвращение. Как это ни странно, мне не очень

хотелось домой: тут тихо, далеко от всего, что я знаю, безмятежная жизнь среди стариков, чья кровь давно успокоилась, страсти угасли. Предстоят похороны, и на них буду присутствовать я, вдова и, наверное, несколько соседей отца.

Первые похороны, к которым я как-то причастна, после тех, четырнадцатилетней давности, на которые я не пошла. Мне сказали, что мое присутствие было бы оскорблением. Белл, конечно, тоже не было, но по другим причинам. Убийцы приходят на похороны жертв только тогда, когда их преступление еще не раскрыто, а в случае с Белл раскрывать было нечего. Удивительно, но брат и невестка Марка, из-за которых все началось, появились на похоронах, чтобы продемонстрировать свои чувства к нему — любовь, уважение, — а скорее всего, просто ради приличия. Пришли также Пердита с Луисом, оба в поношенных, но эффектных черных костюмах, словно участники кастинга на танец смерти. Я ничего этого не видела, потому что меня там не было. Думаю, мне рассказала Эльза, хотя она явно не могла быть среди присутствовавших на похоронах. Луиса Льяноса последний раз я видела в тот невыносимо жаркий, пыльный день, когда он приехал на такси и спросил, как здоровье Козетты.

Я восприняла его расспросы — наверное, несправедливо — как желание выяснить, что случилось вчера вечером. Узнать всю подноготную. Злясь на весь мир, кипя от возмущения — кроме того, от выпитого вина меня стало подташнивать, — я пыталась заставить его признаться, что ему на самом деле нужно.

— Почему ты думаешь, что с ней что-то не в порядке?

— Разве счастливые люди, приятно проводящие время, ни с того ни с сего выбегают из ресторана? Ты же знаешь, Элизабет, что так не бывает.

Меня спасла дурнота.

— Извини, пожалуйста, Луис, — пробормотала я. — Минутку.

Выбегая из комнаты, я видела, как он кивает и улыбается, слышала его сочувственный голос:

— Да, тебя сейчас вырвет.

Меня вырвало. Я едва успела добежать до ванной. Потом, мучимая нестерпимой жаждой, я бросила Луиса — мне уже было наплевать — и пошла в кухню, где принялась пить воду, стакан за стаканом. Луис последовал за мной, остановился в дверях и стал наблюдать за мной.

— Где Козетта? — спросил он.

— Понятия не имею, — ответила я. Смысла во враждебности или в каких-либо объяснениях уже не было. — Пойдем в сад. Может, теперь там немного прохладнее.

— Почему ты пьешь, Элизабет?

Он хотел спросить: почему ты напилась? Луис всегда задавал вопросы — и, вне всякого сомнения, продолжает задавать. Так всегда ведут себя люди, не очень хорошо владеющие языком, на котором им приходится разговаривать. Я сама так поступаю, пытаюсь общаться на французском или итальянском. Луису не под силу настоящий разговор на английском. Поэтому он задает вопросы и, следует отдать ему должное, внимательно слушает ответы. Если кто-то готов ему отвечать. Я не была готова, по крайней мере в тот день, и лишь нетерпеливо пожала плечами. И не готова заварить для него чай или открыть бутылку вина, разделить которую с ним все равно была не в состоянии. Ему пришлось довольствоваться апельсиновым соком из кувшина. Мы вынесли в сад поднос с кувшином и двумя стаканами.

Таким образом, Луис Льянос оказался еще одним свидетелем смерти, которая вскоре должна была случиться.

К тому времени солнце уже опустилось, и половина сада оказалась в тени, а свет во второй половине потускнел и словно подернулся дымкой. Воздух был неподвижным и сухим, а на каменном столе лежало несколько опавших листьев, предвестники осени. Со ствола эвкалипта свисали ленты серебристой коры, словно шкура освежеванного животного. Серый цвет казался результатом засухи, а не естественным свойством листьев, стеблей и хилых цветов сада.

Я не помню, чтобы хоть раз видела насекомых в саду, даже бабочку-капустницу, пчелу или какую-нибудь мясную муху с ярким брюшком. Птицы, наверное, были, скорее всего, воробьями, но я не помню. Однажды я подняла большой белесый камень, похожий на кусок мрамора, гигантский гольш, и из-под него в разные стороны разбежались мокрицы. Но их вряд ли можно считать насекомыми, как и пауков. Стены из кирпича, камня и гальки были достаточно высокими, чтобы скрывать сад от взглядов соседей, и над стенами возвышались только ветви и листья, серые или уже желтеющие. Внутри все было серым: цветы, листья, вазы и выцветшая мебель, тени и небо — яркое, но тоже серое.

Я сидела тут в последний раз, и этот день был практически последним в «Доме с лестницей»; я последний раз говорила с беднягой Луисом, скучным и вызывающим раздражение, с его тщеславием, манерностью и бесконечными вопросами, которые теперь вылились в допрос: зачем Козетте такой сад, почему она поддерживает его в таком виде, почему вообще купила этот дом? Луис размахивал длинными красивыми руками, называя «Дом с лестницей» «слоном, настоящим слоном», чего я никак не

могла понять, пока не сообразила, что он пропустил важное прилагательное.

Все равно я его почти не слушала. Взглянув наверх, я увидела голову Белл, появившуюся над подоконником, словно не прикрепленную к телу, как будто туда закатилась отсеченная голова. Она лежала на оконной раме щекой вниз, а пучок светлых волос свешивался на узкий каменный карниз. Снизу это выглядело именно так, хотя Белл, разумеется, просто лежала на полу. Я еще увижу ее, но мельком, и уже не поговорю — слова покажутся неуместными, какой-то нелепостью, гротеском.

Вернулась машина. Я ее слышала. Луис мог принять ее за такси, но я, в отличие от него, узнала характерный звук мотора автомобиля Козетты. Наконец, он спросил:

— Почему ты молчишь, Элизабет? Почему ты со мной не разговариваешь?

— Мне плохо, — сказала я, откинувшись на спинку кресла и закрыла глаза.

Меня переполняло желание увидеть Козетту, чтобы она вышла и сказала, что все это ошибка, и она не понимает, что на нее нашло, и... просит у меня прощения. Я изнывала от желания что-то сделать: вскочить, побежать в дом, броситься к ней. Но что-то мне подсказывало, что я не должна этого делать — это стало бы катастрофой. Я должна заставить себя ждать, если смогу, если хватит сил.

Теперь, думала я, Марк с Козеттой уже вошли в дом. Они обязательно выйдут в сад и поговорят с нами. Конечно, я не знала цели их поездки, но чувствовала, что произошло нечто очень важное. Чувствовала, что у них есть новости — возможно, покупка дома. А Луис ничего не знал. Я открыла глаза и увидела, что он обиженно смотрит на меня.

— Похоже, Козетта вернулась. Кажется, я слышала машину.

Луис спросил, знает ли Козетта, что он здесь. Это привело меня в ярость. Мне хотелось спросить, не оставил ли он за собой следов, не разматывал ли клубок ниток, когда шел по коридору в столовую, выходил через стеклянные двери в сад. Но я лишь предложила ему пойти и спросить самому.

Я ждала, что Козетта вернется вместе с ним. Я ждала, и солнце остановилось. Прошло несколько часов — или пять минут. Мое состояние не имело никакого отношения к выпитому вину. Я помню, что вытянула руки на столе и положила на них голову. Наконец, вернулся Луис — один.

Маловероятно, что я когда-нибудь вернусь в дом отца. Вчера я

приехала домой, попросив поверенного позаботиться о продаже. Выяснилось, что можно попросить — и получить! — за него невероятную сумму. Удивили меня и оставленные отцом деньги, около 20 000 фунтов.

— Бери, — говорит Белл, узнав об этом, — разве что поделишься со мной. — Она смеется, чтобы я знала, что это шутка. Но потом прибавляет: — Теперь ты сможешь купить нам дом побольше.

Хорошая мысль. Я могу купить достаточно большой дом, чтобы в одной половине жила она, а в другой — я. Или купить квартиру и навсегда избавиться от Белл. Нет, я этого не сделаю. Чувство обреченности усиливает депрессию, в которой я пребываю, окрашивает ее в серые тона. Мне никуда не деться от Белл, что бы ни случилось. Наконец она отказалась от черного цвета и сегодня одета в серое. На ней тонкий хлопковый трикотаж цвета ланаты, крестовника и эвкалипта, но эти вещи ей не идут, в них она выглядит ведьмой, красавицей королевой-колдуньей или злой феей-крестной.

Я веду себя глупо и выдумываю всякую чушь, потому что сегодня Белл очень ласкова со мной, добрее, чем когда-либо. Она рассказывает, что виделась со своим куратором из службы пробации, и они пришли к согласию, что Белл нужно найти работу, заняться чем-то полезным.

— Я пообещала. Это проще, чем отказать.

Коты устроились на Белл. Маленький разлегся у нее на коленях, а большой — наполовину на спинке кресла, а наполовину на плече Белл. Они полностью признали ее и теперь даже предпочитали мне. Она гладит большого, прижимая его мордочку к своей шее.

— Естественно, я больше не буду работать. Перед освобождением нас заставляли работать в городе — я тебе не рассказывала?

Я недоверчиво покачала головой.

— В больнице, мыть палаты. Мне платили. Все деньги я тратила на сигареты.

Я знаю, что она выжидает. Заполняет пустоту словами, провоцируя мои расспросы, откладывая свой вопрос, тот, который она должна задать. Я молчу, не поддаваясь искушению.

— Тебе не интересно, что еще я делала в твое отсутствие?

— Я знаю, о чем ты хочешь мне рассказать.

— Звонила Эльза, пригласила меня в гости, и я пошла. Еще гуляла, дошла пешком до Аркэнджел-плейс и взглянула на дом — вот так! — Она искоса смотрит на меня и накрывает ладонью кота, словно собирается убежать, забрав его с собой. — Смотрела телик. Видела Марка.

— Что ты имеешь в виду, Белл? — Голос у меня вдруг охрип. — Что

значит «видела Марка»?

— Видела Марка по телику.

— Он же не снимался — только радио, и ты это знаешь.

— Марк играл всего в одном фильме, разве ты не помнишь? Еще до вашего знакомства. Это был сезон Майкла Кейна, и Марк сыграл небольшую роль в фильме с Майклом Кейном... Забавно было его увидеть, и очень странно. Помнишь, ты как-то говорила о категории разочарований? Так себе фильм, сплошное разочарование.

Мы посмотрели друг на друга, глаза в глаза. У меня возникло ощущение, что Белл читает мои мысли, или их сила так велика, что они переносятся в ее голову. Я представляла, как еще один человек смотрит этот старый фильм — с неизменной любовью? Безразлично? Или спокойно?

На этот раз мысли действительно были прочитаны — или переданы.

— Лиззи, — говорит она, — что стало с Козеттой?

— Я все гадала, когда ты спросишь.

— Она мертва?

— Нет, жива. Вышла замуж за Мориса Бейли и вернулась в Голдерс-Грин.

Белл потрясена и становится бледной, как полотно:

— Я думала, Козетта умерла, она должна была умереть.

— Почему? Ей только семьдесят.

— И она вышла за того смешного старика?

— Морис всего на восемь лет старше ее. Думаю, это считается вполне приемлемым. Такие люди, как супруги Касл и родственники Козетты, решили, что это наилучший выход. Наверное, подумали, что Козетта, наконец, образумилась. Вдовец, довольно состоятельный, с собственным домом, даже большим, чем Гарт-Мэнор.

— Почему ты говоришь «наверное»? Не знаешь?

— Нет, Белл, не знаю. Могу судить только по рассказам Эльзы. Она поддерживает отношения с Козеттой, а я — нет, не могу.

— Почему? Что ты имеешь в виду?

Ей можно и рассказать. Я никому не рассказывала, только Эльзе. Остальным неинтересно. Да и с чего бы? Все ссорятся с друзьями, дружба имеет обыкновение заканчиваться — в основном из-за неупотребления и пренебрежения, но иногда в результате ссоры.

— Козетта с тех пор со мной не разговаривает. Она больше не говорила со мной, так и не простила. Понимаешь, Козетта думает, что я ее предала — единственное, чего она не терпит.

— Ты могла бы объясниться.

— У меня не было возможности. После того как это случилось, в тот же вечер, она уехала из «Дома с лестницей»; приехал ее брат Леон и увез куда-то в Севеноукс. Я ей туда звонила, но трубку взяла жена Леонарда, которая сказала, что Козетта больна и не может ни с кем говорить. Я хотела написать, но не знала, что. Мы с Эльзой все еще были в «Доме с лестницей», одни. Мне пришло письмо от поверенного Козетты...

Я вдруг понимаю, как трудно мне об этом говорить. Голос дрожит, глаза наполнились слезами. Но Белл настаивает, и она все понимает неправильно:

— Ты хочешь сказать, что Козетта через поверенного предупреждала, чтобы ты не пыталась с ней связаться? Да? Ни за что бы не поверила.

— Нет, Белл, он написал, что Козетта хочет отдать мне «Дом с лестницей», оформить дарственную.

Ее лицо меняется, становится жадным, алчным, глаза блестят от

вождедения:

— Она тебе его отдала? Даже тогда дом стоил целое состояние.

— Не говори глупости. Думаешь, я его взяла? И в мыслях не было. Она считала дом компенсацией за себя, за расставание с ней. Я ответила поверенному, что мне не нужен ни дом, ни вырученные за него деньги, мне не нужна компенсация за потерю Козетты.

— И больше ты с ней не общалась?

— После твоего... суда Козетта куда-то уехала, а когда вернулась, я не могла ее найти, не знала, где она. Наверное, не очень старалась. Понимаешь, я знала ее, знала, как она относится к предательству. Это единственное, чего она не могла простить. Потом Эльза сказала, что Козетта вышла замуж, я тоже вышла замуж, а потом было уже поздно.

Вернувшись из регистрационного бюро, Марк и Козетта прошли прямо в гостиную, где их нашел Луис. Они поделились с ним новостью — хранить тайну уже не было нужды. Они женятся. Свадьба состоится через три недели. Я не знаю, что именно они говорили, потому что слышала только слова Луиса, который вышел в сад попрощаться со мной, а рассказчик из него неважный. Однако Козетта упомянула о разнице в возрасте, и я могу представить, что она сказала: «Нам пришлось указать свой возраст в анкете, и это было немного унижительно, но не так, как произносить вслух».

Луис, проявив не свойственную ему проницательность, должно быть, понял, что его присутствие не входит в число их самых заветных желаний. Разумеется, Козетта этого не сказала, уговаривала его остаться, съездить домой за Пердитой, всем вместе где-нибудь поужинать. Вероятно, Марк не стал возражать, когда Луис нехотя ответил, что ему нужно идти.

Оставшись вдвоем, они попытались разобраться в потоке сомнений, колебаний и неуверенности, с прошлого вечера заполнявших их разговор между островками любви, ласк и планов на будущее. Марк должен сказать Белл. Или они оба должны сказать Белл. Она должна знать.

Дело в том, и это самое ужасное, что Козетта не знала, что именно Марк должен был сказать Белл. Не представляла, как повлияет на Белл известие, что ее любовник на самом деле «любит» Козетту. Понимаете, она думала, самое худшее — это что Белл узнает об их намерении пожениться и о том, что лишится дома, и убедила себя, что компенсация должна смягчить этот удар. В том, что касается замены людей домами, Козетта была безнадежно щедра, просто неустрашима!

Так она представляла себе самое худшее. Марк, разумеется, знал, что к

чему, подозревал, с чем придется иметь дело в противостоянии с Белл. Вне всякого сомнения, он боялся, что Белл пойдет к Козетте и расскажет об их с Марком первоначальных планах, причем без извинений и оправданий (и перекладывания вины на другого), как поступил Марк, признаваясь Козетте, а грубо и некрасиво, цитируя все, что было произнесено, вспоминая о смехе, не скрывая жадности и низменных желаний.

Вы же понимаете, что это лишь мое воображение? Понимаете, что я там не присутствовала, и Луис тоже, что Эльза еще не вернулась, и Марк с Козеттой были одни? Хотя в любом случае мне вряд ли удалось бы заглянуть в душу Марка. Никто точно не знает, что он думал, чего боялся, хотя всем известны слова, сказанные им в комнате Белл. Он очень боялся туда подниматься. Предпочел бы отложить это навсегда, вечно сидеть в запертой гостиной, теплой и тихой, на диване рядом с Козеттой, обняв ее одной рукой, время от времени приподнимая ее голову со своего плеча, поворачивая к себе и целуя в губы. По большей части молча и неподвижно, потому что ужасные события, тревоги и волнения прошедших двадцати четырех часов, любовь — и, конечно, старание и тяжелый, вдохновенный труд! — чудесным образом превратили в безмятежность, испрошенное и подаренное прощение, низвели до благословенного мира.

Если бы не Белл, если бы не дело, которое требовалось завершить. Наверное, он сказал Козетте, что боится — он ее не стеснялся, — но не стал объяснять, почему. Может, Марк видел в Козетте мать, а не только любовницу, воплощение материнства, которой он мог признаться во всем, доверить любые страхи?

Думаю, Козетта сказала, что она сама это сделает, но Марк возражал. Он знал, что Белл не поверит Козетте. Затем она сказала, что нужно быстрее покончить с этим делом. Чем дольше тянешь, тем хуже. Вероятно, предложила пригласить Белл на ужин. Я не очень преувеличиваю, когда говорю, что Козетта считала, что плотный ужин в шикарном ресторане способен уладить почти все.

Марк пошел наверх, преодолев все 106 ступенек, или сколько их там, от гостиной до самого верха. Постучал в дверь, окликнул Белл. Не знаю, услышал ли он ответ или просто вошел без приглашения. Белл лежала на полу, высунув голову из окна, в котором были подняты до конца две фрамуги. Суровая комната, почти без мебели, с одеждой в коробках и разбросанной по кровати, с картинами Сайласа вдоль стен. Марк вошел и закрыл за собой дверь, но запирать не стал. Наверное, не хотел. Сообщил Белл, что должен ей кое-то сказать.

После того как она это сделала, но еще до приезда полиции, Белл

рассказала нам с Эльзой, что произошло. Странно, почему она, так хорошо разбиравшаяся в людях, не догадалась об истинных чувствах Марка?

— Он сказал, что любит ее. Этот дурак стоял у окна, открытого окна, и смотрел на улицу. Я знала, что он собирается на ней жениться, это было частью плана, и все шло отлично, просто великолепно. Какое мне дело до этого проклятого дома? Я не хотела тут жить. Но он ее любит? Собирается уехать, чтобы жить с ней, только с ней, оставив меня в дерьме? Он говорил, что любит ее, и я знала, что этот идиот не врет, что так оно и есть. Он сказал: «Я знаю, что мы с тобой собирались сделать, Белл, мне этого не забыть, как бы я ни хотел, и от одной мысли об этом мне становится плохо. Я люблю Козетту, как никогда никого не любил. И должен тебе сказать, что мне нужна она, только она, до конца наших дней». Он повернул свое глупое лицо и посмотрел на небо, будто там были поющие ангелы.

Потом пришла она. Постучала в дверь, вошла и сказала, что должна объясниться. Тогда я это сделала. Я хотела сделать это в ее присутствии. Ты знаешь, что. Вскочила, подбежала к нему и толкнула. Я этого хотела, это было так здорово... до того, а после я хотела поймать его, вернуть назад. Ты слышала, как он кричал, Лиззи, слышала, как он кричал?

Этого я никогда не забуду. Считается, что с большой высоты человек падает молча, что шок его парализует. Но Марк, падая, кричал — его крик, вопль ужаса, вспорол тихий летний и душный вечер. Но этот вопль, эта квинтэссенция страха не идет ни в какое сравнение с ударом тела о каменную плитку серого сада; звук, который я даже теперь не могу описать, не в состоянии хотя бы приблизительно передать ужас удара о землю чего-то твердого и одновременно жидкого, звук распадающегося человеческого тела, разрываемой плоти и ломающихся костей.

В тот момент мы с Луисом были в доме, за стеклянными дверьми столовой. В таких обстоятельствах ты не думаешь и не застываешь на месте. Ты бежишь. Или убегаешь. Мы оба бросились в сад, увидели на сером камне исковерканное тело, похожее на бесформенное пятно, вскрикнули и кинулись друг к другу. Обнявшись, как любовники, мы покачивались и стонали.

Плача, стелая, прижимаясь друг к другу, мы отвернулись от того, что лежало на земле, и, спотыкаясь, пошли к стеклянным дверям; в столовой сначала появилась Эльза, а потом Козетта, которая оттолкнула ее, не замечая ничего и никого на своем пути, выскочила в сад и упала на тело Марка. Она так и лежала, пока ее не увели, и я видела, что она вся в крови, словно сама получила смертельную рану.

Я потеряла счет времени и не понимала, что происходит. Через десять минут или через час спустилась Белл и заговорила с нами. Со мной и с Эльзой. Где был Луис? Я обнаружила, что понятия не имею, куда делся Луис. Кто-то позвонил в полицию, но вряд ли это были мы. Наверное, проходивший мимо сосед. Может, крик Марка, разнесшийся по Ноттинг-Хиллу, собрал у наших ворот небольшую толпу? Я слышала звуки сирен задолго до приезда полиции, но потом выяснилось, что это были пожарные, тушившие огонь в Уэстборн-Гроув.

Полицейский врач осторожно поднял Козетту с тела Марка. Ее лицо было ужасным, измазанное кровью, искаженное до неузнаваемости невыносимой мукой. Ее положили на диван, где лежало тело Тетушки в ночь ее смерти. Врач сделал Козетте укол успокоительного, но если она и заснула, сон был не очень глубоким и не помешал Леонардо, приехавшему позже, забрать ее с собой.

Больше я ее не видела.

Говорили, она давала показания на суде над Белл. Нас с Эльзой не вызывали. Белл рассказала и полиции, и врачу все, что она сделала, и казалось, даже гордилась этим; она все рассказала бы и в Центральном уголовном суде, если бы адвокат не посоветовал ей не давать показания. Английские законы предусматривают для убийцы только одно наказание — пожизненное заключение. Обычно приговоренные к пожизненному заключению выходят через десять лет, если судья или присяжные специально не оговаривают более длительный срок. Именно так произошло в деле Белл, поскольку после вынесения приговора, когда стало возможным открыть суду прежние правонарушения, было оглашено, что в возрасте двенадцати лет Белл, будучи средним ребенком в семье (старшему мальчику было пятнадцать), убила маленькую сестру.

Те таинственные годы, о которых Белл иногда рассказывала намеками, но по большей части умалчивала, она провела в специальном отделении женской открытой тюрьмы, созданном для нее одной. Она училась и, несмотря на то что редко или вообще никогда не оставалась одна, страдала от одиночества. В шестнадцать лет — с ней явно не знали, что делать, — ее перевели в детский дом и передали под опеку местных властей. За свою жизнь я слышала много рассказов о том, как в детстве люди пытались убить младшего брата или сестру, которые, как они считали, украли у них нежную родительскую любовь, которая прежде предназначалась лишь одному потенциальному убийце. Козетта однажды призналась мне, что пыталась убить Оливера, напихав ему в нос и рот цинковую мазь с касторовым маслом, но в комнату вовремя вошла мать. У большинства

детей ничего не выходит, но лишь из-за неумения или своевременного вмешательства взрослых. У Козетты не вышло, потому что в комнату вошла мать. У Белл вышло. Вернись ее мать на две минуты раньше, Белл не задушила бы двухлетнюю Сьюзен — это было бы несостоявшееся насильственное действие со стороны ребенка, обезумевшего от ревности.

Но Белл постигла то, что большинству из нас не суждено постичь: однажды убивший может убить вновь. Лиха беда начало.

— Должно быть, Козетта теперь фантастически богата, — задумчиво сказала Белл. — Я имею в виду, твои слова, что старик тоже не беден, а умереть он должен первым.

Если Белл не выбирает слов, то мне тоже плевать:

— Ты бы убила Козетту?

Характерный косой взгляд. Поджатые губы. Она выглядит здоровой и сильной, с надеждой смотрит в будущее.

— Я думала, что она умирает, ведь так? Мне бы не пришлось ее убивать, если бы она была смертельно больна, в чем я не сомневалась. — Белл как-то странно смотрит на меня — вопросительно, задумчиво и абсолютно спокойно — и уже другим тоном прибавляет: — Послушай, а почему ты не пыталась с ней встретиться?

— Наверное, потому, что уже ничего не вернешь. Ссора, ее обвинения и моя неспособность их опровергнуть, годы молчания — все это будет всегда разделять нас. — Я вдруг поняла, что Белл все равно не поймет. Ей недоступны нюансы человеческих отношений, оттенки любви. Она ничего не знает о высоких отношениях, о своего рода невинности, присутствовавшей в нашей с Козеттой дружбе, похожей на отношения матери и ребенка, дружбе, которая выглядела прочной, но оказалась разрушенной первым же ударом извне. — Не думай, что я не оценила твою бескорыстную попытку обеспечить мне наследство, — сказала я. — Но тебе не кажется, что твое присутствие в моей жизни может стать непреодолимым препятствием?

— Нет, если у нас будет большой дом, разделенный на две половины. Ей не обязательно меня видеть. Кроме того, — нет, Белл не меняется, осталась такой же, откровенной, безжалостной и безнадежно эгоистичной, — я тоже могу ей кое-что предъявить. Не забывай, она увела у меня любовника.

Словно и не было этих лет. Словно Марк жив, а сама Белл не провела четырнадцать лет в тюрьме. Козетта говорила, что хотела бы уводить чужих мужей, говорила как о недостижимой мечте, но мечта стала явью:

Козетта увела чужого мужчину, ей это удалось.

— Ты никогда не рассказывала, как вы с ним познакомились, — сказала я, пытаюсь отвлечь Белл от Козетты. — Сколько вы уже были знакомы до того, как ты привела его в «Дом с лестницей»?

Она странно посмотрела на меня, искоса, задумчиво, будто оценивала, как я отнесусь к ее словам, — простое любопытство, которое ее не остановит.

— Мы познакомились в «Глобальном опыте».

— Нет, это я его там впервые увидела. Вы сидели за одним столиком, и я подумала, что вы брат и сестра.

— Ты сама подсказала мне эту мысль. — Кривая, мудрая улыбка. — У тебя отлично получалось подкидывать мне идеи, Лиззи. — Еще сигарета, и взгляд за облачком дыма становится жестким. — У меня есть настоящий брат, ты знаешь. Мы не виделись тысячу лет. Когда ты спросила о Марке, я сначала растерялась. Подумала: это Алан, но откуда он тут? Потом посмотрела и увидела, что не он. Но тебе ответила «да». Алан, мой настоящий брат, уродлив и глуп — то есть был и, наверное, остался таким, — а Марк был красивым, правда? Я подумала, что назову его братом, а потом как-нибудь с ним познакомлюсь. Забавно, правда? Я никогда его раньше не видела.

Я знаю, что она лгала ради удовольствия. Собственный голос кажется мне чужим:

— Не верю. Этого не может быть. Он сидел за твоим столиком.

— Это был не мой столик. Я просто за ним сидела. На всех не хватало столов. Там были и другие — понятия не имею, кто они. Когда Марк вернулся — он тоже был один, — я сказала, что его принимают за моего брата. Ему не кажется, что мы похожи? Так я его спросила. Вот так, Лиззи, все и началось. Мы выпили, а потом поехали к нему. Марк сказал, что рад, что он не мой брат.

— Это пригодилось потом. Бесполезно пытаться жениться на Козетте, если бы она знала, что Марк был моим любовником. Брат гораздо лучше. Обе твои идеи были очень хороши — и они сработали бы, не будь я такой дурой!

Значит, я действительно виновата, все случилось из-за моих слов и поступков, и Козетта была права, обвиняя меня. Возможно, дело в головной боли, но все это выглядит нереальным, и любое действие, любой поступок кажутся невозможными. Уже несколько недель я не написала ни строчки, и если головная боль появляется и исчезает, то депрессия не отпускает ни на минуту. И еще кое-что, о чем я никогда не слышала. Вечером я ложусь в

постель и засыпаю, но уже через несколько секунд просыпаюсь — в таком ужасе и панике, в таком неопишемом страхе перед самой жизнью, что все мое тело дергается и извивается, а широко раскрытые глаза с ужасом всматриваются в темноту. Минут через десять или около того все проходит, и я возвращаюсь к уже привычной мирной и спокойной депрессии, и в конце концов засыпаю. Что это? Почему оно приходит ко мне?

Я рассказываю Белл. Ей бесполезно о таком говорить, но я все равно рассказываю. Включи свет, предлагает она, или выпей что-нибудь. Я попыталась. Но лампочка в ночнике перегорела, и щелканье выключателем ни к чему не привело, и хотя мне казалось, что я крепко держу бокал, он выскользнул на пол. Я его уронила, а вместе с ним часы, аспирин и кольцо с гелиотропом. Поэтому теперь я все время ношу перстень, никогда его не снимаю.

Перед тем как пойти к адвокату, я задала Белл один вопрос. Спросила, как она понимает любовь. Белл задумалась, но ненадолго:

— Быть для кого-то главным. Когда ты самый главный человек в чьей-то жизни.

— А для тебя самой? Когда ты сама любишь?

Она никогда об этом не задумывалась. Для нее любовь — это нечто такое, что ты получаешь. Или не получаешь.

— У отца и матери я была главной, пока не появилась Сьюзен. Я думала, что была главной у Марка. У Сайласа не было главных, разве что он сам. — Я видела, что Белл несколько не смущается. Она никогда не стеснялась обсуждать людей, включая себя саму. — Вот что я тебе скажу: ты должна хотеть, чтобы этот человек хотел тебя, а все остальное не считается.

Лучше в это не углубляться. Так безопаснее. Неужели я все еще испытываю к ней какие-то чувства? А она ко мне, хотя бы чуть-чуть? В жизни Белл есть еще одна страсть, о которой мы никогда не говорили и которая осталась не удовлетворенной. Может, именно она и есть причина и суть разочарования и отчаяния? Приносящая невыносимые страдания, но недостижимая? Я сказала, что мы никогда об этом не говорили, но наш визит к адвокату имеет к ней прямое отношение.

Белл не заходит в кабинет, хотя вместе со мной проделала весь путь до конторы, которая находится в Кенсингтоне. Говорит, что этот час проведет в универмаге «Харродс», где не была четырнадцать лет. Среди антиквариата, драгоценностей и тканей. В «Харродсе» мне больше всего нравится зоопарк, но в ответ на мое замечание Белл лишь непонимающе смотрит на меня.

Я пришла составлять завещание. Это предложение Белл, потому что я теперь действительно богата, и если умру, не оставив завещания, кому все это достанется — два дома и сбережения отца? Государству? У меня никого нет. Кузина Лили уже умерла, все родственники умерли — или по очевидным причинам не появлялись на свет. Я оставила все Белл, за исключением 1000 фунтов Эльзе как моему душеприказчику.

— Миссис Сэнджер старше вас, — заметил адвокат.

— Да, знаю. — Больше я ничего не сказала, а он не спрашивал. Если я стану объяснять, у меня разболится голова.

Когда он составит завещание, то пришлет его мне на подпись, в присутствии двух свидетелей — каждый должен будет расписаться в присутствии другого. Сказал, что отправит почтой в пятницу, и это значит, что письмо придет завтра. Свидетелями будут соседи. Они кормили котов в мое отсутствие, пока не появилась Белл. Время от времени мы приходим к ним пропустить по стаканчику — или они к нам. Мы вызываем у них любопытство; судя по взглядам, которыми они обмениваются, соседи принимают нас за лесбиянок, и это их, похоже, возбуждает.

Я не рассказала Белл еще об одном поступке, о письме Козетте. Я твердо решила этого не делать, но рассказ Белл о первой встрече с Марком заставил меня передумать. Доказав мою вину, хотя и неосознанную, этот рассказ все изменил. Теперь я понимаю, что Козетта должна меня простить, и знаю, что она простит. После того разговора с Белл я представляю, что Козетта вернулась к прежним привычкам, только в доме Мориса Бейли. Воображаю, как она сажает лилии в саду. Откуда я знаю, что она опять стала важной персоной в ассоциации жителей района Велграт, членом «Союза горожанок», членом совета попечителей школы и добровольным социальным работником? Просто знаю. И еще знаю, что она опять носит серые шерстяные костюмы, пошитые портным Мориса Бейли. Знаю, что у нее «Вольво», а у него «Ягуар». Перпетуа приходит убирать. Джимми ухаживает за садом, а Дон Касл рассказывает Козетте, сколько беспокойства доставляют внуки, но она не представляет, что бы без них делала. Я мечтаю о Козетте и о многом другом. Мечтаю, что она придет сюда и спасет меня... от чего? От чего? Через четырнадцать лет я написала ей, и теперь, когда звонит телефон, пугаюсь и начинаю дрожать.

Белл смотрит на меня, когда я дрожу. Словно взвешивает, оценивает свои шансы. Она ездила смотреть дома и все время говорит о доме в Ноттинг-Дейл, который ей хочется купить, таком дорогом, что мне придется взять закладную и на всякий случай еще оформить страховку в ее пользу. Возможно, я так и сделаю, чтобы избежать споров. Наверное,

уступлю Белл, но теперь я тоже разглядываю ее — в серебристо-сером наряде, с моими котами, словно они тоже предметы туалета, прикуривающую очередную сигарету, помолодевшую, как когда-то помолодела Козетта, — и думаю, как сильно мне хочется исполнить намерение самой Козетты и купить Белл отдельный дом.

Я много всякого напридумывала о гелиотропе. Кое-кто назовет это фантазиями. Иногда я представляю камень вместилищем любви, как будто любовь заключена у него внутри, во вкраплениях яшмы в темно-зеленом халцедоне, в идущем изнутри сиянии. Когда Белл отдала мне перстень, я подумала, что она после долгого перерыва возвращает любовь Козетты. А иногда перстень кажется мне воплощением скорби — он побывал на руках стольких людей с наследственной болезнью, многие из которых умерли от нее, а многие видели смерть близких. Белл он велик, а мне немного тесен, и я делаю вид, что снять его невозможно, только разрезать, и он должен навсегда остаться на моем пальце.

Звонит телефон. Разумеется, я вздрагиваю и в промежутках между звонками задаю себе вопрос, возможен ли в моей истории счастливый конец, и кто доберется до меня первым — Белл, которая может стать моей судьбой, или Козетта, которая станет моим спасением? Или это будет третий вариант, на который так надеется Белл...

Взмахом руки я показываю, чтобы она не вставала, и через всю комнату иду к телефону.

notes

Примечания

1

Лэдброк-Гроув и Олдгейт — станции лондонского метро.

2

Английский зоолог, популяризатор науки и защитник эволюционной теории Дарвина.

3

Английский художник, дизайнер по ткани и мебели, оформитель книг, разработчик типографских шрифтов, поэт и социалист (1834–1896).

4

Золотой трон Великих Моголов. Был украшен золотыми павлиньими хвостами с алмазами, рубинами и разноцветной эмалью.

5

Французская писательница, философ, идеолог феминистского движения.

6

Луг Хэмпстед — самый крупный старый луг Лондона. Заросший травой общественный парк рядом с песчаным хребтом, одной из самых высоких точек города.

7

Система доставки горячей пищи престарелым и инвалидам.

8

Франсис Бомонт, Джон Флетчер. Трагедия девушки. — *Перевод Ю. Корнеева.*

9

Одна из восьмидесяти трех гильдий лондонского Сити. Такие гильдии возникли в Средние века; их члены имеют особую форму одежды для торжественных церемоний.

10

Блошиный рынок.

11

Полуавтобиографический цикл из семи романов Марселя Пруста.

12

Цикл романов английского писателя Энтони Пауэлла.

13

Ежедневная лондонская вечерняя газета консервативного направления.

14

Известный итальянский фотограф.

Аньоло Бронзино (1503–1572), итальянский живописец, выдающийся представитель маньеризма.

16

Широкая улица в северо-западной части Лондона.

17

Английская детская писательница и художник.

1811–1820 гг., период правления принца-регента.

19

Город на побережье Уэльса.

20

Английский художник-романтик.

21

Роман Ч. Диккенса.

Титул главы охотничьего общества и владельца своры гончих; как правило, представителя земельной аристократии.

23

Знаменитый английский художник, один из основателей Братства прерафаэлитов.

Французский живописец и гравёр.

Роковой кинжал (*лат.*).

Млекопитающее отряда грызунов. Похожа на мышь.

Имеется в виду американская актриса Ингрид Бергман, снявшаяся в этих фильмах.

Скопления эндокринных клеток в поджелудочной железе.

Ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель.

Ситар — индийский традиционный струнно-щипковый инструмент;
окарина — древний духовой инструмент, глиняная свистковая флейта.

Эдит, Осберт и Сэчеверелл Ситуэлл — три английских поэта, представители модернизма в английской поэзии.

Псевдоним английской поэтессы Унифред Эммы Мэй.

Английский драматург, поэт, режиссер, актер, политический активист, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2005 г.

Цитата из Роберта Броунинга.

35

Фильм Ингмара Бергмана.

Шведский писатель и драматург, основоположник современной шведской литературы и театра.

Южный пригород Лондона, известный своими многочисленными гребными спортивными клубами на Темзе.

Героиня романа Генри Джеймса «Крылья голубки».

Королева Англии с 10 июля 1553 г. по 19 июля 1553 г., известна также как «королева на девять дней».

Комедия Джона Милингтона Синга.

41

Персонаж из «Кентерберийских рассказов» Чосера.

Большой универмаг.

Парафраз из «Ромео и Джульетты» Шекспира.

Новелла Г. Джеймса.

Знаменитый роман М. Митчелл.

Классический детективный роман А. Кристи.

Роман Ф.С. Фитцджералда.

У. Шекспир. Антоний и Клеопатра. — *Пер. Б. Пастернака.*

Роман Генри Джеймса.

Большой лондонский универсальный магазин, преимущественно женской одежды и принадлежностей женского туалета одноименной фирмы.

Из стихотворения Альфреда Теннисона «Мариана на юге».

Роман Г. Джеймса.

Творение эпохи Просвещения, детальный ботанический атлас, включающий в себя полное графическое описание дикорастущей флоры Датского королевства на 1874 год.

У. Шекспир. Буря. — Пер. М. Донского.

Шенберг Арнольд Франц Вальтер (1874–1951), австрийский и американский композитор, педагог, музыковед, дирижер; крупнейший представитель музыкального экспрессионизма, основоположник новой венской школы, создатель техники додекафонии.

У. Шекспир. Отелло. — Пер. Б. Пастернака.

Роман Г. Джеймса.

Имеется в виду стихотворение Теннисона «Мариана».

Table of Contents

[Барбара Вайн Сто шесть ступенек в никуда](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)

[14](#)

[15](#)

[16](#)

[17](#)

[18](#)

[19](#)

[20](#)

[21](#)

[Примечания](#)

[1](#)

[2](#)

[3](#)

[4](#)

[5](#)

[6](#)

[7](#)

[8](#)

[9](#)

[10](#)

[11](#)

[12](#)

[13](#)
[14](#)
[15](#)
[16](#)
[17](#)
[18](#)
[19](#)
[20](#)
[21](#)
[22](#)
[23](#)
[24](#)
[25](#)
[26](#)
[27](#)
[28](#)
[29](#)
[30](#)
[31](#)
[32](#)
[33](#)
[34](#)
[35](#)
[36](#)
[37](#)
[38](#)
[39](#)
[40](#)
[41](#)
[42](#)
[43](#)
[44](#)
[45](#)
[46](#)
[47](#)
[48](#)
[49](#)
[50](#)
[51](#)

[52](#)
[53](#)
[54](#)
[55](#)
[56](#)
[57](#)
[58](#)